

1(48) Өі әі ү-2017

ВРАТА СИБИРИ

В 1(48)

ВРАТА СИБИРИ



Өі әі ү-2017

18+

ВРАТА СИБИРИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

ВЫХОДИТ С ДЕКАБРЯ 1999 года
два раза в год

учредитель
и издатель:
АНО

«Тюменская область сегодня»

Редактор, автор проекта
Л.К. ИВАНОВ

РЕДАКЦИОННЫЙ
СОВЕТ:

№ 1 (48)

С.В. БЕЛКИН
М.М. ГАРДУБЕЙ
Н.И. КОНЯЕВ
В.Е. КОПЫЛОВ
А.Н. СКОРБЕНКО
В.Л. СТРОГАЛЬЩИКОВ
М.А. ФЕДОСЕЕНКОВ
А.П. ЯРКОВ



Тюмень
2017

Содержание

ПРОЗА

Анатолий КОНДАУРОВ	Чистый черный цвет. Главы из повести.....	3
Ирина АНДРЕЕВА	Ню. Рассказ.....	20

ПОЭЗИЯ

Екатерина ВОЛОДИНА (12), Владимир ШУГЛЯ (16),
Вячеслав ДЕВЯТКОВ (25), Ольга ЧЕРНЫШОВА (28)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕБЮТ

Нина ТЕРЕНТЬЕВА	На деревенской тихой улочке. Рассказ.....	32
Яков ЧИСТЯКОВ	Дороже хлеба только жизнь. Рассказ.....	40
Роберт ЯГАФАРОВ	Рассказы.....	54
Владимир Федоренко	Я был хорошим мужем и отцом. Рассказ...	61
Наталья КОСПОЛОВА (38), Николай ЧИЖОВ (52)		

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Михаил ФЕДОСЕЕНКОВ	Дерзновенность новизны и верность традиции.....	63
Новомир ПАТРИКЕЕВ	Неистовая Надежда.....	70
Константин КРАВЦОВ	Божья птица.....	78

ДЕСЯТАЯ МУЗА

Оксана КОСТКО	«Жди меня».....	87
---------------	-----------------	----

КРАЕВЕДЕНИЕ

Василий ДВОРЦОВ	Ермак. Поэма.....	93
Надежда ПРОСКУРЯКОВА	Тайна «царской книжки».....	128
Татьяна СОЛОДОВА	«Самостояние» учительницы Харитины Игнатовой.....	136
Алина ВАЛГЕ	Манящая Сибирь.....	144

У НАС В ГОСТЯХ

«Вологодский ЛАД»	148
Ольга ФОКИНА (151), Геннадий САЗОНОВ (159) Юрий МАКСИН (170), Сергей СОЗИН (182)		
Сергей БАГРОВ	Ночные воришки. Рассказ.....	155
Ольга КУЛЬНЕВСКАЯ	Рассказы.....	163
Священник		
Николай Толстиков	ПРИХОДИНКИ.....	173
Антонида СМОЛИНА	Не по любви. Рассказы.....	185
<hr/>		
Литературная хроника	192
Коротко об авторах	195

ПРОЗА

Анатолий КОНДАУРОВ

ЧИСТЫЙ ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ

Главы из повести

Плеск куимских негдымов

Куим – крохотное селеньице, запропастившееся в пойменных урманых Большого Демьяна – так почтительно величают инородцы реку Демьянку, что, покрутившись несчетными зигзагами не одну сотню верст, вливается в Иртыш.

Не до лучины. В быстро светлеющих предутренних сумерках Парасковья снуёт по дому. Чуть стукнется о кирпичный под ухват, да тихонько сбрыкает алюминиевая чашка.

Родьку, разбуженного задолго до света, покачивало. Наброшенная на плечи отцовская куфайка¹ свисала до пола.

– Пуцай привыкат, – сказал отец, подтолкнув сына к двери.

– Вот, не забудь, – Парасковья протянула мужу холщовый мешок со снедью.

Родьке было плохо: во дворе – сумрачно и зябко, он хотел спать и собрался было захныкать, как отец, взяв его в охапку, уложил в фургон.

Повозку трясло на ухабах, в ушах жестко шелестела солома; отфыркивался конь, громко и недовольно.

– Но-о! Но-о! – понукал отец, шлепая вожжами по лошадиному крупу. Он вдруг запел грустно и протяжно. Родьке запомнилось что-то вроде: «Ехал с девушкой трактом почтовым... попросила она, чтоб я песенку спел... я запел, а она зарыдала...».

Родьку убаюкивало: он освоился и с постелью, и разными звуками и не слышал, как повозка остановилась, и как отец переложил его в балаган.

Он сильно испугался, когда высунулся из припорошенной сеном дыры: небо было красным-красно, где-то орали вороны, и он был один.

– Тятя! Тятя! – жалобно позвал он.

– А-а, проснулся, помощник! – сразу откликнулся отец, возникший в балаганном проеме с литовкой в руках.

Родьке стало стыдно за свой испуг. Завидев рассеявшегося на кочуге вороньё, он спросил:

– Тять, а можно их, воронов, поймать?

– Да чего же нельзя: подкрадись тихонько и насыпь им соли на хвост!

Родя старался. Зажатая в кулачке соль таяла. Вороны, завидя ползущего к ним ребенка, орали громче прежнего, снимались с насиженных мест и, сбившись в стаю, улетели вдаль. Родя, задрвав голову, побежал было за ними, да упал, угодив в ямину.

– Ничего, – успокоил отец. – Получится в другой раз. Только ты, Родион, больше под ноги, на землю смотри, чем на небо...

И еще крепко и надолго Родя запомнился вкус холодного молока из берестяного туюска с куском подового пшеничного хлеба, и как отец

¹ Куфайка: телогрейка на вате; фуфайка.

приговаривал: «Коси коса – пока роса. Роса – долой, коса – домой».

Для Родиона ворошить траву – как игра. Он, орудуя маленькими грабельками, прыгал от валка к валку; озоруя, взбрыкивал, как же-ребенок.

А работе не было конца. Родя, нарезвившись, начинал уставать. Погонявшись за кузнечиками, он ложился на землю, на щекотавшую окось. Куда ни оборотись, травяные валки застывшими муравчатými волнами разбегались по лугу от края до края.

Травостой год от года менял свое обличье: луг то затягивало кипенным лабазником, то вдруг осыпало солнцеликими одуванчиками, то сквозь метляк и зубровку пробивалась лилейными пуговками ромашка.

– Ро-о-дя! Ро-о-дя! – пулей мчалась рыжеволосая Варька – только коленки сверкали.

– Ро-дя! Бежим скорее! Там с реки бударка татакает – нас в школу будут забирать!

Родя, поддавшись панике, едва успевал за скорой на ноги Варькой. Коровья тропа оборвалась у логотины, дальше паутинками расползалась в разные стороны.

Едва отдышавшись, Родя опомнился:

– Ты сдурела? До школы цельный месяц, куда нас?..

– А я сей год в школу не пойду – мне мамке помогать надо. И ты не ходи, – назидательно добавила рыжая. – Кто управляться будет?..

Они валялись на примятой траве.

– Фу! – сказала Варька. – Я ногой в коровье говно залезла!

– Пошли на лыву, скупнемся! – предложил Родя. – Там, за лывой, ручей есть. Я тебе негдымов¹ покажу – они в осоках плескаются.

– Ка-аво? – растягивая и так большой рот, не поняла Варька.

– Тебе вру что-ли? Мне тятя давно показывал. Я тогда на покосах ишшо хотел солью воронов поймать!

– Ка-аво? – опять удивилась Варька. – Родя, ты пошто такой-то? Со-лью, Родя, рыбу осаливают, а не воронов.

По пути Варька сломила перестойную ветку кипрея: сверху – уже пух, только пониже на стебельке остались фиолетовые цветочки. Она пушком щекотала себе нос, пока не расчихалась.

– Тихо, – сказал Родя. – Распугаешь.

Они склонились над водой и стали ждать.

– И чё? – не выдержала Варька

– Да вот же они!

Из желтоватой глуби и взаправду лениво всплыла наверх стайка рыб – серых, толстоспинных.

– Я знаю, кто они, – прошептала Варька. – Это же сорожни².

– Нет, сорожни другие. Они, как лапотки – ширококонькие, и глаза и перья у них, сорожней, красные. Это точно негдымы. Жирнюшшие! Они в покосное время идут в верховые сора³ – там и зимуют – тятя сказывал.

– Тятя, тятя! – разозлилась отчего-то Варька и шлепнула веткой по воде, и она шумно вскипела разом, словно взорвалась.

– Ах! – испугалась Варька, вскакивая.

– Ну вот, – обиделся Родя. – Теперь они спрячутся...

¹ Негдым (мохтик) – местн. елец.

² Сорожни – местн. сорога.

³ Сора – озёра.

Лыва – заросшая старица – вся в осочных берегах, только в одном местечке – чистая отмелюшка.

Варька, стянув через голову платье, первая – шлеп в воду и забарахталась.

Родя задержался, возясь с портками, и – шлеп!

Накупавшись, они вылезли на берег и, подстелив домотканную одежду, улеглись: Родя, смущаясь, на живот, беззастенчивая Варька на спину.

Полуденное солнце жарило вовсю. Нагретый воздух, густо настоянный на прибрежных травах и застойной воде, дымным маревом колыхался над старичным тюпиком¹.

Не разлепляя глаз, Родя словил паута, усевшегося ему на ухо.

– Щас я тебя самолетиком сделаю, – пообещал он насекомому. Проколол брюшко тонкой соломиной, и как только паут зажужжал во всю мощь, отпустил.

– Во-о, вишь, полетел! – ликовал Родя.

– Ну, вот... Надо было желание загадать, – встряла Варька.

– Како еще?

– Родя, а когда мы вырастем, ты меня не бросишь?

Родион что-то буркнул в ответ, но Варька поняла по-своему:

– Смотри, Родя, ты слово дал!.. Родя, Родя, а у тебя на жопе родя, – заозорничала Варька, тыча вицей в ягодицу.

– А ты... – разозлился он. – Ты маленькая, а сиськи большие!

– Где? Где?

– Вот! – Родя вырвал из ее руки прутик и ткнул в набухшие соски. – Будут как у нашей Зорьки вымя!

– Дурак ты, Родя. Дурак и не лечишься...

Они поссорились.

Родя схватил одежду в охалку и убежал, сверкая голой задницей.

– Дурак! Дурак! – визгливо кричала вослед Варька.

Перед домами, пока Родя суетливо одевался, обжигаясь о крапиву, Варька догнала его.

– Ладно, Родя, не скись... пойдём у тунгуса сухую рыбу стащим, а? Слышь: он на берегу осиновку² долбит, нас-то и не увидит.

– Нет, – твердо отрезал Родя. – Негодно так. От чужого болести будут. Пошли лучше малину почавкаем!

Малина давно «убежала» через городьбу – разрослась аж до берега. Беспреданно хохоча, они нагибали ветки; ягоды – горстями – в рот, до оскомины.

– Варька! Ты где носишься? А ну – домой!

Они притихли, затаившись, но тут же разбежались.

Родя оказался прав: никто и не собирался забирать их в школу.

Из дома вышли лумкоевские: высокий худой мужик из правления колхоза (он казался еще выше от восседающей на макушке выцветшей фуражки с околышем), следом придурошный Липитяй и обеспокоенная мать с мешком, набитом овечьей шерстью. Высокий тащил под мышкой свиную шкуру, перевязанную саргой³, а другой рукой пытался застегнуть кожаный офицерский планшет.

¹ Тюпик – оконечность озера.

² Осинковка – лодка из цельного ствола дерева.

³ Сарга – годовой слой древесины, содранный в длину прута.

У Липитя были два берестяных туеса.
– Мам, что у него? – спросил, набычившись, Родя.
– Яйца, Родя. Это ж положено так – налог на курочек.
– Яйко, яйцо, – заgrimасничал Липитяй, размахивая туесами.
– Смотри у меня! – хрипло сказал мужик. – Разобьешь – я те отдубасю!
– Басю-басю – отдубасю, – согласился юродивый.
Наконец, высокий справился с сумкой. Увидел Родю:
– А, так вот он каков, пострелец твой. На отца смахиват.
На ходу поймал Родю длинными пальцами за макушку, больно крутанул. Родя подсел, вырвался из хватки, отпрыгнул вбок.
– Не трожь! – выкрикнул громко и зло.
– С норовом. Гляди-ка... В отца. Тот тоже все дичился, колхоз ему нипочем, тайгу ему подавай. И чё? Щас всех на фронт прибрали...
Мать пошла провожать непрошенных гостей на берег; Родя, оставшись дома, рассматривал на столе бумагу.
– Чево им надо от нас? – спросил, когда мать вернулась.
– Чё хорошего! Налоги на нас привезли. И на тебя, и на Варьку план дали – сено ставить по 40 центнеров каждому. Вот ведро¹ бы постояло!..
В сенях зашуршало.
– Заходи, заходи, Лукьяновна. Здеся мы, дома, – засуетилась мать.
– Родя, поди загони корову, да иди к Варьке, забор поправь – ихний бык забесился – всё там изнахратил. А мы тут с Лукерьей покалякаем, что да как.
Родя нашел Варьку в стайке. Шмыгая носом, широко расставив ноги, она сидела под коровой. Струи молока звонко били в подойник.
– Родя, чё делать? Моя мамка хочет к зиме в Урматку съехать. Жалко ее – болеет и болеет, а там сестра еёняя... А папки наши – я знаю – уже не возвратятся...
И Варька разревелась громко, некрасиво. Корова занервничала, ударила ногой по ведру. Родя, изображая взрослого, положил руки на Варькины плечи, задумался, намереваясь сказать важное, главное, но сказал другое:
– Варь, давай завтра убежим на лыву, к негдымам. Я с травинки силку сделаю и тебе их насмыгаю. Хочешь?
Варька редела всё тише, согласно кивала головой – хлюпающий нос мешал ей говорить

Восхождение к зиме

Старшина осмотрел стройбатовского дембеля Родиона Слинкина. Солдат – побрит, пострижен коротко, по-уставному; форма чистая, утюгом обихоженная.

– Хочу – не хочу, но отпускаю – срок твой вышел. Не в трущобы тебе ехать, а быть бы старшиной: мужик ты хозяйственный, умелец – что надо!..

Улыбнулся:

– Имя у тебя громкое, генеральское! Была бы граматёшка! С тремя-то классами в Генштаб не возьмут!

– Ага, – согласился солдат. – В старшины тем более!

– А дам я тебе, пожалуй, новую фуражку и бушлат – покажись там деревенским! Рубанок, стамески заberi – в подарок! Помнить буду: настрогол ты мне и полук, и стеллажей...

¹ Ведро – хорошая, без дождей погода.

Было-ль, не было?

Родион, одолев перетаску, выволок долбленку на берег, присел на обсохший топляк.

Вода прибывала на глазах. Своенравный Демьян тащил мимо подмытые, с корневищами дерева, косматые островки тундры, первые шороха. Ледяные блинчики, со стеклянным звоном сталкиваясь друг с дружкой, кружили в веселом хороводе, кликая скорую зиму.

Отсюда до Лумкоя – недолго махать: за поворотом плёс короткий – версты на три, не боле.

Родион взбодрился. Не омрачало его и то, что сапоги – в иле, от ночевок у костров форма в жмульку – мята-перемята, глиной перепачкана, смольем ископченная.

– Не беда, – сказал. – Щас наведем марафет!

Открыл чемодан, чтоб щетку взять, ахнул: внутри сыро! Перво-наперво схватил бумажный сверток: в нем подарки – для матери отрез на блузку, отдельно комбинашка Варьке. Ух ты, сухо! Потрогал заскорузлыми от работы пальцами шелк – невесомый до неосвязаемости, как пух лебяжий.

Издали нарисовалась лумкоевская пристань: вполберега темнели остовы трех-четырех лодок.

И в пору! Шуга уже плотными спайками била в деревянные борта лодчонки, упорно продвигавшейся против остервеневшего течения.

Родион, ухватившись за носовой перечень, одним махом вырвал осиновку из бурлящих струй, вприпрыжку, разминая затекшие ноги, утащил наверх. Весело громыхали весло, чемодан, котелки, прыгающие внутри лодки, громыхал утрамбованный морозцем береговой песок.

На крутом взвозе – передними колесами вверх – намертво застыл колесник «Фордзон» – былая гордость колхоза «Третья пятилетка». Трактор покосило в бок, под брюхом густо проросла трава; в этом месте торная тележная дорога почтительно огибала железное чудо.

Сверху показалась знакомая с детства парочка. Первый – Липитяй, широко расставив руки, изображая, очевидно, какую-то птицу, пролетел мимо Родиона, вскарабкался на трактор. Шлепая задницей по железному, в дырках, сиденью, он вращал руль, надувая щеки.

– Трр-у! Тррух-тух-тух! – оживлял юродивый звуками уснувшую машину.

Второй – долговязый Степан Махотин, к которому с детства Родион питал необъяснимую неприязнь.

На колхозном правленце начищенные кирзачи, темно-синие галифе, зеленый френч, с околышем и красной звездой фуражка. Новое и торжественное не по обстановке одеяние вступало в контраст с донельзя обветшавшим лицом.

Крутой спуск вынуждал Махотина высоко поднимать колени – тело проседало вниз, отчего фуражка ныряла поплавром.

– Гляди-ка, шугует! – сказал, озаботившись. – Лодки прибирать надо.

– С передовой и сразу в Куем, значит, – наконец, обратил он внимание на Родиона. – Матушка, ясно дело, искуковалась в ожиданиях. А Варвара – невеста твоя, значит, в Ситике. Не знал? Она тама-ка с Зойкой Оглоблиной лес валит для Савинковой лесопилки. До морозов управятся, а впоследствии с Кулумкоя рыбу сюда свозить будут...

От таких вестей у Родиона одеревенело нутро.

– А чё, дядя Степан, мужиков на повал нету? – спросил, ковыряя носком сапога дорогу.

– Молодухи – чё им! И лес валят, и сучкорубками робят...

Сбоку вывернулся Липитяй, затолдонил:

– Сучки-рубки! Сучки-рубки!..

Родион в сердцах поймал отвисший козырек липитяевского картуза, дернул вниз – в руке остались одни лохмотья.

Липитяй заплакал:

– Мама, мама...

– Не обижай мальчика! – строго сказал Махотин.

– Дак я... не хотел, – попытался оправдаться Родион.

Быстро сообразил: достал из чемодана военную фуражку – напялил на дурную голову.

– Во! – обрадовался юродивый. – Щас мамке покажу! – и убежал наверх, в деревню.

– Ночуешь, али как? – участливо спросил Махотин. – Куим не близко – топать да топать.

– Сам знаю. Дайте котомку, с чемоданом не уйти, – попросил Родион, смиряясь с данностью.

Он пощупал за пазухой: загодя припасенный сверток для Варьки был на месте...

Теперь река Родиону не помощник. Благо и не помеха: отвернуло её со своей урманной непролазью в этом месте в стороннее полукружье, и встретиться им – как доведется – только в Куиме. Древняя – от Лумкоя до Куима – дорога означена и затесями на деревьях, и вешками, и незарастающей, пробитой до воды тропой. Разматывается клубочек с озерными берегами, рямами да болотинами. Не разбежишься: с кочки на кочку, где и вброд с длинной жалиной в руке. В эту пору не дорога – бездорожье, мука, пропастина.

И будет так до крепких морозов.

Чем мокрее осень, тем крепче смерзнется насыщенный влагой мох, и не только человеку – всякой лесной живности откроются легкие пути.

Только не сразу доберется зима до толстомшанных болот; год на год по-разному, да как бы ни крутила хвостом сумасбродная осень – задолго до Рождества Христова стянет крепким льдом и бесчисленные озерины, и речные выкрутасы.

Природа – в неприветливость и холода, а промысловый люд – немного, право, его по Демьянке – тут как тут, уже с Семёнова дня норовит забрести в дальние урочища, предвкушая охоты; рыбаки же, пользуясь перволёдьем, спешат еще раз проневодить высмотренные с лета озера; добытая, а также вычерпанная из осенних «садов¹», перелопаченная со снегом, свежемороженая рыба, не мешкая, затаривается в крапивные мешки, которые до оказии складываются в штабеля и присыпаются снегом.

* * *

Чу! Хихикнуло из леса! Нет, не филин.

– Хинь-хинь! Хинь-хинь! – это подал голос поддужный колокольчик. Далеко слышен в тайге санный обоз. Если бы выше дерев подняться, то увидел бы: живая цепочка из лошадиных повозок растянулась-расползлась по мелколесью, втягиваясь в еловый мыс, прилипший к озеру.

Головной уткнулся в коновязь. Варя кулем свалилась с саней, побарахталась, освобождаясь от непомерно большого тулупа.

¹ «Сады» – большие деревянные ящики, опущенные в воду.

Подтянулись и другие, груженные мешками доверху сани.

– Ну, все тута? – спросила Варвара. Не дождавшись ответа, скомандовала:

– Людка, шагай на озеро пролубь долбить, а ты – Зойка – дрова готовь.

Ее никто не слушал, потому что каждый давно знал и умел делать свое дело. Еще и работы снаружи не доделаны, а Зойку уж заегозило:

– Варя, Варюша, ну, покажь свою припрятку! А? Так посмотреть охота!

– Здеся, что ли? – осердилась Варвара. – Ташши-ка покедова артельный пай – паужинать будем!

– Гляди-ка, девки! Его чо, нашего бугра, лесиной ударило! Я просила ершей на патанку, дак он сказал – каждой по 300 грамм. Ишшо без мене взвесил. Пес блудливый, под кацавейку¹ все лез, лапался.

– Да так оно все, – успокоила ее Варвара. – Махотину в правлении сказали: возницам по 300 грамм... Выскочи – на вторых санях один мешок суком порвало, возьми окуней на уху...

– Дали пайку 300 грамм, высрать надо килограмм, – не удержалась от озорства Зойка.

После затянувшейся вечери, едва Людмила успела убрать исподки² и одежду и развешать на спицы по стенам, все, как по команде – на нары.

А Зойке не имётся:

– Теперь покажешь?..

– Погодь. Давай, подружка, нашу!

Варвара начала низким грудным голосом, Зойка подхватила объемно и бархатно:

По Муромской дорожке стояли три сосны.

Прощался со мной милый до будущей весны...

Песне – свободной, душестрадательной, как птице, тесно в избе – через толстые пазеные бревна она пробивается на волю, вплетаясь в прохладные струи лесного ветерка, тянущего с ледяного озера, и безудержно разносится по всей таежной шири.

Я у ворот стояла, когда он проезжал.

Меня в толпе народа он взглядом отыскал...

Песня кончилась. Лучинные огарки медленно и беззвучно падали в плошку. Людмила лежала, закрыв глаза, тонкие пальцы нервно теребили край халата.

Долго молчали, будто заснули, как в детстве под песнь колыбельную. Зойка, проявляя характер, не выдержала:

Ох, гармонь моя, да гармонь новая,

А я веселая, да непутевая!

И понеслось:

Тира-тира, влюбилась в бригадира.

Бригадирова жена меня поколотила!..

Едва Зойка выпустила свой запал, Варвара свое:

На речке, на речке, на том бережочке

Мыла Марусенька белые ноги...

Варя ткнула Зойку под бок – та расхохоталась, катаясь по нарам... И тут вспомнила:

– А-а, а-а, ну вот, Варюшка-побирушка, теперь давай показывай!

¹ Кацавейка – стеганая куртка на вате; фуфайка.

² Исподки (испотки) – рукавицы.

Кто-то быстро поменял лучину. Бесперывно вздыхая, Варвара достала из котомки заветный сверток, развернула: обнажились розовые кружева, тонкие, как паутинка... Девки ахнули, потянулись к чуду руками.

– Ну, куды вы разом! – остановила их Варвара. – Во, смотрите! – и, взяв комбинацию за лямки, подняла вверх.

Ах! Хлынула, струясь, шелковая материя.

– Варька, Варька, ну дай смерить! – заегозила Зойка.

Людмила же спокойно наблюдала за фокусом, только раз осторожно взяла в руки кружева и долго всматривалась.

– Че ты? – спросила ее Зойка.

– Ты не знаешь, – ответила за девушку Варвара – Она остячка, а им узоры подавай! Изучает, а ты смерить! Растянешь еще!

– Куды ей тянуться!. Вишь, лиф малой, ты куды свои титьки заталкивать будешь? Они у тебя вон – каждая по пуду!

– Куды, куды? – обиделась Варвара, сворачивая сокровище. – Не войдут, так пушай их снаружи висят!..

Не спится Варе. Будто забылась, но тут же – глаза нараспашку.

Темно в избе. Там, за стенами слышно лошадей – фыркают, топчутся, снегом скрипят; колоколец реденько побрякивает. Свет от звезд тускло означает малое окно.

Варя серой мышкой пробралась к печи, нашла пимы, набросила на плечи чью-то одежонку, скользнула за дверь.

Ух! Морозно-то как! Холод разом – снизу вверх – пробежал по телу.

Варя чуток постояла, прислонившись к косяку. Глубоко бесконечное небо мерцало, подмигивало звездами; одна из них, поярче, сорвалась и, оставив короткий след, упала туда, к Кальчинским озерам...

* * *

– Видел? – спросил Родион.

– Видела, как же! – отвечал тунгус.

Их разделял костер. Нодья горела ровно, лучась жарким теплом.

Наши говорят: не звезда – головешка это. Рассказка есть. Слушай. В сильно старые времена не было у людей огня. Мясо, рыбу – сырое кушали. Привыкли. Сейчас тоже когда-то едят – вкусно. Холодная вода – не сильно вкусно. Когда – если сварить – чай получится. В чумашку нальешь – хорошо в животе будет. Долго хорошо. А тогда и чай не было. В большом чуме собирался наш народ, стали думать. Шаман сказал: надо поймать солнце, когда за землю будет прятаться, и зажечь от него бересту. Оленей надо поставить часто, чтобы успели солнце догнать, а в конце самую быструю нарту Айдыша Нихачёва. Люди послушались. Гонялись, гонялись за солнцем – не поймали.

Тунгус надолго замолчал.

Он лежал неподвижно, как колода, и, если бы иногда не подталкивал верхнее бревно нодьи суховатой палкой, то можно было подумать, что он околел. Родион же беспрестранно ворочался, подставляя под тепло то один бок, то другой.

– Что, Ротька, холодно тебе? – спросил тунгус.

– Так человек ведь, не полено, – с досадой ответил Родион.

– Ты, паря, не сердись, – попытался умягчить свой вопрос бродячий ороchon. – Хоть и не спрашиваешь, тогда доскажу.

И опять надолго умолк. Вспоминал, что ли?

– У нас, русских, всегда огонь был, – нарушил тишину Родион.

– Русских тогда в тайге не было. Вы на земле, где тепло, жили, из лиственных деревьев получились, оттого вас много. А у нас, тунгусов, никогда своей земли не было. Наша велит жить и умереть в тайге. Мы из хвойных получились. Они – крепче, выше, и холода не боятся... Теперь дальше скажу. Когда родился у нас богатырь, он сказал: «Огонь всегда с неба приходит, надо делать большую лестницу». И все стали ему помогать. Еще от старого кедра накололи палок. Собрал их богатырь, залез по лестнице до облаков так высоко, что его не стало видно. Потом стал бросать горячие головешки вниз, чтобы у людей всегда огонь был...

Родя съежился, цепenea от наваливающегося сна. Слова тунгуса звучали все глуше, улетаая к звездному небу.

– Тайга, паря, хорошая. Не бойся. Вчерась, может, плохо было, потом хорошо станет. Избушку срубим, чувал собьем, потом мясо добудем. А девка у тебя хорошая, я видел – ждала. Мне давно говорила, когда токушонком¹ была, хотела у меня рыбу своровать. Воровать – не надо. Кто своровал – топор в тайге потеряет. А рыбы не жалко, рыба везде есть.

Тунгус сплюнул табачную жвачку в костер.

– Ротья, ты спи. Быстро заснешь – солнце быстро увидешь.

¹ Токушонок – молодой лось, одногодок.

ПОЭЗИЯ

Екатерина ВОЛОДИНА

* * *

Хочется верить, что добрым прозрение будет.
Долгой зимою чего же нам ждать-то еще?
Верить, что снова мессия Россию разбудит
И на нее свою милость прольет горячо?
Истово верю я: доброе вновь возродится,
И не восстанет на брата скрежещущий брат,
Истово верю... Но снова мне долго не спится,
Ибо мессия опять будет чернью распят.

* * *

Остановись, не уходи, послушай.	Ведь не прошу блаженства и покоя,
Ты страж моей сердечной пустоты!	Дай мне надежду новых перемен...
Ворвись в мою распахнутую душу	Я вся, сдаваясь, – тишина и нежность,
И разбуди меня от суеты...	Оставив колебания. Смотри,
Забудь коня, походы, поле боя!	Зачем тебе война и славы вечность:
Я отдаюсь – бери меня в мой плен,	Сегодня настужь – крепости мои!

* * *

Сердца стучат,
И вторят им капли,
Всю ночь твердят:
«Зимой переболели...».
Зима ушла,
И глаз, и красок гамма.
Сошла с ума
Моя кардиограмма.

* * *

Вечер приходит – с тайнами...
Лето, желты покосы.
Теплые руки мамины
Мне расплетают косы.
Я у окна, а улица
Тёмная – дело к ночи.
Шмель над цветами кружится,
Солнечный день пророчит.
Клонит ко сну... Лиловая
Тьма накрывает округу.
Глаза закрываю, и снова я
Босо бегу по лугу.

Бабье лето

Золотая осень...

Бабье лето...

Осиянна в солнечных лучах
Жизнь моя до дитятки согрета,
Чудо продолженья – на глазах ...
Как бы даль дождями ни рябило,
Все яснее небо поутру.
В гроздьях,

в бусах, алая рябина

Пуще пламенеет на ветру.
Ягодой горят у нас корзинки.
Половодье красок...

Любо мне!

Скоро загорятся в лужах льдинки,
Но еще осинники – в огне!
Осерчало на плите варенье,
Хватит нам и меда, и вина,
За столом, богатым угощеньем,
Будет песня долгая хмельна.
Золотая осень.

Бабье лето.

Края нет и дна голубизне.
Пощади же, жаркое, поэта
И не дай сгореть в твоём огне!

* * *

Длится вечный февраль с холодами.	Я «сегодня» меняю на «завтра».
Ветер в душу стремится мою.	Вьюги, стужу ко всем-то чертям.
Рану в сердце прижгу я стихами,	Завтра, с первой зарницею марта,
Постою у любви на краю.	Прикоснется к озябшим губам
На краю, только лед под ногами,	Милый мой. Поцелуем нежным
В ожидании новизны,	Он подарит любовь свою.
Прочь зима со своими снегами,	Я поверю, сбылись надежды,
Во мне пульс наступившей весны.	Март свой тихо благословлю...

* * *

Мороз. Алмазный блеск оконного узора
Играет радугою красок на стекле.
Печаль ресниц... Слеза... Глаза – озера...
И не поет душа о новом дне.
Сегодня солнце ярко, но не греет.
Весна царевной спящей в хрустале.
С горчинкою воспоминанья веют
От хризантем, что на моем окне.

* * *

Сосульки с крыш заглядывают в окна...
Звенит в сердечном клапане капель,
И в воздухе – любовные волокна,
И ты, родной мой, – воплощенный Лель.

Весна! Полет твой на запеве года!
Долой бездушный Word и Яндекс прочь!
Вот – одухотворимая природа,
Мне приворот её не превозмочь.

* * *

Пройдет первый дождь	Я даже забуду, что рядом не ты,
Пробужденной весны,	Прошло лет пятнадцать – не так ли?
Ворча, там, где небо темнее.	Пуцу свой кораблик
И сгинут за ним блекло-зимние сны,	По лужам весны,
И день зазвучит веселее.	Попав под последние капли.

* * *

Живу? – плыву против течения,
Что силы иссекают – вижу.
Далек мой берег... Тем не менее
Люблю и, каясь, ненавижу.
Спасет ковчег?
Но он не нужен...
Влекума правдой, ровно целью,
Плыву... И лодка моя служит
И гробом вам, и колыбелью.

* * *

Осень... Листья... Души моей самосожжение.
Продолженье в холодных ночах. Но забвенью пример,
Я сжигаю стихи свои без сожаления,
Достигает их жар тонких чувственных сфер.
О, как бьются страницы тревожными крыльями,
Подавая надежду грядущим огням,
Мои ангелы, как вы печальны усильями
Раздарить мои строки завьюженным дням!

* * *

Закрыта плотно дверь в тот прошлый день,
Пред будущим стою я и немею.
За окнами мелькнет чужая тень,
И горько мне – надеяться не смею...
Я прошлое отринула, скорбя,
Да и бывшее, впрочем – недотрога.
Но даже постаревшего тебя
Я всё равно жду около порога.

Моя молитва

Прошу Тебя я: «Господи, помилуй!»,
Пусть незыблем будет в сердце Храм,
Храни друзей и дай на верность силы:
Пусть радости и беды пополам.
Дай крылья мне, чтобы достигнуть цели,
Прости меня, когда я ошибусь,
Ведь в душу для добра открыты двери:
Не смерти – стать бездушной я боюсь.
И мне, увы, Господь, не быть святою,
Наставь меня, и я, Господь, пойму,
Куда идти, влекоюю Тобою,
Чтоб быть полезной Делу Твоему.
Услышь молитву и яви мне милость –
Не отвергай, храни моих родных,
Храни любимого, чтоб сердце дольше
билось,
Даруй любовь одну нам на двоих.
И что порой ненастье нам ни прочит,
Всё тучи не закроют неба синь.
Прошу Тебя за всех!
О, Святой Отче, –
Прости нас, грешников, за всё прости...
Аминь.

* * *

Когда журавли улетают за солнцем на юг,
Когда плачет утро осенним холодным дождём,
И ты понимаешь: у времени замкнутый круг,
И вечность грозит ревматическим дряблым перстом...

Тогда понимаешь: ты с небом один на один,
И надо ещё очень многое в жизни успеть.
И хочется дальше бежать от людей и машин
Туда, где земля, настоящая Русская твердь.

Не прятать надежды, пожить в первозданной тиши,
Где утро вплетается нитями в солнечный свет.
Где сам по себе, не гадай, не зови, не ищи,
На главный вопрос здесь находится главный ответ.

Наполнится счастьем душа, обретая покой.
Сомненья растают с крупинками первого снега.
Ты вспомнишь того журавля, что прощался с тобой,
Посмотришь с улыбкой на синее вечное небо.

Владимир ШУТЛЯ

Цикл стихов «НЕВИДИМАЯ НИТЬ»

* * *

В стремленьи вечном лучше жить
Мы рвём на части неба нить,
И души, судьбы на излом
В слепой погоне за рублём...
Живём как будто бы займы...

Себя везде всех прежде чтим,
Без покаяния грешим.
Идём в желаньях напролом,
И честь, и совесть продаём.
Живём как в пир среди чумы...

...И хмелем залиты сердца,
И души словно из свинца –
Обиды, ссоры и гульба –
Холопье барство... путь раба...
На что мы тратим наши дни?!

* * *

Душевный стон в секундах и минутах,
Желаний – нет, покоя – тоже нет.
И нить судьбы, как тонкой сети путы...
Не половодье чувств, а в сердце смуту
Несёт душе похмелье горьких лет...

Очнись, душа! С судьбой, тебе подвластной,
Вставай скорей на вещей путь зерна –
Верни любовь... Всё в мире не напрасно,
Коль ты ежеминутно, ежечасно
Творишь её... Тебя ж – творит она...

* * *

Сердце неровно бьётся,
Годы стучат в висок.
В небо дорога вьётся
С жизнью наискосок.

Веру я теплить смею –
Нам ещё время даст
Подлые дни развеять,
Скинуть с души балласт.

Лишнего нету часа –
Время, увы, не ждёт.
Нету другого раза
В днях, что летят вперёд!

...Бью я прямой наводкой
По этим подлым дням,
Серости околотку...
И по своим грехам...

* * *

Позабылись все потери, И невзгод как не бывало. Открываю дома двери, Где судьбы моей начало.	Все родное, все знакомо! Как корабль иду к причалу... Сколько дней уж не был дома! Начинаю жить сначала...
---	---

* * *

Дочурка мне вчера сказала:
«Невидимая нить у нас...»,
Она со мной ее связала
С рожденья сразу в тот же час.

Болею я – она болеет,
И грустно ей – печально мне,
Я на ветру – в ней ветер зреет,
Она вверху – я в вышине.

В ней чистота, любовь благая,
И места в сердце нет для зла...
И прочь уходит боль любая,
Усталости и грусти мгла.

* * *

Вновь детством небесным Весна разлилась без предела... И ворот стал тесным И сердце опять осмелело.	И музыка ветра Таит в себе воли безбрежность. Воздушное ретро – Ночи золотистая нежность.
Стук вроде бы мерный: То громче, то будто бы тише... Порою вечерней Шугою река вдруг задышит.	В торжественных бликах Устало является вечер. Раскрытая книга – С душой растревоженной встреча...

* * *

Начало марта... Снова... «...надцать...».
Весна у изголовья.
И солнце лезет целоваться,
Беременно любовью.

И снова ничего не страшно,
И светом очи полны.
Тревоги – день уже вчерашний
В закате небосклона...

Косые взгляды – будто нету...
Как с первой звездой
Вокруг земное канет в Лету...
И мы одни на белом свете,
И ты – как неземное...

* * *

Весна идёт... С зимою спорит...
И в сердце обский ледоход.
И вновь душа, как солнце в море,
Надежды синие несёт.

И снова жизни нерастанность
(Мне слёзы вытер марта день!),
И в солнце неба первозданность,
И белая – в душе – сирень...

И жизнь вопит: Вперёд...
Скорее!
И молодит того, кто стар,
Чтоб, ни о чём не сожалея,
От осени вернуться в март.

* * *

Разноголосье, разнопенье...
Я вслушиваюсь в бытие.
Моей больной душе знаменьем –
В толпе людей – лицо твоё.

Оно мелькнуло и пропало
Искрой, умчавшейся во тьму,
Виденьем чудным отсияло,
Подобно утреннему сну.

Стучит ошеломлённо сердце,
Ведёт в волшебную страну...
И от неё душе не деться –
Она у памяти в плену!

И пусть в годах гуляет осень
И волос серебрит луной –
Душа в себе повсюду носит
От бед защитой образ твой...

...Закрыв глаза, перебираю
Все сны мои, когда в них ты,
Когда вот так небесно таят
Родного мне лица черты.

* * *

Солнце утром нас будит –	Так в свершившемся чуде
С ним привычно живём,	Мы, не зная, живём.
Так, мечтая о чуде,	
Мы купаемся в нём.	...Среди вечности буден
	Вдруг внезапно поймём,
Среди множества судеб,	Что, мечтая о чуде,
Средь имён мы... ВДВОЁМ!	Мы купаемся в нём.

* * *

Любви возвышенною сутью
У бытия весны свечу тепло,
И жизнь от всякой чищу мути,
И дню в рассвет шепчу:
«Люблю... Люблю...».

Ответом мне – потоки света,
Из дымки синей – пламенный набат,
Надежд несущий солнечную мету,
Высот космических и далее взгляд...

Душа, как высь, полна лазури,
Желая птицей в небо воспарить...
Где свет – не место чёрной буре!
Там всех сердец связующая нить...

* * *

Иного не знаю достойней богатства —
Сквозь беды мечтами в зарю прорываться,
И споря с собою, решая сомненья,
Эпохи и сердца в ней слышать биенье.

Любовь и надежды записывать в святцы
И с верою в счастье душой не расстаться.
В слезинках галактик растаять молитвой,
Обратно вернуться рассветом разлитым...

Без зависти в сердце, в душе без злорадства,
На облаке белом землей наслаждаться,
Пусть трудно, но вместе с любовью и верой
Жить в светлом... Но только не в черном и сером!

ПРОЗА

Ирина АНДРЕЕВА

НЮ

Моему доброму соседу – художнику Яну Боме

В конце мая семейство Авдеевых переехало из глухой сибирской деревушки в пригород областного центра. Это Настя всех взбаламутила: приезжала в область на семинар библиотекарей, побывала в гостях у подруги, которая проживает в большом благоустроенном поселке, чисто случайно узнала о вакансии библиотекаря и загорелась переехать сюда. Муж Георгий поставил ультиматум: «Родителей не брошу!».

Настя не хотела сдаваться и решила любыми способами добиться цели. Ночь не спала, десяток планов в голове прокрутила, каждый из которых сама же и отметала как несостоятельный. В глубине сознания у нее был один самый надежный вариант, но он был нежелателен для нее самой и оставался как бы на крайний случай. Вот его-то она и выложила за завтраком мужу: «Поедем вместе, может, присмотрим дом для родителей и насчет работы для тебя разузнаем».

Дом купили в соседней деревушке в три улицы. Деревенька покорила аккуратностью, добротностью дворов и зеленым убранством палисадов. Белым и сиреневым кипеньем бушевали кусты сирени, липа нарядилась нежным глянцем листа, буйно цвела рябина и яблоня-дичка, калина и боярышник набирали цвет, хвойники выбросили нежные свечки побегов. И так в каждом дворе, сады будто соревновались – который краше?

Молодой семье Авдеевых предложили крохотную неблагоустроенную квартирку в деревянном десятиквартирном доме поселка. Работа рядом, детский сад через дорогу, школа в центре. Так и сяк прикидывали Настя с Георгием, но заходить в квартиру не решились, уж больно тесно, а у них дети подрастают – сын второклассник, дочке пятый годик. На семейном совете решили жить вместе со стариками. Вот этого как раз и боялась Настя. Как-то пойдет теперь жизнь под одной крышей со свекром-свекровью?

Уже на второй день она узнала от свекрови, что сосед по правую руку – Иван-таксист, а по левую – Мирослав-художник.

Сообщение о художнике очень взволновало Настю: обожала она знакомства с неординарными людьми как познание чего-то нового, и для работы пригодится, можно провести тематическую встречу с творческим человеком. А тут такое везение. Сам бог велел: нужно найти повод познакомиться.

Домик художника с южной стороны утопал в сирени. С восточной под окном прихотливо развесила плакучие ветви белая береза. Разросшийся за домом сад придавал ему таинственность и первозданную прелесть. Насте казалось, что дом и усадьба художника должны быть именно такими. Самого художника она еще ни разу не видела. От свекрови же узнала, что проживает он со старенькой матерью.

– Сестра моя, – объяснила свекровь.

– В каком смысле? – переспросила Настя. Знала она за речами свекрови иносказательный смысл, но тут догадаться не сумела.

– Такая же походка как у меня – носом в землю смотрит.

Позже Настя встречала пару раз согбенную аккуратненькую бабушку и поняла, что это мать художника. В душе она опротестовала слова свекрови «сестра моя». Нет, эта бабушка отличалась природной интеллигентностью и сдержанностью, тактичностью. Склочный характер свекрови и собиранье сплетен шло в совершенный разрез с образом соседки.

Однажды Настя работала на огороде: стаскивала с картофельного поля ботву, укладывала в кучу для сжигания. На соседнем участке копошилась бабушка – мать художника. Настя первая поздоровалась с ней. Бабушка присела на перевернутый на попа чурбак, пригласила Настю:

– Отдохни, милая, посиди со мной.

Настя охотно уселась рядом на такую же чурку.

– Все смотрю на тебя. Откуда он тебя такую привез? – спросила соседка с доброй улыбкой, имея в виду мужа Насти.

Настя подернула плечами:

– Да мы собственно из одного места, в одной школе учились.

– Понятно. Только ты другая. Как же ты живешь в этой семье, милая?

Настя улыбнулась женщине, уклончиво ответила:

– Живу.

– Приходит ко мне твоя свекровка, уж больно несдержанна она. Так нельзя! Нет! Человек всю жизнь должен работать над собой – заниматься самовоспитанием.

Настя не нашлась, что ответить пожилой мудрой соседке, но ее слова поразили воображение молодой женщины и навсегда остались в благодарной памяти.

Работа на новом месте затянула в рутину, Настя не находила случая и времени для знакомства с художником. А вот свекровь обошла уже всю деревню. Несколько раз побывала и у матери художника.

Мирославу давно не работалось. Полно написанных этюдов, на подрамнике незаконченный пейзаж с последней поездки по Уралу. Не просто руки не доходили – Муза не посещала.

Как-то в хмурый дождливый день он тихо сидел в мастерской в кресле-качалке, листал старую подшивку журнала «Художник». Кресло он развернул спиной к входу, таким образом, что сверху ему прекрасно видна была ограда, сад. Кто-то стукнул калиткой. Мирослав приподнял голову, увидел согбенную спину, подумалось: «Мать. Странно, как-то не заметил, когда она уходила. – И тут же одернул сам себя: – нет, это не мать. – Он привстал с кресла, проводил взглядом женщину, – наверное, к матери какая-то приятельница пожаловала». Он снова принялся за журналы. Однако некоторое время спустя услышал за спиной скрип ступеней – кто-то поднимался к нему по лестнице. Низенькая дверца открылась, и в мастерскую ввалились две старушки.

– Осторожно, Анна Павловна, тут высокий порожек, – это мать предупреждает гостью. – Ой, Мирославушка, ты, оказывается, дома, а я думала, ты ушел, – растерялась мать. – Мы тут с Анной Павловной пришли твои картины поглядеть. Можно ли? Ты, наверное, работаешь?

– Пожалуйста, пожалуйста, – Мирослав деликатно вышел из мастерской, оставив старушек вдвоем созерцать его творения.

Вскоре уже из домика он слышал сверху невнятный разговор женщин, и громкий смех новой соседки.

После беседы с матерью художника Настя утвердилась в своем желании познакомиться с ним. Как-то собралась и заявила свекрови:

– Я к художнику ненадолго схожу.

– Ты, девка, на второй этаж к нему не ходи. Там, тьфу, срамотища!

Настя была обескуражена:

– Какая срамотища, Анна Павловна?

– Бабы голыя! Которая сидит, которая лежит, а одна девка, стоит, скажи как командир – руки в боки, а вокруг её истые черти скачут. Даже мужик один есть – в чем мама родила. Тьфу, срамотища! Еще художником называется!

– Такие картины называются «ню», – поправила Настя свекровку.

– Ню? – засмеялась та, – там энтих «ню», усе пальцы на руках загну, и всё одно мало будет! Ужели за такую срамоту имя ещё деньги платют?

Настя только снисходительно улыбнулась. Однако для пущей бдительности, дабы свекровь лишнего чего не подумала, окликнула дочку:

– Алинка, пойдем вместе с художником знакомиться.

Свекровь опешила:

– Ешшо и девчонку за собой тянешь этакую срамотищу глядеть!

– А мы не будем смотреть, просто познакомимся, поговорим с художником. Алинуска у нас способная – вон как рисует! Может он согласится с ней немного позаниматься, – уверила Настя свекровь.

По дороге она внушала дочке:

– Ты бабушку не слушай и лишнего ей не рассказывай. Картины мы с тобой обязательно посмотрим, если художник пригласит. А если тебе будет что-то не понятно, я тебе потом объясню.

Настя тихонько постучалась у калитки.

– Кто там? Входите, открыто! – откликнулся хозяин из глубины сада.

Настя открыла калитку, пропустила вперед дочку, но лишь ступила сама в ограду, навстречу им выскочила песочного цвета спаниелька с желтыми умными глазами. Настя быстро прикрыла собой Алинку. Но собачка лишь дружелюбно виляла хвостиком и радостно прыгала, задевала лапками колени Насти.

– Димка! – окликнул хозяин собачку человеческим именем, – вы не бойтесь, она не тронет, проходите, я сейчас.

Настя присела с дочкой на скамью под окном, устроенную в виде беседки и увитую красивой лианой. Собачка все прыгала, суетилась рядом. Алинка попыталась погладить ее, та с готовностью подставила головку, жмурилась от удовольствия, потом будто в благодарность громко чихнула. Лопухие кудрявые ушки разлетелись в стороны, вызвав восторженный смех девочки.

– Уже подружились? – вышел из зарослей сада художник.

Это был высокий породистый мужчина зрелых лет с пронизательными умными глазами. В углу рта курительная трубка, на голове черный берет.

Настя, все это время наблюдавшая за дочкой и собачкой, от неожиданности подскочила со скамьи:

– Здравствуйте, мы ваши новые соседи. Вот пришли познакомиться. Если мы не вовремя, извините.

– Соседи – это замечательно! Давайте знакомиться. Я Мирослав Наумович.

– А я Настя, а дочка Алина, можно Алинка, как нравится.

– Очень приятно. Да вы присаживайтесь, в ногах правды нет.

– Спасибо. Я вот гадаю: что это за растение? – указала она на лиану.

– Виноград, – как-то значительно произнес художник.

– Виноград в Сибири? – удивилась Настя.

– Совершенно верно – виноград. Возни с ним правда много, на зиму приходится в траншею укладывать, укрывать соломой, зато какая радость снять осенью вызревшую гроздь!

– Не перестаю удивляться, – восхищалась гостя, – у нас в деревне клены, тополя, яблони-дички да сирень. А тут чего только нет, даже виноград!

Художник развел руками:

– Наверное, это зависит от определенного уклада жизни поселения, от культуры, если хотите.

Настя с художником долго беседовали на скамейке, потом по легкой винтовой лесенке поднялись в мастерскую – скромное помещение мансардного типа под крышей дома.

Настя долго рассматривала картины. Они были развешены по стенам, стояли на стеллажах вдоль окон и даже прямо на полу по периметру стен. Пейзажи, портреты, натюрморты и сюжетные работы. На мольберте укреплена незаконченная картина осеннего пейзажа.

Время от времени Настя поворачивалась к дочке и объясняла что-то старательно. Художник не мешал гостям, внимательно прислушивался к разговору мамы и дочки.

Настя легко нашла описанную свекровью «срамоту». Это была Маргарита по мотивам романа Михаила Булгакова. Надолго задержалась у полотна. Мирослав Наумович начал ненавязчиво рассказывать, как родилась идея полотна, и как долго искал он натурщицу для этой работы.

Вышли на улицу, снова беседовали на скамье. Дочка играла с собачкой. Настя поблагодарила гостеприимного хозяина за интересную беседу, готова была распрощаться, вдруг спохватилась:

– А где же Алинка?

Художник тоже слегка растерялся:

– Димка, ты где?

Спаниель зашубуршал в кустах, затем выскочил, запрыгал возле хозяина.

– А где твоя подружка? – разговаривал художник с собакой, как с человеком. – Вы же вместе были.

Димка с готовностью бросился в сад. Хозяин следом, Настя за ним. В голове ее молниеносно пронеслась мысль: «Что свекровь подумает: чем занималась, что дочку потеряла?».

Закатное солнце ласковыми лучами высветило между стволов деревьев пушистые головы одуванчиков. Тут в тени они стояли на высоких ножках. Легкий пушок, готовый сорваться в любую минуту от малейшего дуновения ветра, светился на солнышке, а среди этих голов – не менее пушистая голова Алинки и два лукавых глаза.

– А я от вас спряталась, – подскочила девчужка. Тут Димка кувырком к ее ногам. Да вдруг нанюхался одуванчиков и ну чихать, только

кудрявые ушки по сторонам. И полетел по ветру пух одуванчиков. Вот смеху-то было!

Когда гости ушли, художник быстро поднялся в мастерскую, снял с подрамника незаконченную работу, установил лист ДВП, достал кисти и краски и принялся самозабвенно работать. Часов пять спустя на подрамнике красовалась новая картина «Одуванчики» – пушистые головки цветов, а сквозь пух лукавые глаза озорной девчушки.

Настю между тем дома выспрашивала свекровь:

– Ну, были у его наверху? Видали «ню»?

– Видели, – сдержанно улыбнулась невестка. Ее немало удивило, что свекровь запомнила это слово «ню».

– Тьфу, срамотица! – горячилась свекровь. – А енту командиршу видали, которая руки в боки?

– Видели Маргариту.

– А-а-а, Маргарита! Надо будет ишшо к Петровне сходить, посмотреть на ету Маргариту. Так и стоит руки в боки?

– Стоит. Это же картина, не может она позу переменить.

– То-то, не может! Ню оно и есть ню! Тьфу, срамотица!

Тюмень, 2015 г.

ПОЭЗИЯ

Вячеслав ДЕВЯТКОВ

Война

Я ограничил круг друзей	В наушниках играет «Сплин».
И резко сбавил темп общенья.	Мне главное – не облажаться.
Я знаю, через пару дней	Я первым должен взять Берлин
Мы начинаем наступление.	И предложить фашистам сдаться.
Смешавшись с уличной толпой,	Я не герой, но я рискну
И на глаза надвинув шляпу,	Добыть победу малой кровью.
Я, презирая страх и боль,	Мне важно выиграть войну,
Иду в разведку, как в атаку.	А если нет – чего я стою?

2017

Замело любимые следы.
Для чего мы жили? Как мы жили?
Хорошо, что те, кого любили,
Не увидят нашей маеты.
Не услышат кухонной тоски,
Пьяных драк и плясок у забора.
Спит на рейде старая «Аврора»,
И не в силах мы разжать тиски.

Ты для меня бальзам и яд

Ты для меня бальзам и яд, Но где еще найду такую? Сегодня все часы стоят, И стрелки крутят вхолостую.	Нет ни начал и ни концов, – Мы растворились в нашем танце. На окна лег полдневный пот, И тополя звенят, как лютни. Под это шевеленье нот Пожалуйся о чем-нибудь мне.
Потоки чувств, комочки слов, Пересеченья двух субстанций.	

О, если бы

Всю жизнь ищу себе любовь И не могу найти. Перестая искать, и вновь, Как пилигрим, в пути. В груди дыханье затая, Спешу на чей-то зов. Быть может, там любовь моя? О, если бы любовь! Не верю, но ищу ее. Зачем, кто скажет мне?	Свила любовь гнездо свое В неведомой стране. Тот, кто удачливей меня, Согрет ее теплом, Седло имеет и коня, Большой построил дом. А я ищу себе любовь И не могу найти. Перестая искать и вновь, Как пилигрим, в пути.
---	--

* * *

Белым драпом туманным завешены будни.
Но случилось ненастной полночью млечной
Ощутить в переулках безлунно-безлюдных
Напряженье горячее мышцы сердечной.
Так случилось... Пускай будет тихая радость,
Что у каждой судьбы есть запас многоточий.
Не напрасно мне каждую ночью казалось:
Это белые ночи... это белые ночи...
Так случилось... Когда мне захочется выкрасть
Для тебя каплю счастья у белого мрака,
Ты мне скажешь в ответ, что вино отыскрилось,
Пусть разлито оно будет в чаши, однако...
Я спрошу: «Как жилось тебе все эти годы?».
Улыбнешься сквозь слезы: «Не хуже всех прочих...»
И поймешь, это – жизнь. Это сумрак исхода.
Это белые ночи. Просто белые ночи.

Впусти меня в свое тепло

Впусти меня в свое тепло, В свою космическую влагу. Давай напишем нашу сагу, Быть может, нам не повезло, Но в этих радостях любви Сумели мы найти друг друга,	Сумели вырваться из круга И улететь на край земли. В любви и в смерти – всюду край. Сегодня жив, а там – едва ли. Впусти меня в свои печали, И никуда не выпускай.
--	---

* * *

Я ваши плечи целовал,
А вы в лицо мне дым пускали.
И звали вас ночные дали,
И сумрак в сердце расцветал!
Звенели скрипки, и рояль
Шептал о том, как вы прекрасны,
Очаровательно-опасны,
И что полюбите едва ль.
И я уже изнемогал,
И мне скорей хотелось к морю,
Чтобы расстаться с этой болью
И лицезреть девятый вал!
И свод небесный грохотал,
И я уже не мог согреться,
И молния вошла мне в сердце,
И отнял душу дикий шквал!
Я вас любил, я вас прощал,
И не хотел расстаться с вами,
И осыпал вас всю цветами,
И крылья за спиной ломал!..

* * *

Мне кажется, устали мы с тобой.	Так хочется веселой тишины,
От дыма ядовитого устали.	Так хочется полета над полями.
А нам бы задохнуться синевой	Чтоб детский смех звенел над городами,
И на земле оставить все печали.	Чтоб не было ни злобы, ни войны.

* * *

Снова грязный вокзал. У соседей коньяк и печенка.
Рейс задержан – по осени редкая ночь без дождя.
Одинокая в белом, спросив меня тихо о чем-то,
Постелила газету и села напротив меня.
Сколько грустных, недосказанных сказок на свете!
Сколько добрых и светлых страниц нам обещано впредь!
Одинокая в белом во мне разбудила поэта...
Но шипит микрофон. Пассажиры готовы лететь.
Я свой голос забыл – для чего нужен он на вокзалах?
Я отвык от тепла посреди бесконечных полей.
Но я был озарен этим чудным, волшебным овалом,
Лебединым огнем незнакомки случайной моей.
Не ждала нас в далекой Швейцарии горная вилла,
И гостиница с мягкой постелью, увы, не ждала.
Одинокая в белом, как жизнь, как мечта, уходила,
В непроглядную мглу свои белые крылья несла.

* * *

Ах, если б просыпаться от любви!	Ах, если бы свободно жить и петь!
Открыв глаза, от ласки задышаться!	Теплу и солнцу вместе улыбаться,
С печалью и бедами не знаясь,	Водной с тобой постели просыпаться,
Повсюду плыть в объятия твои!	Растить детей, мудреть и не стареть.
Ах, если б просыпаться от любви!	Ах, если бы свободно жить и петь!

Наверно, я когда-нибудь умру...

Наверно, я когда-нибудь умру.
Однажды выйду в поле поутру.
Подобно серебряному лучу,
Над полем и деревьями взлечу.
И это будет радость для меня,
Как будто я проснулся в свете дня,
Как будто все печали позабыл,
Как будто вспомнил всех, кого любил.
Я встану, точно птица, на крыло,
И будет на душе моей светло,
И я дотронусь до своих родных,
Уже ушедших и еще живых...
Сыграю им прощальный полонез
И растворюсь в сиянии небес.

* * *

Минувших лет неслышные шаги Ещё звучат, звучат во мне устало. Но всё другим, всё незнакомым стало: И вялое пожатие руки, Ещё вчера наполненное силой; И равнодушный взгляд любимых глаз; И свет звезды, что только родилась И чью-то жизнь нечаянно разбила... Неясный шорох листьев за стеной Мне об ушедших днях напоминает.	В мелодию осеннюю вплетает Твой голос – и далёкий, и родной. И он звучит, звучит во мне опять То эхом счастья, то набатом горя. И время, ошалевшее от боли, Вдруг перестанет маятник качать. И упадут неслышные снега, Утраченные годы возвращая. А поздних листьев трепетная стая Поднимется опять под облака...
---	---

Посвящение

Встреча с вами – будто сон.
Жаль, ему не повториться.
Он обманчиво струится,
В полуправду облечён.

Встреча с вами – как мираж:
То ль была, то ли приснилась.
Что когда-то не случилось,
Нынче впишется в пейзаж.

Встреча с вами – как романс.
В нём призывно-томны звуки,
И предчувствие разлуки,
И сомнений горький час.

Только, видно, суждено
В этот сон мне окунуться,
Где на вздохе струны рвутся,
Звёзды падают в окно...

Незаконченный пейзаж –
Вот что значит встреча с вами.
Допишу его стихами
И отправлю в адрес ваш.

* * *

Коплю не богатство,
а письма друзей –
Правдивую повесть
растаявших дней.
Слова собираю –
по букве, по строчке,
Чтоб только не ставить
решающей точки;
Чтоб только не верить
годам обречённым,
Со мною когда-то давно
обручённым...
Те письма – как ниточки
в прошлую жизнь.

И нет в них корысти, –
какая корысть
От тонких, слегка пожелтевших
листочков,
Где – чёрным по белому –
несколько слов?
Их, видимо, мне
не хватало всегда.
И время, незримо
сплетаясь в года,
Вернуло в тех строчках
дыханье весны,
Чтоб жизнью наполнить
уоставшие сны...

* * *

Мир настроен на любовь.
Ни к чему слова пустые,
Если сердце вновь и вновь
Ищет истины простые.

Хмурый день не гасит чувств,
Полон нежности и света.
И венчает он союз
Долгой ночи и рассвета.

Ощущение весны
Так томительно-обманно,
И желания ясны,
Как сюжеты из романа.

И не нужно лишних слов;
Красота сегодня – в чувствах.
Мир настроен на любовь –
В этом высшее
искусство.

* * *

...Ту каплю горького вина
Боялась я пролить из чаши,
Как будто в ней и судьбы наши,
И наше счастье, и вина, –
Вина за долгие часы
Неутолённого желанья,
За наши поздние прощанья,
За гроздь солнечной росы,

В которых отражалось лето,
За светлый мир моей любви,
За нашей встречи краткий миг,
Где я была навек согрета...
Но в капле горького вина
Я растворилась без остатка.
Рассталась с прошлым без оглядки.
Обуглена. Обожжена.

Моя песня

Не верьте: не умирает –
Сгорает без ласки сердце.

...Где ж ты была, такая
Нежная моя

песня?

В час полуночный тихий
Ты для кого звучала?
Тело чьё повиликой
Ты в любви

обвивала?

Голосом, не забытым
Через десятилетия,
Ты по кому грустила,
Светлая моя

песня?

Знаю: не умирает –
Без ласки сгорает сердце.

...Где ж ты была, такая
Поздняя моя

песня?..

Сонет

Сказали вы: «Целую ваши руки...» –	И нежности, не знающей границ.
И знойный ветер душу опалил.	Не знающей границ моей печали
Горчило на губах вино разлуки.	И ваших неодолимых побед.
Допить бокал не доставало сил.	А встречи нам разлуку обещали,
Нам лишь хватило сил на эту встречу.	И каждый миг был памятью согрет.
В ней смутно отражались годы-дни,	И каждый миг был полон
Где плавилась, но не сгорали свечи,	ожиданья.
И с вами были мы совсем одни.	Не потому ль вы повторили вновь:
Совсем одни – среди толпы	«Целую ваши руки в час
скользящей,	прощанья...
Среди десятков незнакомых лиц.	Пусть вас всегда хранит моя
И было только ощущение счастья	любовь...».

* * *

Единственный мой,	Нежности
единственный,	очень хочется
Мой берег, моя земля...	И любви.
Душу прибило	Хочется слова
к пристани	искреннего
Твоего корабля.	У огонька свечи.
Устала	Единственный мой,
от одиночества	единственный –
На островах своих,	Пристань моя в ночи.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕБЮТ

Нина ТЕРЕНТЬЕВА

На деревенской тихой улочке

Дед Василий сидел на скамейке за оградой и тихо матерился. Он хоть и не шибко мастак на худые-то слова, но тут уж так подперло, что молчать нет сил. Во-первых, нога спокоем не дает, еще ночью начала донимать и все еще успокоиться не может. Он и так ее и растак, помажет мазью, вытянет да согнет, погладит. А она добра не понимает, ноет и ноет.

– Ну че тебе, старбетина, надо? Ведь отходила свое, прижми хвост и тихо топчись, а то ведь отрежут, раньше меня помрешь, – выговаривал дед.

Он заголил штанину и стал легонько постукивать прутиком по голени:

– Вот тебе лекарство, сухотина старая.

Во-вторых, он матерился потому, что жена его Анна Никандровна укатила проведать сестрицу, вон туда за реку ушла. А его домовничать оставила. Велела посматривать на реку, чтобы гусей не напугали бегающие собаки. И еще – в обед пороссятам вынести, а главное – курицу с цыплятами не прокараулить, в оба глаза за шустрым семейством смотреть, а то проберутся в огуречник.

А у деда на этот день свои планы были. Он посулился Митричу помочь забор в огороде поправить. Оба правельщики-то, правда, таковские, но руки дела требуют, да и просить некого, самим надо тесать, насколько силы хватит. Когда еще внуки-то приедут.

Дед встал, тихонько пошел в курятник, выгнал семейство за ограду на мурок, сам опять уселся на скамейку. А она как раз под смородиновым кустом, так что и духмяно, и тенечек, и куричье семейство под приглядом. Вот оно на виду, можно и газетку почитать да и подремать.

Но дедовы планы не стыковались с куричьими, и потому вредничали друг перед другом. Он ей воли не давал, она ему.

– Скажи, сколь же ты не поторжна. Похлебкино снадобье, лапшова подружка, – выговаривал он курице.

А та норовила пробраться под заплотом в огуречник, знала, что на грядках-то посытней будет, чем на муравке-травке. Но все ее попытки дед Василий пресекал. И вища хлопала то по дедовой ноге, то по куричьей пестрой спинешке. А цыплята желтыми комочками бегали по траве, им ни до дедовой болячки, ни до его слов дела не было, да и огуречник не манил.

Дом деда Василия стоял в тихом заулке возле речки. Старый уж он был, грустновато окошками смотрел, но держался, хоть и давно построен да руками-то крепкими бревна уложены. Крестовый, ладный он был обихожен, крылечко – ступенька к ступеньке, сени покрашены. На подоконниках герань цветет. Стайка – бревнышко к бревнышку.

...Соседский боров Борька неторопливо вышел из ворот, огляделся и направился к дедовой скамейке. Ближко не подошел, а улегся в лужу у дороги, в самую середину примостился. А кругом тишина, солнышко греет. Борька как зашевелится, так ошметки грязи к дедовым ногам летят. Пес Буянко смирно лежит, вроде даже дремлет, пристроившись у перевернутой возле палисадника лодки.

На заборе висят выстиранные половики – домотканые цветастые.

А за рекой – борок, рядом поляна в цветах – ромашках. Подальше, в березовом колке, растет трава блажница, иван-чай тянется к солнышку. Дед шутил иногда, мол, я хоть и Василий, а иван-чай всегда готов пить, да и отец мой Иван его шибко обожал.

...Дед Василий смотрит вдаль за реку. Вон там на мостке стояли они когда-то с Нюрой, молоденькие совсем, и смотрели, как она, речка-то, неторопливо течет вдоль бережков травяных. На этом мостике и мать ревела, провожая его на войну. За мостком уселись они, мальчишки, на телегу, и Серко повез их в район, оттуда на станцию. А поезд на фронт направлялся...

Эх, мосток, мосток. И с войны через этот мосток бежал к дому. Родное все тут, свое, с малых лет знакомое. А своя-то земля она ведь и в горсти мила.

Тихо, тепло. Дед закрыл глаза, задумался-раздумался. И в очередной раз удивился: пошто оно так мило, родное-то?

А был он уже сухой, как давнее лежалое бревешко. Вот стояло оно деревом, листьями мельтешило, изо всех сил тянулось к солнышку. И дотянулось. Потом согнулось и тихо к земле заприпадало. Так и дед. Тянулся, возище и колхозный, и домашний тащил. Войну прошел, ногу там изувечил, еле живым выбрался из горящего танка, когда взрыв рядом прогремел, наград всяких – и боевых, и трудовых – полный ящик в шкафу. А сколько пахал, сколько сеял... Сколько сена стоговал.

Эх, считай, не сосчитаешь. Трех сыновей с Анной они вырастили, внуки да правнуки теперь приезжают, потому и огород садится, и гуси, и поросята, и курица с цыплятами...

Поля у родной деревеньки вдоль и поперек исхожены, изъезжены.

– Зашшурком пройду по любому. Каждую полянку сенокосную знаю, – любил приговаривать дед.

И все куда-то спозаранок бежал, торопился: успеть бы. Успеть бы посеять, успеть бы убрать хлеб с поля. Своим коровам сена накопить ... Тем, которые на ферме. Не замешкаться бы. Бригадиром ведь в колхозе был.

– А теперь я лесина сухая, валежник, на растопку уж поди не гожусь, – вздохнул дед Василий.

...Курица, кося глазом на пастуха, двинулась к заплоту. Вот уже приготовилась пробраться, еще шажок и... Но дед хитер, он понял ее хотение и вскинул вицу:

– Я тебе, пакостница эдака. За цыплятами смотри, похлебкино снадобье.

Курица с обиженным видом отошла, уселась на травке, бдительно следя за дедом.

Тихо, сонно в полдень. И уж совсем задремал дед, да Буянка подал голос.

Из-за палисадника вышел Сашка Марьин. По фамилии он был Бакланов, но по деревенской говоре величался Марьиным, по материнскому имени, ведь такая фамилия у половины деревенских. Сашка был уже чуток навеселе. Жил он в райцентре, работал там, но частенько приезжал сюда к матери. Манит родное гнездо. Тут и питье позволял себе, дома-то жена крепко держала притужальник. Случалось, Сашка и попрошайничал на бутылку, свои ведь все, кто откажет. Это дед знал, потому гостю не обрадовался, не любил он выпивающих, ругал не раз за это Сашку. Сам он ни-ни, ну разве уж какой шибко неувертный случай.

Сашка улыбнулся:

– Здорово, деда Вася!

– Ну дак че, – сухо отозвался дед. Но это не смутило Сашку.

– Подвинься, я сяду, поговорим.

– Иди куда шел, не дам.

– Чего не дашь? Ты, елки, этот что ли Чумак?
– Да хоть кто, а денег не дам. Знаю ведь твой спрос.
– А знаешь, так спонсируй сотняшкой.
– Ну, вицей по шшокастому заду.
– Да дай уж ты мне хоть десятку, – засмеялся Сашка.
– Чирей тебе на пятку, – огрызнулся дед.
– Ты смотри – поэт. Да я, дед, просто так подошел. Не надо мне, завязываю деревенскую эту радость.

Дед покосился на Сашку, помолчали.

– Садись уж, посудачим. А перво-наперво: не пей, Санко, погибель ведь это. А ты тоже на войне был, раненой, смерть видел, дак поче хлебашь? Там выжил, а тут себя гробишь... Да садись уж, я подвинусь. Как у тебя дела-то?

– Хреновато. Нога донимает, уж я и мажу ее всякими мазями, а она ноет и ноет.

– Ух ты. И у тебя тоже нога вредничат? И я со своей маюсь. У тебя куда пуля-то попала?

– А вот тут возле кости прошла.

Сашка приподнял штанину, оголил ногу. Дед наклонился, рассмотрел рану, потом вздохнул:

– Худовато, однако, дело. До моих годов доживешь, вовсе замает. А ты хоть вражине этому отплатил?

– Не успел, однако, а может и попал в цель. У меня тогда такое случилось, что стыдновато рассказывать, но я тебе-то скажу, ты же тоже солдатом был. Мы окружили их, они палят, мы стреляем. Бегу, смотрю: из-за поворота – навстречу ихний. И мы с ним замерли друг перед другом. Знаю: надо бы выстрелить, но ведь убью парня-то. И он смотрит на меня, тоже не стреляет. И я не могу выстрелить...

– Ну и дурак, война ведь. Ты – солдат. Пошто первым не стрелял?

– Ну вот жалко стало парня. И, видно, ему меня тоже. Разбежались. Я вперед, бегу, стреляю. Навстречу – выстрелы, метнулся в сторонку, а пуля-то в ногу. Падаю и оглянулся: как там тот парень. Вижу тоже упал, но вроде шевельнулся. Может живой остался. У меня до сих пор в душе покою нет.

– Ну елки-смоляны, солдат тоже мне. Война же была.

Помолчали оба. Сашка затянулся сигаретой, закашлялся.

– Из чего они эту гадость делают, полынь что ли суют.

Дед вздохнул, потом сказал:

– Пошто же придумывают войны? Неужто мирно не договориться?

– Злости у всех много.

– На кого злость-то?

– А я знаю, что ли... Хрен их разберет.

Сашка снова взял сигарету, опять закашлялся.

– Не курил бы, а вот как вспомню то время, рука сама сигарету ищет.

Дед вздохнул, утер пот со лба, повернулся к Сашке:

– Вот зачем твоя-то война нужна была? Пусть бы сами в своей Чечне разбираются. Моя война – понятная. За правое дело воевали. А твоя?

– Да кто знает-то? Приказ был, я солдат. Да хватит об этом.

– Ладно, забыли. А нога, как только шибко донимать будет, ты мой совет живо припомни. Я, когда с войны пришел, то первым делом ее лечил лопухом. Соком евоным обмажу, лист привяжу к ране. Да ишо солидолу добавлял. Помогало. И сейчас пойду вот наломаю лопухов да и буду лечить.

– Ну и лекарство у тебя... Да сейчас столько препаратов!

– Плюнь на эти мазева. А лопухом попробуй. Мне помогает.

Под черемуховым кустом копошилась курица. Гуси плескались в реке. Тихо. Борька зашевелился в луже, закричал, приподнялся, сонно посмотрел на Буянка, на деда, на Сашку и снова плюхнулся в лужу. Ошметки грязи долетели до дедовой ноги.

– Вот тебе, дедко, еще одно лекарство, грязетерапия, – усмехнулся Сашка.

А курица направилась в сторону реки, цыплята за ней. Дед взял вицу и хотел было приподняться, да нога-то не захотела этого. И дед Вася так загнул матом, что Сашка даже привскочил:

– Ну ты даешь! Как ты матюгаться-то стал. Сроду ведь от тебя не слышал. А теперь завихаривашь! Кстати, Госдума запретила материться.

– А пушшай она в деревню едет и поживет тут, тогда послушаем ее речито. А ты помолчи, учить ишо меня будет. Иди, верни курицу.

Сашка сбежал, пригнал семейство. Уселся рядом, похлопал деда по плечу, улыбнулся виновато.

Дед тоже улыбнулся. Помолчали. Дед первым заговорил:

– Сашка, гляжу на тебя и думаю: как же быстро жизнь пролетела. Помню, я только с войны вернулся, в первые же дни, прибегает твоя бабка Варвара, тогда, понятно, красна девка и с порога: «Василий, Христом Богом прошу тебя, сделай зыбку, сын у меня родился. А ты ведь мастер зыбки ладить». Сделал я и на другой день в горнице ихнего дома привесил. Дед-то твой с войны без руки вернулся, по ранению раньше меня пришел. Дак в зыбке той твой отец Мишка чурил. Вот ведь давно ли это было, ох и летит время. И вот ведь диво: я всех своих ребят-танкистов по именам, фамилиям помню до сих пор, как и командиров. Как и города, деревни, речки... По этой, как ее – Европе – проехал на танке... Даже кто про че и как сказал помню. А вот про че мне вчера Нюра говорила, забыл.

– И я всех помню. И убитых тоже. Был у меня друг Колька... Как жить хотел... Не вернешь...

– Не вернешь.

Помолчали. А солнышко так и наровило лучиком пригреть да погладить. Дед заговорил первым:

– Ох, не пей, Санко, жизнь, она и так лётю летит.

– Летит. Вроде только понедельник, а уже и суббота на носу.

– Вот и ты стал замечать...Эх... А ты где робишь?

– В ООО «Лесное».

– Это че тако?

– Ну, это общество с ограниченной ответственностью. Три О, три нуля.

– Три дырки, стало быть. А пошто ответственность-то ограничена? Ведь отвечать-то надо всегда по полной. И много ли платят в тех дырках?

– Сколько платят, и то ладно. Твой внук Пашка у нас же робит.

– Знаю. Я отдаю ему свою пенсию, ведь у него дочка Света учится за деньги.

– Не за деньги, а на платном в универе.

– Вём. А ведь и у другого внука сын учится на агронома, одеть, обуь надо, накормить. Так что живем мы на бабкину пенсию, да и от той отделяем. Потому и гусей, свиней, курей держим. А за этим догляд надобен, корм. А огород посмотри какой! Обиходь-ка его... Ты вот поругал меня за матерки, а ведь не я худой, жисть така. Жалко мне, Санко, деревню-то, помрет ведь, школы нету, работы без колхоза нету... Тебе бы вот пошто в деревне не жить да скота не развести, как вот Петро Антонидин? Держит ведь ферму, хоть и малую. Твой прадед Степан работающий, говорят, был. Мельницу имел. Раскулачили его. Поди, от его у тебя в характере-то чё-нибудь да есть.

– У меня выветрилось, видно, нету хозяйственной жилки. Кулаки-то крепкими мужиками да самостоятельными были. А я привык по команде действовать. Сказали – сделал.

– Верно, крепкими были те наши мужики. Знали: языком хоть сколь мели, мучки-то не будет. У моего деда вон там за Лысой горой стекольня была.

– Завод что ли?

– Ну если по-нонешному говорить, то завод.

– А сейчас кулачество как класс возрождается. Только вот мало кто сжимается в кулак.

– Мудрено ты говоришь. Да пусть сжимают мужики кулаки, земля бы только не пустовала, ведь столько распахивали, сколько колков раскорчевывали, а теперь вон и скотные дворы разваливаются... На поле кусты уж боле тебя выросли. А я помню, пахал вон там за рекой, дак поле-то чистюшное было. Сена вон там на лугу сколь наставляли! Утром в пятом часу бабы на ферму бежали. Помнишь ведь, мать твоя дояркой всю жись проробила, отец на тракторе. Рано вот только он помер, на поле сердечко-то прихватило... Везем его в больницу, а он шепчет: «Я поле-то не допахал». Вот ведь какие люди были... Нет теперь ни стада, ни колхоза...

– Не трави душу, дед.

– Ой, прости, Санко, прости старика.

Помолчали. Сашка заговорил первым:

– А ведь Иван, племян твой, держит много скота.

– Я хвалю его, он часто забегает проведать, молочка нам приносит. Пусть Ванька кулаком будет.

– Эх, больше бы их, здоровый бы кулачище сложить.

Сашка вздохнул, дед тоже.

Солнце парило. С реки ребячий смех доносился. Курица с цыплятами в траве, в тенечке прилегла. Буянка в ограду убрался, там прохладнее. Дед вздохнул:

– И вот где она моя Нюра? Бегунья, едри её за хвост. Поди, их в церкву внук сестрин повез. Нюре шибко охота грехи замаливать.

– Да какие у ней грехи. Баба Нюра добрая, слова худого никогда не скажет.

– Ага, другим не скажет, а мне скажет. Придет, дак я ей это... как его... ультю матом скажу.

– Нужен ей твой ультиматум... Вот у тебя, дед, поди есть грехи. Скажи, побегал за юбочками-то?

– А как же, бегал. Мужик ведь. Ловко подставят, дак как не запрыгнуть?! А ты, поди, бегашь от баб-то?

– Бегаю, но не от них, а за ними.

– Санко, бегать-то бегай, скачи пока скакалка скачет, только свою бабу береги. Не бросай. Своя, она – своя. Мы ведь для своей, как сыночки, хоть и непутевые, но дорогие.

– Это понятно. Я так ухвачу, чтобы она не знала. Не урвать дармовщинку, так жизнь пресноватой покажется. Я вот войну вспоминаю, думал тогда: выживу, вернусь домой, женюсь, дом отгрохаю, ребяташек займею. Детей займел, а дом отгрохать – увы, времена не те.

– А я на войне думал: выживу, вернусь домой, возьму литовку и на луг сено косить. И пусть девки любят, а я им подмаргивать буду. Эх, думаю, пороблю! А главное: мамку увижу. На речке день сидеть буду. Вечером гармошку в руки и на вечёрки! Вот ведь мечты-то. Даки молодой был. Эх, побегано тут! И вот чё я думаю, Санко, ведь воевали мы за ту страну, за

землю свою родную, а не за то, чтобы ловкачи все разворовали. Эх, увидели бы нонешно время те парни наши...

– Да ладно, тебе, не трави душу.

Помолчали. На небе хоть бы тучка закружила, синева кругом. А солнышко-то как старается! Все правильно, его время.

Дед засуетился:

– Саня, иди-ка, выгони боровка из ограды, пробрался ведь, цветки на клумбочках перекопат. Да к луже его направь, само свинячье дело в луже лежать.

Сашка сходил, выгнал борова из ограды, к луже подогнал. Сел на скамейку. Помолчали. Потом про ягоды заговорили, скоро ведь по землянку можно топтать в лес. А она уж такая ядреная!

– Это об чем же оне говорят? Беседа у них тут шибко сладка. Об чем судачат оне? Не об девках ли? Василий, ты разве не видишь, что гуси далеко уж уплыли. А поросят кормил? Где курица?

Бабушка Анна вопросительно глянула на мужа.

– А ты как так тихо подошла?

– Дак этъ я не паровоз.

– Ну не паровоз, только все равно тихо. Я пойду погляжу на курочку-то.

– Погляди, она на огурешной грядке копается.

Бабушка Анна неодобрительно посмотрела на Сашку.

– А Александро Михалыч за каким тут делом?

– Да просто шел мимо, да и присел поговорить.

– А ты матери пособил картошку протяпать?

– Пособлю, я в отпуске. Посиди с нами, баба Ньюра.

– Ну дак не сиживала я с вами. Пойду поросят кормить. А ты, Василей, однако заробишь...

Она пошла в ограду, в воротах оглянулась и взглядом уколола.

Сашка засуетился, уходить надо, а то ведь попадет. Дед остановил:

– Не егози, Санко, пройдет туча мороком. Айда в амбарушку. У меня там припрятано на тако дело. А ей скажем, мол, верстак подправить надо. Айда.

В ограде дед крикнул:

– Ньюра, мы в теньке за черемухой посидим, а потом верстак поправим да поговорим.

– Да правьте, говорите, Санко ведь не в частом быванье у нас, – отозвалась баба Ньюра.

Они прошли мимо черемухи, прошагали около грядок.

В амбарушке прохладно и тихо. В углу за старой кадкой была спрятана бутылка водки. Дед скомандовал:

– Санко, ты тазик переверни доньшком вверх, вот и стол. Я пойду луку нашшиплю, закуска будет, а ты за верстаком стаканы найди.

– Деда Вася, так ведь ты не пьешь.

– Не пью, а с тобой чуток выпью. Довела она меня.

– Баба Ньюра?

– Пошто? Жись нонешная. Да и столько мы навспоминали! Душа-то горит. Али мы не русские с тобой? Али не умеем пожар гигиеный тушить?

Дед расстелил газетку, положил лук, налил в стаканы.

– За что пьем? – спросил Сашка.

– А чтобы все путем было. Ох, как это нонче надо. Ну дак вот выпьем, успокоим душу, поговорим. А потом пойдем Митричу поможем.

...Над деревенькой сияло солнышко. Ромашковая полянка улыбалась, на речке ребятишки купались, да со смехом. Весело им. У них ведь все впереди.

с. Исетское

Наталья КОСПОЛОВА

*В честь моего отца, Эмиля Ивановича Косполова, Моей бабушки
Анна – Анны Митрофановны Коньковой, 100-летие которой отмечалось
в 2016 году, и в честь всего народа манси.*

Ханты-Мансийск

Я стихи собираю, как росы,
Собираю стихи, как цветы...
Ханты – отдых;
Подкинутый посох;
Сочный космос далекой звезды...
Невесомых созвездий работа –
Стружки вечности в иглах ветвей.
Племя выдры на дальних болотах.
Перекличка лучей и путей.
Хочешь сна, хочешь сладкого снега –
Значит – звездам наперевес –
Угольками чистейшего смеха
Нас окликнет понятливый лес.

Отец

Зов Севера – быть...	Всеведущий знак
Страна семи рек.	Подскажут ветра.
Сюда приходил	Природа не враг –
Большой Человек.	Она нам сестра.
Места выбирал –	Из бурых болот,
Добычу иметь.	Снегов Серебра –
Его узнавал	Природа нам Мать,
И Волк, и Медведь...	Нежна и мудра.
Страна семи крыл –	Вглядитесь в глаза
Пал выбор Небес.	Напуганных птиц.
Устойчивый тыл,	С укором глядят
Сиреневый лес.	Крылатые вниз.
Зов Севера – боль...	Пусть тропам оленей
Укрой, защити.	Не виден конец.
С Природою бой –	«Будь обычаям верной, –
Свернули с пути...	Говорил мой отец, –
Сегодня леса	Храни как закон
Дрожат от машин.	К живому любовь.
С Природою бой –	И кузов Земли
Один на один.	Наполнится вновь...».

* * *

Границ перелетов не ведают птицы.
Что встретиться значит, что значит проститься...
На ветви садятся – и дышат простором...
Уж скоро взлетаем. Уж скоро;
Уж скоро.
Несет меня ветер оранжевых вихрей.
Хранит меня небо, родной называя.
Я в небе кружу, как гагара лесная,
Язык перелетов до тонкостей зная.
Прости меня, милый. Я – взлетная птица,
Я небо люблю больше быта земного.
Я вовсе с тобой не желаю проститься,
Но – скоро в полет.
Снова ждет нас дорога.

* * *

Посылаю тебе звездопад,
Признаваясь в любви каждой строчкой;
Посылаю сияющий сад
Вдоль дороги твоей – спешной, срочной.
Посылаю, не ведая слез.
Отдаю, не прося об ответе.
Сколько хочется выпалить слов,
Обжигаясь любовью при встрече.

* * *

Рассвета сито золотое
На соты поделило мир;
Из небывалого настоя
Готова бодрый эликсир...
В горах трубач играет гимны
Заре;
И облака проходят мимо,
Как стадо на горе...
Горит сиянием дорога –
Нечитанная быль,
Уйдет роса, сметет тревогу
Повозки встречной пыль;
Зеленой скатертью слоится
Лугов и далее пир,
И хочет в гимнах повториться
Новорожденный мир...
И лес впускает в космос древний,
Как в класс,
Как в заповедник за деревней...
И держит кулачки за нас.

Яков ЧИСТЯКОВ

Дороже хлеба только жизнь

Холодный мартовский вечер тревожного 1921 года уже давно перешел в ночь, а Парфен Загваздин все еще сидел в переднем углу избы за столом со сдвинутой на край немытой посудой, упершись локтями в облитую кипятком и самогоном столешницу, и не спешил лечь спать. В нем невозможно было признать бывшего боевого офицера, с десятков лет прослужившего в царской армии да почти год отдавшего службе у адмирала Колчака. Черные, давно не стриженные волосы сваялись, прилипли к потному лбу. Неухоженные усы и борода портили красивое лицо. Заношенный мундир без погон измят и расстегнут. Даже глаза как будто утратили прежний блеск – стали злые, словно налились кровью. Взгляд этих глаз устало обшаривал комнату, едва освещенную светом пятилинейной керосиновой лампы, похоже искал кого-то и, не найдя, уставлялся в кромку столешницы. Порой раздавался его голос, сильно охрипший то ли от простуды, то ли от постоянно подаваемых команд.

– Хозяин! Отвори дверь! – приказал он. – Душно!

Хозяин дома, Семен Максимович Быков, неторопливо слезая с печи, ворчал в ответ:

– Как спать-то будете? Выстынет в избе.

Сам он на солнцезакате вернулся из лесу, где ставил петли на зайцев и куропаток. Версты три прошагал на широких, обитых лосиной самодельных лыжах. Когда-то в молодости охотился по-настоящему, с ружьем. А нынче, в разгар крестьянского восстания, не дай Бог, если кто увидит у мужика дробовик или берданку – сразу запишет в бандиты, поэтому ходил без оружия.

Спустившись по приступкам, старик осторожно перешагивал через разлегшихся на полу подчиненных Загваздина, которых, кстати, власть как раз и считала бандитами.

Никто в Березовке в этот день не ждал их, а они нагрянули. Верхом на конях, с ружьями. Злые и уставшие. Одетые в крестьянскую разномастную одежду. Как в самом деле бандиты. И вот, не спрашивая разрешения, остались на ночлег в его новом просторном пятистенном доме. Оказалось их не менее двух десятков.

После ужина «бандиты», укладываясь спать, заняли не только полати, лавки вдоль стен, но и улеглись на полу. Свою кровать Семен Максимович отвел «главарю» – Загваздину.

Было действительно душно. Табачный дым, запах пота, вонь от сушившихся на печке портянок и рукавиц заполонили не только избу, но и кухню, и горницу. А еще пахло самогоном, которого было испито немало. Выпрашивая его у хозяина, Загваздин сказал:

– Мужиков надо успокоить: не знают, что ждет впереди. Победим в бою или нас побьют. Приказано выступить в сторону Аксурки и огнём встретить отряд какого-то Семакова.

Мужики выпили и успокоились. Только сам он все еще куролесил.

Дом Быкова для постоя Загваздин выбрал неслучайно. Он напоминал крепость. Усадьба с домом и двором огорожена высоким заплотом с глухими тесовыми воротами. Главное – на краю села. За ней – низина, речка Кучумовка и лес. В случае опасности – туда.

Лошадей, не расседывая, привязали за забором. Хозяину было приказано найти овса и накормить их.

– Овса, парень, – объяснил Семен Максимович, – в селе днем с огнем не найдешь: еще в январе продотрядовцы почти у всех до зернышка выгребли. Под метелку... Не только рожь, ячмень, не говоря уж о пшенице, но и фуражное, то есть овес... Разве у Якова Васильевича сохранилось сколько-то...

– У какого? – насторожился Загваздин.

– У старика Бухалова. Прижимистый. Мог напрягать...

Яков Васильевич, как только узнал, для кого нужен фураж, сам на санках приволок пару мешков овса. Не пожалел. «Бандитов» старик называл: «заступники наши». Пусть-де еще лучше борются с властью. На радостях даже на ночлег человек с десятков пригласил. И конечно, тоже угостил, как следует. Не без того! У него у самого два сына в «бандитах».

К полуночи кони за забором выстоялись, наелись и, похрапывая, долбили подкованными копытами снег, покрывающийся настом, поглядывали на слабоосвещенные окна дома, прислушивались к крикам, доносившимся из приоткрытой двери.

В полночь шум в селе почти всюду стих. Только в бухаловском переулке лаяли собаки, а в доме старика светились окна.

В доме же Быкова хотя свет и потух, но Загваздин по-прежнему сидел за столом, что-то выкрикивал. И вдруг спросил:

– Посты выставлены?

– Еще засвело, – сонно отозвался его помощник Терёха, устроившийся на лавке рядом со столом.

– Люди надежные?

– Трое местных парней да старик в придачу, как ты и приказал.

– То-то же, – успокоился он.

А о poste Загваздин позаботился не зря. Уж шибко тревожные вести приходили со стороны Усть-Ишима, откуда по берегам Иртыша в сторону Тобольска возвращался после рейда набравший силу в деревнях и сёлах Среднего Прииртышья тобольский отряд красноармейцев и ополченцев. Там он объединился с тарским отрядом. И теперь под командованием Циркунова и комиссара Семакова наступал, тесня мятежников. Те остановились в Аксурке, укрепили село, закрыв отряду путь на Дубровное, на Тобольск. На ближних подступах соорудили из бревен и снега сплошной вал, облили водой, превратив его в неприступную ледяную стену. А перед ней замаскировали в снегу бороны зубьями вверх. Так что во время атаки кони могли наткнуться на них и пораниться.

Обороной восставших руководил офицер Скабеев, сослуживец Загваздина, тоже отставший от отступающих колчаковцев и вместе с ним тайно проживавший до мятежа в Тобольске.

О положении мятежников Загваздин, конечно же, не знал. Не знал даже о том, был ли штурм села, прорвана ли его оборона. И следует ли ждать красноармейцев здесь, в Березовке, за 60–70 верст от Аксурки. Но, как человек военный, считал: пост нужен. Обстановка не ясная, всякое может случиться.

Березовцы же затей с караулом не понимали. До этого заезжавшие в их село «бандиты» на ночлег не останавливались. Засветло объезжали улицы, переулки, заглядывали в дома, пытаясь найти кого-нибудь из местной власти, коммунистов и им сочувствующих, активистов. Правда, никого так и не выловили. Коммунист Дмитрий Корнилович Бухалов, например,

еще в начале восстания был вызван в Дубровинский волревком, где ему поручили возглавить оборону села Дубровное. Там он и оставался до его падения. Так что Загваздину тут особо бояться было некого. Но караул был не лишним.

По совету Якова Васильевича караульный пост решили поставить на пригорке у церкви рядом с дорогой, проходящей через село.

По его же предложению назначили караульными трех парней Быковых, однофамильцев: Ивана Алексеевича, Ивана Спиридоновича и Ивана Евдокимовича. То ли усомнившись в их бдительности, то ли в благонадежности, Загваздин приказал направить им в придачу человека постарше, поопытнее. Таковым оказался еще один Иван, старик Иван Федотович Фомин. И опытный, и мудрый, но нерасторопный.

– Мы, – заявили три молодых Ивана, – будем в карауле вместе, а ты, дед, сменишь нас потом.

На том и порешили. В приподнятом настроении парни взялись за дело. К церковной стене прикатили розвальни с сеном и, оставшись одни, улеглись. Поговорили, пошутили. К полуночи каждого одолела дремота. Не видя никакой опасности, заснули под тулупами.

Откуда им было знать, что в это же время члены волревкома, отступившие из Дубровного и затаившиеся в лесной заимке, отправят в Березовку разведчика. В село выехал Павел Иванович Доронин, уроженец деревни Дорониной. И тоже в розвальнях с сеном, в тулупе. Конь бежал резво, поскрипывали полозья. Ничто не предвещало беды. И он предался воспоминаниям и размышлениям.

Вспомнил отца, с которым много лет вели хозяйство, считавшееся середняцким. Работали, содержали семьи. В девятнадцатом с приходом колчаковцев пришла беда. Они забрали доброго коня и отца отправили с подводой, нагруженной ранеными, в Тобольск. Отец не вернулся. Погиб. И эту власть Павел Иванович возненавидел. Зато новую, советскую, принял всей душой, даже вступил в партию коммунистов. И когда власть обратилась с призывом помочь голодающим страны, он первый в своей деревне сдал излишки зерна и призвал других последовать его примеру. Крестьяне сдавали до тех пор, пока не увидели, что продотрядовцы без всякого разъяснения и убеждения забирают у них уже не излишки, а необходимое продовольственное и даже семенное зерно. Это походило на грабёж, возмущало людей.

Жители деревень постоянно жаловались власти. Побывал в Дубровинском райкоме ВКП(б) и Доронин. Он предложил взять под контроль действия продотрядовцев, для чего готов был сам ездить с ними по дворам и урезонивать их.

Ответственный секретарь райкома партии, тоже возмущённый поведением сборщиков зерна, посоветовал присоединиться к ним, но предупредил, чтобы хлеб был взят. А потом пояснил: продотрядовцы подчиняются только своему начальству в городе Тюмени. Их мандаты подписывает какой-то «Инденбаум».

И вот довели селян до смуты. Их поддержали разные нечестные люди, вроде затаившихся колчаковских офицеров. Создали отряды и с оружием в руках выступили против власти. Кровь проливают.

«Что сейчас делается в Берёзовке?» – думал Павел Иванович, готовясь во что бы то ни стало выполнить задание своих товарищей.

Задание казалось простым: разузнать на месте, удалось ли мятежникам мобилизовать мужиков из числа местных жителей для отправки в

Аксурку. Если таковые есть – побеседовать с ними, отговорить ехать. А если в селе окажется какой-то другой отряд восставших – помешать выехать и ему.

Размышляя, Павел Иванович въехал на главную улицу. Незамеченный караульными, миновал церковь. Он, как и Загваздин, для посещения тоже выбрал дом Семена Максимовича Быкова, стоящий в безопасном месте. У ворот остановил лошадь, накинул вожжи на столбик ворот. С минуту постоял на крыльце, поглядел на контуры темных домов, послушал ленивый лай собак. Ночь хотя и была звездная, но темная.

Ничто не насторожило опытного Павла Ивановича: ни легкое похрапывания коней за забором, ни горевший в доме старика Бухалова в переулке свет. Он даже подумал: если и есть в селе «бандиты», то они наверняка ночуют у того бородача. А у Семена Максимовича, не особо жаловавшего посторонних, тем более мятежников, они вряд ли окажутся. Хозяин ему хорошо знаком. Так что все необходимые сведения можно получить у него. Главное – не поднять шума.

И Павел Иванович, боясь потревожить хозяев, без труда отворил приоткрытую дверь, не скрипнувшую, не брякнувшую, и осторожно шагнул в неизвестность, даже не удивившись, что так свободно проник в избу. Прежде он часто бывал в быковском доме, знал все ходы и выходы.

Опасаясь нарушить тишину, негромко покашлял. Ответа не последовало. Осторожно сделал шаг – другой вперед и наткнулся на человека, лежащего на полу. Тот испуганно вскрикнул и подскочил. В этот же миг раздался громкий голос из переднего угла:

– Кого тут носит?

Голос был явно не хозяина. Сразу же рядом вспыхнул огонек, осветивший лицо Павла Ивановича. Хотя тот и отпрянул назад, Семен Максимович успел узнать его. И тут разведчик понял, куда попал. Развернулся и, запинаясь за тулуп, оставленный на полу, ринулся к выходу.

Дом загудел, как растревоженный улей. Нарастал шум, звучала ругань. Люди повскакали с лавок, с полатей, хватались за ружья. Одеваясь, мешали друг другу, толкались и потому не могли быстро выбраться из избы.

Между тем Доронин, вырвавшись из избы, спрыгнул с крыльца. Отвязывать своего коня, разворачивать сани было некогда. Схватив тулуп, кинулся вдоль забора, завернул за угол ограды и устремился по глубокому снегу к Кучумовке, надеясь спрятаться в лесу.

В доме Загваздин тряс кулаком перед носом хозяина и спрашивал с пристрастием:

– Кто был? Знаешь?

Испуганный Семен Максимович не мог скрыть, что узнал нарушителя спокойствия:

– Доронинский... Павел Иванович Доронин.

– Кто он такой?

– Сказывают, большевик.

– Коммунист, значит. Откуда взялся? Зачем приходил?

– Не знаю... Истинный Бог, не ведаю.

Загваздина охватила ярость. Он как будто отрезвел, вновь почувствовал себя боевым командиром. Оценил обстановку: наведалься какой-то чужак – надо ждать беды, если его не поймать...

Выбегая на улицу, прихватил фонарь, с которым Семен Максимович обычно управлялся во дворе вечерами, и, размахивая им, уже зажженным, приказал своим собраться у ворот.

По всему селу собаки разразились сумасшедшим лаем. Старик Бухалов тоже почувал неладное. По тревоге поднял своих постояльцев и направил к дому Семена Максимовича, где мелькал свет, слышались громкие голоса... Сам, вооружившись пешней со сломанным остриём, заметался по переулку, решая куда бежать: то ли за ними, то ли к церкви, чтобы выяснить у караульных, кто приехал в село. Он как будто нес ответственность за них, самолично назначив на пост.

Тяжело дыша и сильно припадая на правую ногу, ринулся к мужикам, толпившимся у быковской усадьбы. Узнав причину тревоги, посоветовал Загваздину:

– У этого Доронина – одна дорога: через Кучумовку – в лес. По снегу далеко не убежит – в погоню надо!

– Дак и на коне далеко не ускочишь. – возразил помощник Загваздина. – Лыжи надо!

– Лыжи надо! – подхватил Загваздин. – Хозяин, есть они?

– Одна пара. Вон на крыльце за дверью, – махнул рукой в сторону дома Семен Максимович.

– Эх, – сокрушался Загваздин, – время, время теряем! Стрелять вдогонку! Нельзя его отпускать!

Пока готовили лыжи, выводили коня, искали свежий след в снегу, Яков Васильевич, опираясь на пешню, двинулся к церкви. Ругался, что-то кому-то кричал и тем самым окончательно разбудит караульных, до того безмятежно почивавших в сене.

– А-а-а, – зашумел он, – вот вы где, голубчики. А где раньше были? – кричал старик на Иванов. – Видели лазутчика?

– Нет.

– Никого не было.

– Никто не проходил.

– Никто не проезжал, – оправдывались, испугавшись, караульные.

– Не проходил! Не проезжал! – скривился Яков Васильевич. – Проспали, подлецы! Как пить дать, проспали! – Зачем-то пешней стукнул по розвальням, сдернул с них в снег тулуп...

У Кучумовки раздался выстрел, потом другой. Старик засуетился, заспешил обратно, выговаривая Иванам на ходу:

– Натворили делов, теперь по вашей милости уйдет вражина. Доронин это.

Парни покашляли, попереминались с ноги на ногу, и когда старик скрылся, заговорили вполголоса:

– Ну, достанется нам на калачи.

– Надо было деда Фомина отправить, он не проспал бы.

За речкой раздался еще выстрел.

– Неужто догнали?

– Сами не могли, так пуля настигла.

– В темноте человека из ружья не застрелить.

– Наугад бьют.

– Дай Бог, чтобы промахнулись.

– Жалко мужика, если Доронин.

– Нас угораздило уснуть.

– Кто мог знать, что?

Рассуждая, привели себя в порядок, стряхнули с тулупов сенную труху, собрались катить розвальни на место. Но рядом мелькнул свет фонаря, раздался голоса возбужденных и сердитых «бандитов». Загваздин – к парням:

– Караульные? Пороть таких надо! Как пропустили вражину?

– Дрыхли, – ответил за них Яков Васильевич, вернувшийся с Загваздиным – По глазам видно!

Вряд ли было видно что-то по глазам – лица и то виднелись нечетко. Однако старик неожиданно заступился за караульных. Видимо, решил загладить свою промашку с назначением таких безответственных в караул.

– Молодежь, – махнул он пешней. – Чего с них взять? Клок волос. Тоже мне, вояки...

– Ладно, – осек его Загваздин. И испугавшись, что вслед за разведчиком нагрянут красноармейцы, бросил: – Без нас разберетесь. Нам пора выступать в Аксурку. Все равно больше не уснем. А ехать далеко.

Все скрылись в предрассветных сумерках, оставив парней в неведении: что делать дальше?

Отряд, собравшись в переулке возле бухаловского дома, уже был готов в дорогу, когда его командир приказал провожающим:

– Проверьте завтра же: не ушел ли от погони коммунистиска. Если убит или ранен – привезите сюда! – и добавил уже негромко: – Бог даст – вернемся. Посмотрим, что за храбрец...

Ночное происшествие в Березовке и в окрестных деревнях обсуждалось долго. Не все верили, что возмутителем спокойствия был именно Доронин, человек спокойный, рассудительный, всеми уважаемый в округе. Что, мол, ему надо было в селе ночью? Только по оставленным у Быковых коню и упряжи определили: был Павел Иванович. Полагали, что если он жив, то непременно вернется за ними в ближайшее время.

В лес же на поиски Доронина в эти дни никто идти не осмеливался. Боялись сунуться: вдруг он лежит там раненый и готов встретить выстрелом из своей винтовки любого. Мог бы сходить туда по следам Быков, но он после ночных переживаний чувствовал себя плохо. А потом не нашел свои лыжи – потерялись в суматохе. То ли сломали постояльцы да выбросили, то ли оставили на лыжне. Не сообщили и жене о пропаже мужа, надеялись, что он тайно добрался до дому. А главное – каждый боялся, что, решись он спасти коммуниста, будет записан в сочувствующие власти и вот такими же бандитами отправлен на тот свет.

На четвертый день в Березовке снова появился отряд Загваздина. Не из трех десятков конников, а из пяти оборванных, голодных и злых мужиков. Они свернули в переулок и остановились у ворот бухаловского дома. Хозяин в ограде подметал ночную снежную порошу метлой и, заметив гостей, вышел им навстречу. Подобострастно поклонился, улыбнулся в усы и пригласил:

– Милости просим...

Гости, намереваясь пообедать и покормить измотанных дальним переходом коней, от приглашения не отказались, спешились. Яков Васильевич перехватил повод узды у Загваздина и привязал к коновязи. Его примеру последовали и остальные.

Поздоровались, перекинулись парой фраз, и командир попросил:

– Накорми нас и, – указал на коней, – их.

Видя пасмурное настроение мужиков, хозяин не решился на расспросы о делах. Выручил сам Загваздин:

– Все, старик, разбили нас в пух и прах. Моих ребят в плен схватили. Аксурку сдали. Мы вот с ними еле вырвались. Едва ноги унесли. Опасаюсь погони, не остановились в Дубровном, а махнули через Иртыш к вам.

– А потом куда? В Тобольск? – осторожно спросил Яков Васильевич.

– Сейчас – в юрты Второвагайские. Там наши силы должны накапливать и дать бой. Отдохнем часок-другой, коней подкрепим и – в путь.

За столом больше молчали, ели жадно, спешили. Яков Васильевич решил предложить мужикам для поднятия настроения самогону. Думал: выпьют, развеселятся. Но Загваздин грубо перебил:

– Какой самогон? Видишь, без выпивки пьяные? Не до того... В прошлый раз у этого... как его?

– Быкова, Семена Максимовича, – догадался хозяин.

– Вот у него по пьянке чуток не попались в западню... В самую полночь вражина появился. Ладно, один... А то бы...

Вдруг он, словно что-то вспомнив, отложил ложку в сторону и внимательно посмотрел на хозяина:

– Искали? – спросил.

– Кого? – не понял тот.

– Того, за кем гонялись, в кого стреляли?

– А-а, нет.

– Значит, так и не узнали: ушел или все-таки застрелили?

– Дак в лес никто не ходил.

– Почему?

И Яков Васильевич стал многословно объяснять – почему. Мол, в селе ни у кого не осталось ружья, даже берданки несчастной, а без оружия в лес не сунешься. Вдруг – живой. Встретит пулей из винтовки...

– А если застрелили? И лежит там?

– Я думал, – признался Яков Васильевич. – Не получается.

– Почему?

– По примете. Все эти дни над лесочком почти не было сорок. А они-то первыми мертвечину да падаль разную замечают. Кружатся над ней, трещат без умолку, а там... – развел он руками.

– Сороки сороками, а проверить хоть с опозданием, да надо: ушел нет этот...

– Доронин, – опять подсказал старик.

– Хочу взглянуть на храбреца. Злой я на всех их. Сколько наших у Аксурки погубили?! Сам съездишь?... Или коня дашь? Наши и без того измучились да еще путь неблизкий.

Все поднялись из-за стола, оделись и отправились на улицу.

– Так как? – пристал Загваздин к хозяину. – Тряхнешь стариной?

– Я по гладкой-то дороге не ездок уже, а туда – по снежной целине... Коня возьмите.

– Тереха, – остановил Загваздин своего помощника, – ты в погоню ходил, ты стрелял, дорогу знаешь... Сгоняй, да побыстрей.

Вывели из двора упитанного коня, оседлали, набросили хомут. Загваздин подал седоку вожжи и сказал:

– Привяжешь за гуж и приволокешь.

Тереха выехал за ворота. Загваздин ожег коня плеткой и плюнул вслед. Тот за пару минут оказался у быковского дома, где следовало искать след к Кучумовке, проложенный его лыжами.

Семен Максимович, разгребавший снег у ворот, признал помощника Загваздина, вроде как ординарца, поприветствовал рукой и успел крикнуть:

– Куда?

– За твоим ночным гостем! – указал Тереха черенком плетки в сторону леса.

По снегу конь сразу же сбавил бег, перешел почти на прыжки.

Ошарашенный новостью Семен Максимович бросил лопату и – в избу, сообщил ее жене. Та наскоро оделась – и вдоль по улице. Муж за ней к переулку, потом в ограду бухаловского дома. Там наткнулся на старика и Загваздина, громко разговаривавших. Загваздин повернулся к нему и, не здороваясь, так же громко спросил:

– Самосад есть?

Пока Быков доставал кисет, отрывал бумагу на сигарку, он продолжал:

– Что-то не съездил за другом?

– За каким? – растерялся Семен Максимович, но тут же понял, о ком речь. – Не друг он... Знакомый.

– Не друг? – ехидно осклабился Загваздин. – А как он ночью нашел именно твой дом? А?

– Да и ты тоже мой дом облюбовал.

– Я – другое дело. К кому хочешь и когда хочешь зайду.

Разговор еще продолжался, когда по переулку к воротам потянулись мужики и бабы, услышавшие новость. Все хотели узнать: привезут ли Павла Ивановича. Перебрасывались словами. Волновались.

– Поди, зря съездит, – шепнул один.

– Зато узнаем, куда человек делся, – возразил другой.

– Не напрасно! – бросив окурок под ноги и сплюнув, сказал громко Загваздин. – Там он.

– Во тьме могли и промахнуться, – все еще сомневался старик Бухалов, – а надо бы попасть.

Бабы, вошедшие в ограду, зашептались. А Загваздин возбудился:

– Пуля – дура, – заговорил он убедительно, помахивая черенком плетки. – Бывает, при стрельбе целишься, целишься – бах! Промазал... А в другой раз, стрелишь наугад – глян: попал! В гражданскую со мной такое случалось. Сколько перебил...

Старухи начали креститься, шептать молитву, а главный «бандит» продолжал, прохаживаясь перед толпой:

– Не попала пуля – его счастье. Попала – так судьбе угодно.

Этот Доронин мне «дорогу перешел», – вставил Бухалов.

– Тебе? – повернулся к нему Загваздин. – Как? Когда?

И хотя многие березовцы знали, как и когда это произошло, Яков Васильевич начал рассказывать. С выражениями, «картинками».

Дело было так. В январе этого года в Березовку в очередной раз прибыл продотряд в виде четырех санных подвод. Вместе с крепкими парнями был Павел Иванович Доронин. Ему разрешили сопровождать продотрядовцев по селам и деревням Заиртышья, чтобы те не досаждали лишний раз беднякам, а обращались к тем, у кого действительно было зерно и которых хорошо знал.

В числе таковых значился березовский Яков Васильевич Бухалов, которому вести хозяйство помогали два холостых здоровых сына. И урожай снимали богатый. Так что хлеб у него водился.

Бухалов встретил «гостей» за воротами дома с пешней в руках. Павел Иванович, которого старик наверняка принял за «наводчика», увидев его в недобром духе, первым шагнул навстречу, норовя поздороваться по рукам, завести беседу, уговорить сдать хлеб. Продотрядовцы шли сзади.

От соседей было известно, что Бухаловы прятали зерно не только под половицами амбара. Полные мешки затащили на крышу сарая и накрыли большой лодкой. Другие положили под сено в ряжу, под стог соломы за

двором, насыпали в колоду, из которой раньше поили скот, и, замуравав, поставили ее на вид.

– Опять за хлебом? – вместо приветствия громко заговорил хозяин. – Не получите! Нету! В прошлый раз все отдал! До зернышка! Повадились!

– За хлебом, Яков Васильевич, – не повышая голоса, с улыбкой сказал Доронин. – Народу хлеб нужен. Поищи получше.

Он долго уговаривал, но старик – ни в какую! У продотрядовцев терпение лопнуло:

– Давай ключ от амбара – сами поищем! Без хлеба не уедем! – Подступил к нему старший.

Не успели сделать и шага, как старик замахнулся на них пешней. Заругался.

– Ишь чего захотели? Ключ им отдай! И ключа нету! – тут он что-то достал из кармана полушубка и бросил к забору в сугроб. – Вон он!

– Замок ломаем, – зашумел продотрядовец и потянулся за пешней.

Но Павел Иванович, упросил поискать ключ в снегу, а сам продолжал уговаривать хозяина.

Ключа не нашли. Бухалова не уговорили. Старший продотрядовец вырвал пешню у хозяина, заломил ею большой кованный запор на двери, нажал и... сломил острие. Замок амбарный Доронин сломать не позволил. А старику сказал:

– Когда, Яков Васильевич, надумаешь хлеб сдать – закажи, приедем...

Но в последний день января началась эта смута. Народ восстал. С оружием в руках.

И вот сейчас Бухалов рассказывал Загваздину и его спутникам о той встрече с Дорониным, заключив:

– Повадились на дармовщину. Кто-то сеет, кто-то жнет и молотит, а они на готовенькое горазды. Хорошо хоть вы заступились.

В переулке показался всадник. Люди у ворот расступились, и он рысью въехал в ограду, проехал до предамбарника. Это был Тереха. Он ловко спрыгнул на снег. И пока отвязывал вожжи от гуза, собравшиеся окружили труп, оказавшийся на середине ограды.

Бабы снова закрестились, запричитали, узнав в мертвце Павла Ивановича Доронина. Он был облеплен снегом. Находился в сидячей позе. Руки обхватывали тулуп. Лицо пряталось в воротнике. На одной ноге не было валенка, видимо, слетел в пути. «При нем, – заметил Тереха, – оружия не было».

Загваздин, подойдя вплотную, потыкал череном плетки в шапку, в воротник. А подскочивший Бухалов несколько раз дернул тулуп, но тот не поддавался: смерзся с одеждой. Только вдвоем с Семеном Максимовичем немного оттянули его. Обнажилось бледное холодное лицо с закрытыми глазами, со струйкой крови, замерзшей на подбородке. Большое замерзшее кровавое пятно обнаружилось на шее, на груди, на косovorотке. Кисти рук не разгибались, они тонули в шерсти тулупа.

– Вот пошто сороки да вороны над ним не летали: не могли до тела добраться, – вдруг догадался Яков Васильевич. – Стало быть, в сознании умирал, мерз.

Мужики спешно закуривали, подрагивающими руками заворачивая сигарки. Бабы отошли к священнику местной Петропавловской церкви Долгорожеву, крестились, шевелили губами. Старухи плакали...

Тереха развязал вожжи, опоясывавшие грудь мертвого поверх полушубка и тулупа. Тулуп отделился от остальной одежды; его

прибрала жена Семена Максимовича, положила на предамбарник.

Загваздин, делая глубокие затяжки, нещадно дымил, наконец вышел перед толпой и, помахивая черенком плетки, громко, как перед строем солдат, заговорил, показывая на труп:

– Все знали этого человека?

Никто не ответил, каждый только покивал головой.

– Он, – продолжал Загваздин, – пошел супротив народа, против вас, против меня, против его, – указал он плеткой на Семена Максимовича и, будто засомневавшись, на секунду замолк.

– И против меня, – выкрикнул Яков Васильевич.

– А чего добился? Смерти, – оратор поправил винтовку, висевшую на плече. Бухалов пнул валенок мертвого. – С каждым, кто пойдет против народа, будет то же самое. Мы еще не до конца разбили таких. Сейчас мой отряд выступает в юрты Второвагайские, чтобы остановить красноармейцев,двигающихся на Тобольск...

После этих слов он дал сигнал рукой подчиненным, те отвязали лошадей.

– Ну, пора, – сказал он хозяину дома и скомандовал:

– По коням!

Растерявшийся Яков Васильевич подскочил к нему:

– Уезжаете?.. Нас бросаете? А мы тут как? В случае чего кто заступится за нашего брата-бедняка?

Уже ставя ногу в стремя, Загваздин зло бросил:

– Вы тут сами меж собой разбирайтесь. Вон с ним, – показал в сторону покойного Доронина. – Не бойтесь! Теперь он никого не тронет... Расступись!..

Конники покидали переулочек. Мужики и бабы, почувствовав себя свободнее без чужаков, заговорили громче, задвигались.

А Яков Васильевич, оказавшись старшим, осмелел. Идя к трупу, зачем-то схватил пешню и с силой воткнул в сугроб, плетью щелкнул так, как это делают пастухи, загоняя стадо скота, и тоже отбросил её.

Казалось, старик даже не мог спокойно смотреть на мертвого: настолько сильной была ненависть к Доронину.

После того последнего приезда Павла Ивановича с продотрядом в Березовку это была их первая встреча – встреча живого и мертвого. И у старика, видимо, наболело на душе, боль искала выхода. Он еще раз пнул валенок лежачего. Плюнул...

Бабы зароптали. Семен Максимович выступил вперед и, не повышая голоса, произнес:

– Не надо бы, Васильевич, так-то с человеком обходиться. Бог покарает. Он, Бог-то, его уже к себе принял.

Старушка высказалась:

– Хоть какой был Павел Иванович, да наш, местный, из соседней деревни, а эти, – махнула она рукой за ворота, – приезжие. Сделали свое поганое дело и упалили. Сколько еще там жизнью загубят.

К мертвому подошел и стал на колени старик Фомин, и, крестясь, заговорил:

– Прости меня, старого дурака, Павлуша. В твоей гибели есть и моя вина. Надо бы мне сторожить дорогу той ночью на посту, а я вот им, – тут он указал на стоявших рядом Иванов Быковых, потупивших взгляд. – доверил. Уж я-то, встретить тебя, отговорил бы ехать к Семену. Живой бы ты остался.

Яков Васильевич, не ожидавший столь единодушного осуждения его выходок, насутился и молчал. Мужики заговорили громче. И словно придя в себя, стараясь перекрыть гул, он резко расстегнул верхнюю пуговицу полушубка и выкрикнул:

– А хлеб свой я никому не отдал!.. И не отдам!.. Ключ-то от амбара – вот он!

Пошарил на груди и вынул большой луженый фигурный ключ, который висел рядом с маленьким нательным крестом. И заплакал. Но сразу же вытер слезы, разгладил бороду, усы, воздел кверху морщинистые, с выступающими синими жилками на обратной стороне ладоней, натруженные руки и уже негромко продолжал:

– Этот хлеб я вот ими вырастил и ими защищать буду. Шибко дорог он мне.

Люди растерянно замолчали, глядя то на возбужденного старика, то на лежащего перед ними мертвого Павла Ивановича, взявшего с собой на тот свет только старый овчинный тулуп и тоже вроде не отдававшего его никому.

Минутную тишину нарушил Иван Федотович, все это время стоявший с непокрытой головой и державший шапку в руках:

– Надо бы в Дорониной его жену известить о смерти. Извелась, поди, вся. Горюет. Гадает, куда муж делся?

Предложили отправить нарочного – одного из парней Быковых, прокарауливших Доронина: пусть, мол, искупят вину. Съездят, сообщат.

– Дак это мы мигом, – за всех ответил Иван Алексеевич. – Я и сгоняю.

А старик Фомин Якову Васильевичу с укором:

– У тебя, Васильевич, мы видели крест на груди. Стало быть, православный христианин. Знаю: в церковь ходишь, Богу молишься. Не знаю, крещеный ли он? – указал Иван Федотович на покойного. – Но, думаю, и его надо похоронить по-человечески, по-христиански. Сердечно, без злобы. Ну, «перешел» он тебе дорогу – прости.

Старушки закивали, запереговаривались. И тут раздался басовитый голос священника Долгорожева, до того тихо стоявшего в толпе:

– Он был коммунистом, значит, безбожником. И как его отпевать и хоронить? Не знаю.

– Сам Павел Иванович, – рассуждал Фомин, – уже ничего не скажет. А вот его баба – из нашего прихода, она знает.

– Мы тоже знаем, – возразил Семен Максимович. – против Господа ничего такого не сделал. Он, Васильевич, для народа старался. Зря его так ты возненавидел.

– А те, – махнул черенком плетки старик Бухалов в сторону переулка, по которому ускакали его «гости», – они за кого? Хоть власть и называет их бандитами, а это наши братья крестьяне. Заступники наши. Не дают таким, – он кивнул на мертвого Доронина, – выгребать последнее зерно из амбаров – дорогой наш хлеб. Из-за этого хлеба вся смута и началась.

Иван Федотович покивал головой, соглашаясь со стариком и произнес:

– Да, дорог нынче хлебушка, шибко дорог. Дороже только жизнь. Чья бы она ни была...

– А мы, – продолжил Семен Максимович, – и жизнью-то, можно сказать, не шибко дорожим. Порой за бесценое ее у человека отнимаем.

Он тоже кивнул на Павла Ивановича и добавил:

– Вот у него, к примеру.

Яков Васильевич хотел что-то возразить, но только спрятал свой на- тельный крестик, застегнув на верхнюю пуговицу полушубок.

Иван Федотович проследил, как он это сделал и заметил:

– Простит не простит Господь нас за все наши грехи, а мы должны простить друг друга. Иначе как будем дальше жить?

Он помолчал, обвел взглядом стоявших полукругом селян – старых и молодых, мужчин и женщин. Никто не хотел ничего сказать. И про- должал:

– Вот закончится эта заваруха, разъедутся по деревням и селам те, кто в живых останется, и как все мы будем глядеть в глаза друг друга, еще вчера воевавшие между собой, каждый за свою правду? Кому-то придет- ся жить на одной улице, в соседях. Как тут работать на одной земле? А работать придется, хватит воевать да убивать людей.

Давно в Березовке не было такого схода, давно не слышали таких про- стых и проникновенных речей жители села.

А между тем старый и мудрый Фомин говорил о том, что нужно будет не просто трудиться, а выращивать хлеб, которого пока не всем хватает. А будь излишки – никто ни на кого не поднял бы руки из-за него, и уж, конечно, не стрелял. А то, гляди-ка, вся губерния на дыбы встала. А за что? За хлеб!

Иван Федотович поклонился покойному, надел шапку, давая понять остальным, что можно расходиться. И березовцы, кто причитая, кто молча перекрестившись, пошли к воротам.

– А его, – дотронулся Бухалов носком своего валенка ноги покойни- ка, – куда?

Казалось, даже после таких рассуждений он не мог равнодушно смо- треть на мертвого Доронина.

– Погоди, – успокоил Якова Васильевича Быков, – сейчас парни увезут и отдадут семье.

Сам Семен Максимович, оставшись один на один с мертвым, со слезами на глазах промолвил:

– Это я предал тебя, Павел Иванович, в ту ночь. Кто знал, что дело кон- чится смертью? А оно, ишь, как повернулось... Не знаю, простишь ли?..

Теплое мартовское солнце ярко осветило затихшую Березовку, окрест- ные поля, неизвестную речку Кучумовку и лесок за ней, так и не спасший от пули-дуры всего-то одного человека в том тревожном 1921 году.

Через пару дней, в последний день марта, до Берёзовки дошла весть: силы восставших были разбиты под Второвагаем. Путь тобольско-тарско- му отряду красноармейцев и ополченцев на город Тобольск был открыт. Но в жестоком бою погиб комиссар отряда Александр Васильевич Семаков. Остался ли жив Парфён Загваздин – берёзовцы так и не узнали.

1967 г., 2015 г.

От автора

Этот рассказ был написан в 1967 году по воспоминаниям одного из живых участников события – Ивана Алексеевича Быкова, стоявшего в карауле. В том же году газетный вариант рассказа под названием «Жертва бессильной злобы» опубликован в «Сельском труженике». Место действия, имена, фамилии персонажей, названия населенных пунктов, даты – настоящие.

* * *

Я не чувствую лжи, как последний дурак, ухожу далеко в заржавевших
цепях.

А вокруг ни души, золотая орда растащила тела за долги впопыхах.
И мне кажется враг – это вовсе не враг, а скорее дурак или друг накрайняк.

Так я прусь через лес, где дубы-колдуны будоражат мою подноготную суть.
Так я прусь по полям, где цветет конопля и кудрявая рожь на гектар
с полмешка.

Так я прусь наугад по местам, где солдат удобрял чернозем благородной
душой.

Мой поход в слепоту одержим на свету, а в ночи все равно, что за тело в седле.
Что живой и мертвец, а кругом западня – это знал я еще до рожденья себя.
Но исход впереди, там под левым соском, за темницей сырой, у кровавой
снохи,

Позапрошлой судьбы, у которой забыл я частично свой дух – и страдаю
теперь.

* * *

Я все жду ту черту, когда небо сомкнется с землей,
И тогда я пойду, и тебя поведу за собою.
Мы пойдем сквозь цветы, облака раздвигая руками.
Воплотятся мечты, но в мечтах не окажется рая.
И тогда я пойму, что теперь наше сердце не вправе
Предаваться мечтам, растворяясь в житейской отраве.
Ты сама ощутишь эту правду в мерцании света,
И звездою взлетишь, а я стану ближайшей планетой.

* * *

Когда разрушатся притоны страстей, ты будешь млад и сед.	Когда на высохшей ладони кривых путей порвется связь,
Исчезнут мелочные стоны всех тех, кто не пошел на свет.	Тогда войдешь, как на иконе, в чужую дверь, себя стыдясь.

* * *

И вдруг выхватываешь ты
в сиюминутности порыва
единства вечные черты
и отступаешь торопливо
в припоминание себя.
Здесь время ускоряет шаг,
чтобы смотреть себе в затылок,
а образ превосходит знак,
чтобы не стать, как жизнь, постылым.
И каждый дышит здесь тобой,
себя украдкой вспоминая,
и каждый помнит путь домой,
а дом стоит в начале рая.

Роберт ЯГАФАРОВ

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЕВРЕЙ

Первым, с кем я познакомился, когда мы с женой купили себе здесь дачу, был Марк Петрович, наш пожилой сосед напротив. Фамилия его была Кац, и внешность для такой характерной фамилии он имел тоже типично еврейскую, за исключением того, что был неестественно смугл и чёрен лицом. Он где-то работал сутки через трое, а всё остальное время обычно стоял в своих воротах, беседуя с проходившими мимо дачниками.

В конце улицы был коттедж нашего председателя, к которому всегда подтягивался местный народ, так что собеседников у него было предостаточно. В случае же долгого их отсутствия Кац осторожно подходил к нашему забору и вежливо начинал обсуждать со мной самые разнообразные вопросы.

Разговаривать с ним мне нравилось, так как было сразу заметно, что человек он интеллигентный и неплохо образованный. На любую тему изъяснялся красноречиво, часто находил похожие исторические примеры, приводил цитаты из классиков и легко вворачивал какие-то иностранные словечки.

Поэтому позже, когда я узнал, что трудится он всю жизнь простым кочегаром в котельной на местной валяльной фабрике, был несколько удивлён. Впервые я видел еврея-кочегара, да ещё такого эрудированного. Мне всегда казалось, что они выбирают себе совершенно другие профессии.

И вот как-то вечером, когда мы с ним сидели и чаёвничали в моей беседке, я не выдержал и спросил, почему он выбрал такое довольно нетрадиционное для их нации ремесло.

– Для нации... – печально вздохнул Кац в ответ, – таки Вы знаете, ведь я же на самом деле и не Марк совсем, а Марко, есть такое цыганское имя.

– В смысле, – удивился я, – Вы цыган что ли?

Он помотал головой и подлил себе чаю.

– Видите ли, Николай, – сказал он, отпив глоток и чуть помолчав, – моя национальность – мечта фашиста: отец у меня цыган, а мать еврейка. Такой вот, несколько небанальный марьяж. Браком такие отношения заканчиваются исключительно редко, но мама была влюблена... – он вздохнул и начал рассказывать.

Так я узнал, что его отец был гитаристом в гастролировавшем цыганском театре. Подарив отпрыску жизнь и чернявую внешность, он вскоре скрылся со своим театром в неизвестном направлении, а воспитывал Марка уже русский отчим, Пётр Андреевич, с кем позже сошлась его мать. К приёмному сыну отчим относился хорошо, хотя тут же окрестил и всячески пытался воспитывать в рабочих традициях, часто беря с собою на местную валяльную фабрику, где сам он работал техником.

Мать, Белла Давидовна, напротив, постаралась дать сыну хорошее домашнее образование и даже заставила поступить в университет, откуда его, впрочем, отчислили с четвёртого курса. Отчим этому отчислению даже обрадовался и вскоре устроил его к себе на фабрику, где Кац до сих пор и трудился.

Видимо, в результате такого особенного антропологического смешения и разнополярного воспитания Кац и жил в системе парадоксов. Обычно он был всегда учтивый и любезный, но лишь стоило ему выпить, как поведение его кардинально менялось.

Первый раз, когда я, приехав вечером с работы, столкнулся с такой его особенностью, я весьма удивился. Марк Петрович стоял, пьяно облокотившись на свои ворота и держа в руке початую бутылку «Журавлей».

– О, Колян! А я тебя жду... выпить вот не с кем... попрытались все от меня, мыши....

Пришлось пригласить его в беседку и принести закуску и пару стаканов.

– Во... – довольно оглядел он стол, – это уже другая сторона лопаты...

– Мне чуть-чуть... а что за праздник у Вас сегодня?

– Праздник? Да просто гуляю, чё.... дали, вот, аванец, могу себе позволить.... вчера угля на две смены накубатурил, – он достал из кармана пачку «Золотой Явы».

– Так вы курите что ли, Марк Петрович?

– А таки, когда выпью... имею право, – он прикурил сигарету, затаился и разлил нам водки.

– Ну, давай, Колёк, за уголёк. И давай на ты, хрена ли ты мне вечно выкаешь-то?

Самое интересное, что когда я на следующий вечер обратился к нему на ты, он вздрогнул и, виновато потоптавшись какое-то время у своих ворот, снова подошёл ко мне.

– Вы таки уж простите меня, Николай – я понимаю, соседи.... Но давайте всё же на Вы.... А то как-то совсем уж неинтеллигентно получается.

Со временем я стал замечать, что все эти его перевоплощения имеют определённую закономерность. Как правило, выпив первую рюмку, Кац быстро хмелел и приходил ко мне жаловаться на общую несправедливость окружающего нас мира.

– Вы заметили, Николай? – тихо, но возмущенно шептал он мне через забор. – Председатель наш добермана своего говядиной кормит, сам вчера видел! Какая низость! А как дорожку щебнем подсыпать, так с нас по триста рублей собирали, и где тот щебень? Где, простите? Нет, надо точно уезжать из этой страны, вот, честное слово, подкоплю ещё денег и точно решусь.

Поворчав так ещё немного, он возвращался к себе, выпивал вторую рюмку, и вскоре снова появлялся у меня. К этому времени выражение цыганской удали и бесшабашности оживляло его лицо, положительно отличая его от еврея.

– Скучно мы живём, Коля, – сходу заявлял он мне, – так и проживём с тобой, каждый на своей стороне улицы.... А мир-то, он на самом деле знаешь, какой огромный?

Потом он снова отправлялся к себе и, видимо, отдавая дань памяти папе-музыканту, брал в руки гитару. После чего некоторое время с его стороны доносились какие-то томные романсы, время от времени переходящие в задорные и плясовые цыганские мелодии.

А чуть позже, после употребления им ещё одной порции спиртного, на смену им приходила его любимая «Раскинулось море широко».

– Проститься с товарищем утром пришли, матросы, друзья кочегара, – выводил он трагическим голосом, начиная неожиданно чётко выговаривать букву «р».

Собственно говоря, это и был знак к началу последней трансформации, потому как вскоре Кац уже появлялся у моего забора с какой-нибудь газетой в руках. К тому времени он был уже полностью русским.

– Ты, бля, видал, Колян, что эти еврюги опять надумали? – тыкал он в газету пальцем. – Чемодан свой, суки, луивитошный на Красной площади поставили, прям напротив Василия Блаженного. Как только совести хватило?!

– А вам-то что с того чемодана, – не понял я. – Это ж просто реклама.

– Дда как! – он даже поперхнулся. – Так чемодан этот ихний – копия храма царя Соломона ерусалимского! В точности повторяет все его пропорции! Нет, ну это беспредел какой-то!

– Ну, храм, ну и что? По мне, так пусть хоть в чемодане молятся.

– А я тебе вот что скажу, – отчеканивал он в ответ. – Это мы с тобой в церковь молиться ходим... А у них в синагогах планёрки! Соберутся и думают, как русскому человеку навредить... православному... – он оглядывался и, за неимением чего-то более подходящего, крестился на флюгер председателя.

Все остальные соседи к таким его превращениям, по всей видимости, давно привыкли, переставая с ним общаться уже на цыганской стадии, поэтому весь остаток вечера он проводил возле нашего участка, кляня козни масонов-олигархов, прочую мировую закулису и вновь появляясь наутро милым и интеллигентным человеком.

До самой осени я наблюдал такие его превращения, приходившиеся, как я понял, на дни выдачи аванса и полочки. Потом наш дачный сезон закончился, и до весны мы туда больше не ездили. Зимой я время от времени вспоминал его, размышляя о том, что на самом деле больше влияет на формирование человека? Национальность, среда, воспитание?

К сожалению, самого Каца с той осени, я больше не видел. Когда на майские мы впервые приехали к себе на дачу, то на его участке уже копалась пара пожилых пенсионеров.

Позже председатель мне рассказывал, что Марк Петрович хотел переехать на пенсию в израильскую Хайфу, для чего давно копил деньги, пряча их в старых валенках на антресолях. И как-то поздней осенью, когда похолодало, и по дачам шныряли полуодетые цыганские ребятишки, он, находясь, по всей видимости, в одном из своих пьяных обличей, сжалился и вручил самому старшему из них те самые старые валенки, напроць забыв о хранившихся в них накоплениях на своё запланированное еврейское будущее.

Обнаружив с утра пропажу, он не выдержал, запил в чёрную, потом уволился с фабрики и, продав дачу, уехал из нашего города. И где он сейчас живёт и чем занимается, никому уже неизвестно.

СВАДЬБА В РУСТИКАЛЬНОМ СТИЛЕ

Глупая история на этой неделе приключилась...

Сажу я в офисе, что-то себе монитрю, как в дверь постучали, и вошла девушка. Лет двадцати пяти, не больше, длинные русые волосы, миловидная.

– Здравствуйте, а мешковина у вас здесь продаётся?

Мешковина – это ткань такая упаковочная, как мешки из-под картошки. Мы ею торгуем, хотя и продаётся всё у нас со склада в пригороде. Но некоторые продвинутые покупатели время от времени умудряются где-то нарыть наш юридический адрес, периодически появляясь в офисе. Очевидно, это была одна из таких.

Последовал стандартный для таких случаев диалог:

– Продаётся, девушка, но на складе и оптом, минимум рулон сто метров.

– А если мне всего метров десять нужно?

– Тогда не к нам, поищите, где на метры продают.

– Так я уже всё объездила, нигде нету... – она вздохнула. – Может, всё же продадите, мне очень-очень надо?

Не знаю, почему я ей не отказал, обычно мы эти рулоны вообще не режем. Возможно, потому что разговаривала она, в отличие от подобных посетителей, как-то вежливо. Но вероятнее всего, она мне просто понравилась. Такой, знаете ли, приятный тип девушек, без этой модной сейчас стервозности, что большинство лет с пятнадцати уже демонстрирует. Как-то очень скромно, но со вкусом одетая, во что, правда, не помню. Бывает так, когда у людей есть вкус, тогда сразу и не вспомнишь, как они одеты. В чём-то вроде сером, что шло к её голубым глазам.

– Ладно, – говорю, – вот вам сотовый, если не найдёте нигде, звоните завтра часиков в одиннадцать, я до обеда сам на складе буду, что-нибудь, возможно, и придумаем.

Она обрадовалась, записала номер и ушла.

На следующий день в обычной рабочей суматохе я про неё и забыл, но ровно в одиннадцать она позвонила.

– Ну, давайте, – говорю, – до обеда успевайте, я здесь.

Объяснил ей, где склад, и где-то через полчаса она и подъехала на мазде-матрёшке. За рулём был какой-то паренёк, но лица я не разобрал, мешали шторки, которые зачем-то сейчас на передние стёкла ставят. Причём он почему-то сперва промчался мимо, затем изобразил что-то похожее на спортивный разворот и вновь пролетел мимо склада, остановившись метрах в десяти от дверей. Я этой клоунаде и не удивился, сейчас многие по-простому ездить не могут, выделываются на ровном месте.

Девушка вышла, а он так и остался сидеть в машине, прибавив музыку.

Мы с ней прошли на склад, и я, расстелив рулон и опустившись на корточки, начал отмерять мешковину. Ползать с нашим складным метром было довольно неудобно, и я, чтобы заполнить паузу, поинтересовался:

– А куда Вы её используете-то?

– На декорации к свадьбе, – она помолчала и вздохнула, – свадьбу нам дизайнер в рустикальном стиле делает, это как бы в деревенском. Мешковиной стол застелет, а на ней еда в глиняной посуде. Ещё ложки будут деревянные и букеты с пшеницей.

– Так это у Вас у самой свадьба? – я даже удивился, – а что ж Вы так печально-то, неужели замуж не хотите?

– Замуж-то надо, – она чуть улыбнулась, – да и пора уже, наверное.

– А может, – решил я слегка пошутить, – у вас это неравный брак? Помните, как на картине в Третьяковке?

– Ну, да, – она снова еле улыбнулась, – наверное, да, неравный, они богатые. Они и дизайнершу эту наняли. Та говорит, что главное – это в кантри не скатиться, рустикальный и кантри – это разные стили. Кантри грубый, брутальный, а рустикальный хоть и провинциальный, но изысканный.

Её последние слова прозвучали как-то глухо, заставив меня поднять голову.

Девушка плакала. По её лицу медленно катились крупные прозрачные слёзы, чётко одна за другой, словно срабатывал какой-то беззвучный таймер.

Этого мне ещё здесь не хватало. Я поднялся, достал носовой платок и протянул ей вытереть слёзы. Нужно было что-то сказать, но что говорить в такой ситуации, было абсолютно непонятно.

– Да не волнуйтесь, – попытался я как-то её успокоить, – всё наладится, это у Вас просто перед свадьбой, все в это время нервничают, период такой. Ведь не силком же вас замуж ведут?

– Нас с мамой из пансионата выселяют, – она негромко всхлипнула и вытерла глаза, – отец умер, не успели на заводе переоформить. Мама у меня уже полгода не встаёт, болеет.

«Мазда» трижды нетерпеливо просигналила.

– Надо ехать, насчёт машин договариваться, – она будто немного успокоилась и вернула мне платок. – Он хочет, чтобы лимузин нас вез чёрный, а за ним два джипа по бокам. И чтоб никого сзади не пускать, как у принца было на свадьбе в Англии.

Представив себе принца Гарри, не пускающего толпу автомобилей по главным улицам Лондона, я не выдержал и улыбнулся. Она заметила и тоже чуть улыбнулась, но как-то всё же грустно.

– Простите меня, пожалуйста, сама не знаю, что со мной, – она достала кошелек и протянула мне деньги.

Взяв деньги, я перемотал отрезанный кусок ткани скотчем и протянул ей свёрток.

– Спасибо Вам, – она неожиданно придвинулась и поцеловала меня в щёку. На секунду я даже ощутил, как вкусно пахнут её волосы. Снаружи её жених снова прогудел что-то спартаковское и пару раз газанул вхолостую.

Мы пошли к выходу, где она, забрав сдачу, попрощалась и направилась к машине.

И они уехали. Уехали навстречу своей будущей рустикальной свадьбе, увозя с собою десяток метров нашей, как выяснилось, изысканной мешковины, а я остался стоять у дверей склада.

Было странное ощущение некой, как бы это сказать, неправильности, что ли. И почему-то захотелось курить, хотя и бросил давным-давно. И что вроде мне до этой свадьбы в рустикальном стиле? Не моё же дело.

Но почему-то жалко стало девчонку...

ВЕРТОЛЁТИК

Каждое воскресенье Вовка обычно сидел на подоконнике и ждал папу. Смысла в этом особого не было, потому что папа приходил раз в две или даже три недели, хотя и жил где-то неподалеку. Просто у папы была новая семья, и он жил сейчас с ней. Вовка это понимал, но все равно ждал.

Мама у Вовки жила еще дальше, «на облаке», как говорила бабушка. С этого облака мама, по ее словам, каждый день смотрела на Вовку, знала все, что он делает, и он старался вести себя хорошо.

Папа же последнее время заходил все реже и даже уже не предупреждал бабушку, что не сможет прийти.

Когда началась зима, Вовка перестал залазить на подоконник, потому что заболел и теперь целыми днями лежал в постели и смотрел мультфильмы, которые включала ему бабушка. Мультфильмов было немного, и вскоре Вовка уже все знал наизусть. Его любимый был про смелый красный вертолётчик, что вместе с весёлыми тучками дружно носился по ярко-голубому небу. «Если бы у меня был такой, – думал Вовка, – я бы мог сам запустить его в небо, поближе к маме. Может, тогда она со своего облака увидит мой вертолётчик и захочет вернуться жить к ним обратно».

Бабушка очень боялась, что у Вовки будет та же болезнь, что у его мамы, и накупила ему много лекарств, которые, как она говорила, стоят кучу денег. Она даже продала старинные часы и картину из своей комнаты, потом из квартиры исчезло лакированное мамино пианино, но денег все равно не хватало.

Из-за денег она и позвонила папе, чего раньше сама никогда не делала. Вовка тогда не спал и слышал, как бабушка сердито говорила папе про деньги.

– У тебя совесть есть, что мне твои алименты... ты знаешь, сколько лекарства стоят? – она старалась говорить тихо, – твой же сын болеет.

Когда она раздраженно положила трубку и вышла на кухню, Вовка осторожно встал, взял в руки телефон и, решившись, нажал на кнопку повтора, как это иногда делала бабушка.

– Алло, – раздался в трубке звучный женский голос, – чего молчите-то?

– Мне папу... – набравшись храбрости, сказал Вовка.

Женщина помолчала, потом вздохнула и крикнула кому-то:

– Иди... там твой довесок, по-моему...

– Да, – прозвучал в телефоне папин голос, – кто это?

– Это я, папа, – сказал Вовка...

– Вовка... – папа чуть замаялся, – ты понимаешь, Вовка, я все по командировкам, по командировкам, но я зайду, точно зайду.

– Папа... – прошептал Вовка, – не надо лекарства, купи мне лучше вертолётчик... красный...

– Куплю, – облегчённо выдохнул папа, – вот куплю и зайду, подарю тебе обязательно...

В комнату зашла бабушка, и Вовка спешно положил трубку на место. Заметив это, бабушка ничего не сказала и лишь покачала головой.

Всю зиму Вовка прождал обещанный подарок, но папа все не шел и не шел. Вовка очень расстраивался, что мама все никак еще не видит его вертолётчик, но на папу не обижался, наверное, тот опять был в командировке.

Проболел Вовка всю зиму, и лишь в апреле бабушка взяла его с собой прогуляться в парк возле их дома. И там, когда они шли по аллее, окруженной уже зеленеющими деревьями, Вовка вдруг увидел папу, что шёл им навстречу.

Рядом с папой шла высокая, красивая женщина с тонкими, но какими-то злыми чертами лица. Она вела за руку кудрявого упитанного мальчика, одетого в новенькую голубую куртку с вышитым жёлтым якорем, наверное, Вовкиного ровесника, который держал в руках большой ярко-красный игрушечный вертолёт.

– Папа! – кинулся Вовка, но бабушка удержала его за руку.

– О, Вовка... – остановился папа, и глаза его тревожно забегали, – ты как, выздоровел? А я все зайти к тебе хочу, да вот как-то не получается...

Женщина потянула за рукав, и папа начал говорить быстро:

– Ты, это... ты давай, держись, брат, я зайду... зайду обязательно...

Женщина с мальчиком двинулись дальше, и папа, махнув Вовке рукой, тоже прошел мимо, неловко отвернувшись от них с бабушкой.

Всё это время бабушка молчала, гордо поджав губы, и только когда они были уже довольно далеко, коротко и возмущенно бросила:

– Сволочь!

А Вовка не возмущался, он совсем не обижался на папу. Он шёл рядом, лишь изредка оглядывался назад, и недоумённо распахнув глаза, удивлённо повторял время от времени:

– Бабушка, у него вертолётик, слышишь... вертолётик, бабушка...

Владимир ФЕДОРЕНКО

Я был хорошим мужем и отцом *Думы у тюремного окна...*

Уютно потрескивали зажжённые фитильки лампадок в деревянной часоуенке. Их треск был до того приятным для слуха собравшихся прихожан, что многие уже и не мыслили видеть эти сложенные из отёсанных гладких брёвен стены без их своеобразного звучания. Казалось, они исполняли прекрасную симфонию многовековой христианской веры. И эта симфония приятно разливалась в паузах воскресной беседы отца Николая. В воскресные дни он посещал осуждённых колонии строгого режима, пытаясь спасти их грешные души.

В те дни, когда батюшка назначал чаепитие, волнение улечувчалось вместе с сизым парком от душистого крепкого чая, который с удовольствием выпивался мужчинами в чёрной робе вприкуску с вкусными конфетами, принесёнными батюшкой. В процессе чаепития протекала неторопливая беседа о христианстве. Вернее сказать, – монолог о. Николая в рамках христианской проповеди об истинной вере и праведной жизни христиан. Лишь время от времени прихожане позволяли себе на короткое время включить в беседу или задать наболевший вопрос.

Батюшка очень радовался, когда видел новые лица в нашей деревянной часоуенке. Ведь их приход был неким невидимым символом очередной победы над злом.

Уютность обстановки особым образом поддерживал некий симбиоз между множественной позолотой духовных книг и лакированных, различных цветовых гамм, рамок и «рамищ» икон с живущими в них под стёклами ликами святых. Эта обстановка, сотканная заботливыми и очень талантливыми руками самих осуждённых, усиливала волшебную музыку огня.

Всё наполнилось каким-то глубоким смыслом: каждое свободное пространство, хоть и не столь великое, из-за маленькой площади часоуенки, которое существовало между сидящими на откидных лавках мужчинами. Всё заволоклось особым осмыслением, имеющим своеобразный запах – запах ладана.

Как тяжело ступать к покаянию! Господи! Дай силы и смелость! Освободи от ненужных сомнений! Оказывается, так тяжёл язык для разговора о правде. Самокритично оглянувшись на себя, на пройденный путь, сказать самому себе в первую очередь: «Господи, сколько же я натворил!».

Речь отца Николая текла ровно: «А старший сын возмутился: «Отец! Он промотал всё состояние, которое ты ему оставил по наследству! А ты ему тельца на встречу заколол. А мне козла жалел на праздник. Я же был хорошим сыном, жил рядышком! А ты рад больше этому непутёвому и заблудшему сыну. Простил ему всё. Принял и одел в новые одежды!»». Шла неделя о «блудном сыне».

Мужчины со вниманием слушали.

– Мы, братья, должны понять, что здесь мы гости. И не надо цепляться за какие-то вещи, за достаток! Квартиры? С собой не унесёшь. Пришли голенькие, голые и уйдём в землю! Лишь только память! Добрая ли или плохая, лишь она останется после нас. Благодарность ли детей и близких, либо проклятия за беды и несчастья! Всё остальное – тщетно! Временно! И не главное!» – задумчиво произнёс в свою бороду отец Николай, заглядев-

пись на рубиновый цвет чая, поданный старостой. Этот приятный цвет в стеклянной кружке растворял в себе падающий с окошек дневной свет, словно добавленные сливки, шипя сиреневым парком, и тут же разливался красно-коричневыми от заварки бликами, повисшими в отражении на стёклах очков духовника.

– Душевное благополучие – вот что для них, для братьев, главное! Любовь к Богу! Любовь к близким! Светлая о себе память и светлые дела, что поднимут на суде Божиим в Царство Небесное! И слава Богу! – думал батюшка. – Все люди взрослые и поняли! Раскаялись. Дошло. Господи, прости их, грешных!

– Вот у меня вопрос, батюшка! – раздалось в уютной атмосфере часовни. Серые выцветшие глаза мужчины в упор смотрели на умиротворённого обстановкой понимания батюшку. Убелённые сединой коротко стриженные волосы говорили о его зрелом возрасте. Том возрасте, когда человек уже достаточно познал жизнь, Наверное, вырастил детей, задумался о старости, о душе... И раз находился на скамейке в часовенке, слушая проповедь батюшки в этот воскресный день, значит, думал о Боге. Следовательно, о любви к ближнему и, Наверное, об истинном раскаянии в делах грешных, содеянных на своём жизненном пути.

– Вот я хочу на свою взрослую дочь и жену в суд подать! – произнёс мужчина. – Я с женой 28 лет прожил, а сейчас она подала на развод, и они вместе с дочкой меня из моей квартиры выгоняют! Это они меня посадили. Я дал им всё: достаток, квартиру; дочку воспитал. Я был хороший муж и отец! Правда, на пару лет уходил к другой и выпивал! Но я был хороший муж и отец! Строго воспитывал. Но я был хороший отец! – не унимался мужчина.

С лица батюшки после такого монолога о несправедливости быстренько стало исчезать умиротворение. Он даже усомнился в услышанном. Ему сначала показалось, что мужчина в эдакой интерпретации с юморком занимается самокритикой. До того было парадоксально слышать это всё после полуторачасовой беседы о доброте, о покаянии, о прощении...

– Господи! – подумал про себя священник. – Это надо же! Взрослый человек, седой совсем; жизнь прожил, а понятий о жизни никаких не приобрёл.

На лице батюшки отразилась душевная боль за этого человека. А мужчина не унимался: «Я дал им всё! Они жили в достатке. Ну, приходил пьяным. А что, имею ведь право! На свои же – не грех после трудового дня выпить. Не знаю, почему жена была недовольна».

– Может, причина Ваших неудач в Вас? – тихим голосом спросил священник.

– Нет, я был хороший муж. Деньги нёс домой. Дочка у меня умница. Я её воспитал, образование дал! Ну, правда, когда выпивал, уходил к другой женщине! Но я был хороший муж и отец. А дочка денег мне теперь не даёт. А обязана! Ведь я был хороший отец. Я правильно её воспитывал. А она меня видеть не хочет! Я на неё в суд подаю, своё заберу! Я был хороший отец...

«Хр, хр, хр», – хрустел снежком, медленно уходя из часовни, священник. Чаепитие и беседа закончились. Мягкий снежок игриво и задиристо ложился на бороду отца Николая, но батюшка его не замечал. В его голове как перетянутая струна звучали слова того прихожанина: «Я был хороший отец!».

– Господи! Прости нас, грешных! – молился про себя священник, с грустью думая о седом человеке, покидая осуждённых колонии строгого режима до следующих выходных. – Господи, прости!

г. Тюмень

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Михаил ФЕДОСЕЕНКОВ

ДЕРЗНОВЕННОСТЬ НОВИЗНЫ И ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИИ

Друзья, поздравляю, у нас появился поэт! И естественно, он лирик-философ. В основном. А кого же ещё может породить наша архисуровая и архипротиворечивая эпоха?!

Конечно же как человек, обычный землянин, он уже давно появился здесь, родившись ещё в 1974 году. Но выход в сентябре 2016 года его первого сборника «Буфет на полустанке» открывает нам во всей гипнотической и масштабной мощи строк настоящего художника слова – Даниила Сизова! Аж сам невольно в рифму заговорил... Порадуемся же и почитаем:

*На живую нитку шитые
Пораскинулись кварталы,
Мостовыми перевитые
По случайному лекалу.*

*Слуховых окошек мороки
Выпускают птиц на волю,
Схватит ветер крепко под руки
И толкает в чисто поле...*

Свежо, интересно. Так начинается первая вещь книжки. Автор сразу же нас интригует... Тут замелькали и отдалённые отсверки питерской акмеистской школы – что-то есть в просторечном «на живую нитку шитые» подчеркнуто бессимволичное и «сверхреальное» (на мой субъективный взгляд, конечно) от Мандельштама, Ахматовой; рядом же нечто брезжится от метаметафористов конца XX века – например, от Ерёменко с его лекалами и леммами, что-то ландшафтно-конструктивистское от Парщикова, может быть... Но тут же! так сполоховидно, да по-былинному напевно, звучит и седой русский фолк – в словах-знамениях вечности – «пораскинулись», «перевитые» «мороки», «на волю», «под руки», «чисто поле», – как, право, занятно и замечательно у него, автора, здесь всё это соединилось...

В поисках своего стиля, собственного поэтического языка, а таковые явственно обнаруживаются у Сизова, он и потратил, очевидно, немало лет перед выходом данной, не слишком объёмной, прямо скажем, книги – всего-то 56 страниц... Однако ж как тут не вспомнить Фета? –

*Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей.*

Но путь к этой книжке, похоже, был не очень прямолинеен. И даже совсем – судя то по наивному, то по парадоксальному мышлению лирического героя – не линеен. Что и подтверждается, на мой взгляд, и продолжением первого стихотворения, где происходит снижение штиля до «местополо-

женья булочной», и – следующим фрагментом стихотворения «Мальчик с факелом, вычерти карту...»:

...Полный хаос – начало пути.

*Будто росчерки у первоклашек,
Первых букв элементы письма
Шаг за шагом проявят пейзажик
И опишут подробно весьма.*

*Здесь и мне суждено оказаться
Через двести четырнадцать лет...*

Хотя в разные годы, начиная с 1998-го, у Сизова были отдельные публикации и в Екатеринбурге – в коллективном сборнике «Очертание основ», и в Санкт-Петербурге – в журнале «Звезда», и в местной прессе, в местном самиздате, Интернете, не считая массы встреч со слушателями на всевозможных творческих вечерах, тусовках, квартирниках как в Тюмени, так и в других городах, – но цельного впечатления его творчество как-то всё-таки не производило...

И вдруг – выстрел! Прямо, что называется, в яблочко. Во всяком случае, именно так мне видится это событие.

*На платанах заветно-памятных
Жилки листьев, как письма –
Твёрже древних табличек каменных,
Глубже моря, сильнее зерна.*

*Так вот схимник, в гробу ночующий,
Исполняет свой рок-н-ролл
Стуком сердца, даров взыскующий –
Он хотя бы себя обрёл...*

Поиск. Опять поиск – и стиля, и смысла жизни. Всё волнообразно – взлёты и падения. Находки и промахи... Да, это стихи не легковесные, но отягощённые сверхзадачей обретения высшего смысла бытия. Через творчество, естественно. Через вызов прежде всего самому себе, через преодоление собственного несовершенства...

Почему в его новаторском раже, в азарте здесь так дерзновенно и соединилось, казалось бы, несоединимое: схимник и рок-н-ролл, культурные – очевидно питерские – от «цветущей силы» акме, опять же, – платаны и их очеловеченные «заветно-памятные» письма с дикой стихией моря и природной мощью зерна. Интонация классического стиха с интонацией рок-текстовки... Читающий да задумается. А понимающий да не осудит, не захлопнет книжку в сердцах, но, напротив, по прочтении возблагодарит автора за доставленное удовольствие «и уму, и сердцу»!

Смею предположить, что до поры не многие по достоинству оценят поэзию Даниила Сизова. Наверняка одни скажут, что это слишком чуждо, наткнувшись, к примеру, на строчку «Там – укулеле звуки, там – жалейки» (укулеле – маленькая мексиканская гитарка. *Примеч. М. Ф.*), и как-то уж больно оторвано от простой жизни; другие, обнаружив упоми-

вание «дома Ашеро́в», Монмартра, стихов Бродского, героев и романов Набокова, отреагируют – чересчур книжно; третьи, прочтя цитату из Цоя «Мы ждём перемен!» – найдут здесь отсыл к молодёжной субкультуре и не более того; четвёртые, возможно, скажут, что здесь всё урбанистически мертво и мрачно, не хватает солнышка, ромашек, берёзок; пятые – не разобравшись – мол, вот опять какой-то тут нарезанный и сплошь скомпилированный постмодерн, какие-то излишние и непонятные изыски на нашу голову! Иные же – из некоторых недалёких, поверхностных патриотов – воскликнут, мол, а где ж тут про Родину-мать, про наше-де кондовое православие?! – не патриотично, мол, как-то тут оно всё, эвона!

С тихой грустью и иронией, коими так или иначе проникнуты почти все стихи сборника, очевидно, осознаёт это вероятное отторжение и сам автор... Но не боится творить для немногих, таких, как он сам, последних романтиков-изгоев в мрачной пустыне одичания на фоне культивируемого потребительского инстинкта и чуть ли не богооправданного иными праведниками от мамы самого что ни на есть людоедского чистогана! Да старой, в придачу, совковой заидеологизированности на новый лад – псевдоправославной и псевдопатриотической...

На деле же, в лучших своих проявлениях, здесь, в этой честной как на духу книге, во всерастворённости авторского Я, в слиянности его со всем окружающим – и с прошлым, и с настоящим, и с будущим – открывается непрерывная, цельная лирическая гармония! Подпитанная невероятно мощной вселенской энергией вдохновения.

А в её лоне улавливается всё – и любовь к «монастырским голубям», «удивлённым» (!) почему-то, и к «Измусоленных крыш вереницам, Как листам из любимейших книг...»! И присутствие, даже всеприсутствие высших сил здесь тоже без сомнения чувствуется... Иначе бы и книги этой не существовало!

И сам автор всё это прекрасно осознаёт. Потому-то, оставляя это как бы между строк, глубоко лелея в сердце своём, и не кричит, не трещит о своих Любви и Вере показно, всуе, не затирая это в труху, в пыль ради каких-то сиюминутных выгод, красного словца ли, как подобное совершают многие, увы, теперь...

Осознаёт наравне с тем он и свою отдельность, камерность, так сказать, в литературной и общественной среде. Но печаль и печать несёт свои достойно. Недаром же издревле ведётся, что во многих знаниях премного печали. И печалования за век свой, ближних и дальних своих.

Отсюда и подчёркнуто непрезентабельное название его первой книги, вызывающее неслучайную ассоциацию с «Альтистом Даниловым» Вл. Орлова, романом-фантасмагорией о гениальном музыканте и творчестве, напечатанном в «Новом мире» в начале восьмидесятых. Где герои любили порой уединяться в затрапезных привокзальных закусокных, буфетах... Заметим, вдобавок к прочему, что Даниил и «Данилов» тоже не так уж далеке отстоят друг от друга.

Я бы сказал, у Сизова очень концептуальное название книги! И концептуальное же оформление её обложки. С изображением замшелой да залатанной, покосившейся деревянной двухэтажной хибары. Но такой родной, словно бы корнями вросшей, вписанной в нашу природу и ткань нашего убогого, в конечном итоге, житья-бытья... В пику фешенебельным фасадам показной состоятельности, гламурной глянцеваемости иных пусто-порожных зданий и изданий.

За что, кстати, дизайнеру книги и «Тюменскому издательскому дому» отдельное спасибо.

Но вернёмся к стихам.

*Что ж, пусть не за стеной, так за забором
Стоять, прикидываясь мелким вором,
И без малейшего желания украсть,
Листом пожухлым на траву упасть.*

*Как сторож с допотопной колотушкой,
Ты мечешься вокруг своей избушки
И тщетно ждёшь, когда придёт лесник,
Чтобы скосить роскошный твой цветник...*

Как тут после этой обречённости и безнадёги из стихотворения «Энтропия» не вспомнить сакраментальные строки школяра Йозефа Кнехта из «Игры в бисер», культового романа хиппи ныне подзабытого Германа Гессе: «Всё сызнова Горшечник лепит нас, Покорную переминает плоть, Но для обжига не приходит час». (перевод Д. Каравкиной и Вс. Розанова)?!

Вольно или невольно, но автор периодически отсылает нас к тем или иным эстетическим явлениям, именам, знакам, вехам... А вот ещё совершенно аристократически-роскошные строки, передающие и время, и пространство, и даже их ароматы:

*Черешнею пахнет дерюга
В прихожей стеснённой твоей,
Я боком вхожу, как ворюга,
И лить начинаю елей*

*О средневековом тевтонстве,
О Кафке, о Прусте с Дали,
И в этом лихом пустозвонстве
Мне так не хватает шабли...*

И даже привкус белого французского вина можно посмаковать на языке! Он весь по-пушкински утончён здесь, наш автор. И даже несколько по-гусарски манерен, как тот же Гумилёв из упомянутых до того... И все это вместе с Кафкой, Прустом и Дали – опять же есть отсыл в иные эпохи и искусства, иные культурологические слои.

Упоминание у Сизова по всему содержанию сборника Пушкина, Грибоедова, Достоевского, Мусоргского, Чайковского, Хлебникова, Блока, Маяковского, Брик, Горького, Щорса, Феллини и других героев истории, литературы, культуры вообще, прямые и непрямые указания, аллюзии на те или иные, опять-таки, события жизни и культуры всего человечества, вплоть до литературных героев, типа Голема или Клима Самгина, – то, что такие намёки и послы в его поэзии есть неизбежное – то это, как мне кажется, отнюдь не самоцель, не желание создать «текст из текстов», но – лишь естественное следствие бытия самой сущности автора. «Онтологическая неизбежность» – как выразился однажды он сам. Начиная от его рождения, воспитания, образования, самообразования, непомерной начитанности, устремлений, предпочтений, наклонностей, наблюдательности, впечатлительности, – то есть всего-всего на ту пору жизненного опыта стихотворца!

А родился Даниил в семье весьма образованной и культурной. Мама его, насколько мне известно, всю жизнь обучала молодёжь английскому и была старшим преподавателем на кафедре иностранных языков в Тюменском госуниверситете, папа работал авиатехником в Плеханово, часто путешествовал в командировках по северу нашей области, что обогащало его кругозор и, скорей всего, способствовало расширению оно и у сына. Не обошлось тут, видимо, и без влияния родственников в Северной Пальмире, равно как и самой её, часто посещаемой им с юности и столь часто упоминаемой здесь и в книге...

Сам Даниил Викторович окончил тот же университет на двух факультетах – сначала историческом, потом, через несколько лет – филологическом. Параллельно он выступал, и довольно успешно, в оркестре народных инструментов на домре(!), имея, очевидно, и музыкальное образование. Что опять-таки свидетельствует о том же постоянном поиске...

Как историк он очень осведомлён и точен в деталях земного нашего бытия, датах, именах. Я беседовал с ним, знаю. Эта точность, изрядные семантический слух и зрение присутствуют у него и в художественном слове.

*Фонарь потёмки разогнал –
В углу чердачном – писем связка,
Бог мой! Ведь это дед писал,
Что в госпитале жмёт повязка.*

*И дата – сорок пятый год.
Я сутки разбирал посланья
О том, как в первый шли поход
До слов последних «до свиданья!».*

*Дед не вернулся с той войны,
Но он был здесь, был голос ясен –
От Вислы до родной Шексны
Воздушный путь был безопасен.*

*Никто его не прерывал,
И я молчал, убив сомненье,
Что тот, кто эту дверь вставлял –
Имеет право на вхождение.*

Это стихотворение «Военные письма». Привёл его полностью, не мог иначе.

Как же оно и до слёз тронуло, попав в самое сокровенное сердца, и порадовало одновременно за автора! Ведь при всей его образованности, начитанности, продвинутости в различных сферах, автор не стал пресыщенным снобом, нигилистом и циником, не впал в беспросветную байроническую желчь по поводу всего и вся, не сделался просто изошрённым циркачём-эквилибристом разнообразных мудрёных словес, но есть для него в нашем осатанелом мире вещи абсолютно святые! Нечто вовек неискажаемое и непреложное.

Вот и ответ многим тем, кто с пеной у рта взыскует о вере и прочем...

Осознавать себя частью семьи, рода, народа, его истории – это очень похвальное и весьма редкое качество у нынешних новоявленных, зачастую

родства непомнящих, стихотворцев. Отраднo и то, как это передано – о той роковой гибели, так никoгда и не увиденного им своего родного деда, – без какого-либо надрыва и фальшивого пафоса. Сухо и страшно. На уровне вечного «Его зарыли в шар земной». Но у Сизова есть и нечто метафизическое – «Имеет право на вхожденье». Да. И стало быть, дед его – из Вологодской губернии, колы Шексна, приток Волги, ему родная река, – теперь где-то здесь, рядом с нами, благодаря сердобольному внуку! Вот и конкретика деталей поэтического образа и историческая конкретика корней нашего талантливoго поэта-земляка. Которая своей памятноcтью уточняет и наше общее бытие во времени.

На мой взгляд, выше приведённое стихотворение – одно из самых лучших в этой книге. Есть и другие, достойные внимания. Цитировать их не буду, назову лишь помимо представленных выше, это: «Музыка», «У фонаря согнулась шея...», «Осколок великих мечтаний», «Тех чудных вывесок обрывки и осколки...», «Бесит грязь...», «Петербург», «Воспоминания о Петербурге» и другие.

Думаю, и скорей всего, ищущие читатели и сами обнаружат там какие-то иные, созвучные их настрою и вкусу, вещи. Если говорить строго, то дать определение «хорошим» или «плохим» стихам у автора такого уровня, как Сизов, за редким исключением, почти невозможно. Ведь он изошрён едва ли не всюду, он игрок, фигляр и скоморох – в хорошем смысле этих слов... Да-да! Он неоднозначен, нелинеен, амбивалентен, диалектичен, а потому и – печальник, и скоморох зачастую одновременно! Что, впрочем, часто сочеталось и объединялось на Руси в образе юродивого. Особенно в тяжкие времена. Тот и дерзил любому, и язвил, и обличал, но он же и плакал, и страдал за всех...

Прочтите стихотворение «Лёгкая вариация на ахматовскую тему «тайн ремесла» – и вы увидите, насколько по-хармсовски тонок этот влюблённый в поэзию отъявленный философ-абсурдист... Насколько безупречен, куражен и забубённo-вихреват он в необузданном – до ржания! – художническом озорстве в этой и подобных вещах. Словно бы в него самого вселялся тогда легендарный Пегас...

В своём предисловии «Зачих» к «Буфету на полустанке», по-моему, я предостаточно коснулся и слабых пока ещё сторон творчества Д. Сизова, не буду здесь повторяться. Кто захочет, тот прочтёт. Оговорюсь лишь ещё раз, что всё это от «болезни роста». На будущее искренне пожелаю автору почаще сбегать из удушающих городов – и вправду побольше окунаться в живую материю природы и переносить свои впечатления в новые стихи, новые книги! Что окажется в конце концов на пользу и ему самому и, уверен, читателю.

Ничтоже сумняшеся, снимаю шляпу перед нашим новым тюменским и, надеюсь, российским мастером поэтического ремесла.

ЗАЧИХ

Задорный русский паренёк в алой шёлковой косоворотке и со светло-русою копной волос, домрист в русском народном оркестре... Философствующий историк, филолог и студиязус лито девяностых годов при Союзе писателей на Осипенко, 19... Ярый спорщик о судьбах и сущностях современного искусства вообще и в его разнообразных частностях... Между делом – истый турист-фанат рок-н-ролла, не жалеющий никаких денег на однодневные экскурсии в родные столицы на концерты «Роллинг стоунз», «Рэд хот чилли пепперз» или «Дип пёрпл»... Заядлый книгочей-коллекционер различных обычных изданий и очень раритетных, в том числе, к примеру, книг и журналов времён живых Чехова, Горького, Мережковского... Азартный меломан и редкостный ценитель всевозможной музыки, у которого в беспорядочных стопах и россыпях можно отыскать не только граммофонные пластинки с голосами Шаляпина и Лемешева, но и дореволюционные(!) шеллаковые диски...

И всё это один человек, простой, скромный экспедитор в одном из наших провинциальных книжных магазинов – Даниил Сизов. Автор этой, хоть и не большой, но, смею заметить, весьма занятой книжицы.

В своегласной и очень культурной, даже культурологической поэзии Сизова присутствуют и полифония, и полиритмия, и полистилистика. Но есть тут и некая живая ребячливость. А порой даже и неряшливость, несуразность, чрезмерная затянутость и чрезмерный минимализм, дисгармоничность роста с нечаянным довеском всеподкупающей искромётности талантливой образа... Не заёмного, не лицемерного, но своего, честного, кровного.

Нет-нет, да и прорвётся сквозь молодецки-дурашливую иронию и нарочитое фиглярство филигранность мастера и глубина старика-трагика! Но кое-где, правда, сквозь напускную мрачность проступит и наивная телячья мосластость. Также проглядываются здесь и театральность, и наигранность, а где-то, может быть, и по-детски неосознанные манерность, позёрство, пустозвонство и просто словесная суета. Но всё это лишь попервоначалу. И для того-то и необходима эта стартовая книжка, чтоб через неё и ближайшие по-следующие за ней освободиться от шор и всего лишнего.

Уверен и не боюсь, как говорится, зачихнуть на будущее, что по дальнейшему ходу сего стихотворчества многое наносное отлетит, отскочит галькой из-под колёс. Осыплется вместе с пылью изысков-по-мелочам, шелухой псевдосуровых панк-роковых текстовок и прочей коростой каких-то нелепых аксессуаров молодёжных (и немолодёжных) субкультур, тусовок, сленгов, фишек, прибамбасов и т.д. и т.п.!

И останется наконец чистый лирик Даниил Сизов с его дивными будущими и лучшими, на мой взгляд, нынешними вещами, такими, например, как стихотворения «Военные письма», «На живую нитку шитые...», «У фонаря согнулась шея...», «Осколок великих мечтаний...», «Бесит грязь...».

Новомир ПАТРИКЕЕВ

НЕИСТОВАЯ НАДЕЖДА

*К 120-летию выхода книги первой тюменской писательницы
Н.А. Лухмановой «Очерки из жизни в Сибири»*

**Роман Н.А. Лухмановой «В глухих местах»
глазами охотника и краеведа**

1. Подвиг издателя и напутствие писателя

31 декабря 1997 года получил от давнего коллеги по газетной работе, а потом известного тюменского издателя и просветителя Юрия Мандрики, сразу семь томов подготовленной им серии «Невидимые времена».

Кое-кого из забытых авторов этих книг я читал, о других знал понаслышке или редким упоминаниям в краеведческой литературе. Н.А. Лухманова была мне совершенно неизвестна, поэтому и начал с ее книги «Очерки из жизни в Сибири» (Тюмень, 1997). Кроме соответствующих названию очеркового романа «В глухих местах», очерков «Кержаки в тайге» и «Белокриницкий архиерей Афанасий», в качестве приложения опубликованы бытовая картинка «Переселенцы» и большая повесть «Двадцать лет из институтской жизни», которые мы оставляем за скобками своего обзора.

При чтении поразило какое-то особенное, идущее от души, не только литературоведчески содержательное, но и экспрессивно-страстное по форме предисловие Константина Лагунова с абсолютно соответствующим (как позже убедился) названием «Неистовая Надежда» Услышав о ней от известного местного филолога Ларисы Георгиевны Беспаловой, Лагунов энергично взялся за воскрешение памяти Лухмановой. Он изучал ее биографию и творческий путь, о чем поведал в предисловии.

Дочь потомка древнего российского дворянского рода и курляндской баронессы, окончившая Павловский (Санкт-Петербург) институт благородных девиц, не раз побывавшая за границей, имея уже и литературный опыт, Лухманова вышла замуж за железнодорожного инженера Владимира Колмогорова, переехала с ним в Тюмень и прожила в семье свекра, богатейшего промышленника-кожевника и купца, пять лет.

Затем возвратилась в столицу, вернулась к литературной работе, стала известной писательницей, драматургом, переводчицей, публицистом, журналистом, а в качестве медицинской сестры и одновременно корреспондента участвовала в Русско-японской войне 1905 года.

В 1896 году в Санкт-Петербурге вышло первое издание книги «Очерки из жизни в Сибири. В глухих местах. Белокриницкий архиерей Афанасий. (Из личных воспоминаний автора, пробовавшего 5 лет «в глухих местах»)». В русской литературе впервые была показана Тюмень восьмидесятых годов XIX века.

Отыскав первоисточник, К.Я. Лагунов, даже будучи руководителем областной писательской организации, не смог в течение нескольких лет добиться издания однотомника наиболее значительных произведений Лухмановой. Потому он очень высоко, я думаю, как подвиг, отметил в предисловии издательскую роль Юрия Мандрики: «И вот нашелся человек, который сделал то, что многие годы казалось невозможным. Не

жалая сил и времени, не взирая на затраты, по всей стране, по книжечке, по публикации собирал произведения Надежды Александровны Лухмановой, свёл в однотомник...».

Константин Лагунов мастерски, глубоко профессионально, эмоционально и проникновенно его прорецензировал, дал восторженную, но обоснованную оценку всем произведениям, назвав Лухманову «прекрасной русской писательницей».

Конечно, внимание привлекло то, что сродни моему личному интересу: «немногословно, но ярко и самобытно написаны картины сибирской природы во все времена года. Рассветы и закаты, ... и непогода». И особенно самое близкое, что подвигло немедленно начать чтение: «О чём бы ни повествовала Лухманова – об охоте... или ещё о чём ином, она делает это удивительно красочно, впечатляюще, увлекательно».

Проштудировал книгу с карандашом в руках и тут же записал свои первые впечатления. Действительно, очень динамичная проза, почти нет длиннот. Много оригинальных, тонких и точных неповторяющихся описаний природы. Чувствуется глубокое знание разных слоев населения, коренных и пришлых: городских обывателей, жителей окрестных деревень, фабричных рабочих, варнаков-разбойников, проезжих крестьян-переселенцев и ссыльнокаторжных.

Всё, что написано в очерках об охоте, я выписал и прокомментировал. Главное, автор заметил всеобщее увлечение сибиряков этой древней страстью и проявил такие познания, которые не приходят быстро, а требуют времени и конкретных заинтересованных наблюдений.

2. Сцены охоты в романе «В глухих местах»

«Весной в лесу раздаются выстрелы дешёвых пицалей, нередко перевязанных лыком или веревкой, и наземь падают толстые рябчики-кедровики, с ветвей срываются красноглазые глухари, затоковавшие до одури про любовь, падают, распластав крылья, пёстрые куропатки и голубые сойки. С первыми заморозками над стройными кедрами тянутся птицы в отлёт, с прощальным криком летят треугольником журавли. Зимой, когда всё цепенеет и замирает в природе, по лесу, неслышно скользя, несётся на лыжах бесстрашный сибирский охотник и вызывает на единоборство громадного серого медведя, бьёт пушистую белку, сотнями губит зайца-беляка».

Так Лухманова смогла в одном абзаце рассказать о всех сезонах промысла и одновременно штрихами показать соответствующие изменения в природе, за которыми читателю представляется соответствующий пейзаж: как осенью «тянутся птицы в отлёт», как зимой «всё цепенеет и замирает вокруг».

Говоря об охотниках, она точно заметила, что их ружья нередко перевязаны лыком или веревкой. Такое оружие было у бедных промышленников, главных добытчиков богатств сибирской тайги. Автор с большим уважением пишет об отношении к охоте простого люда: фабричных рабочих, обитателей лесных деревень, бродяг-варнаков – как к своего рода смыслу жизни, а также источнику добычи для продажи и пропитания.

«На заводе... каждый рабочий был страстный охотник... У каждого было свое ружьишко, и каждый в свободную минуту только и норовит удрать в лес. Лес был настоящий охотничий дом для всего сброда. Там в густой тайге чуть не у каждого была припасена своя нора «про всякий

случай». Ружьё, порох, рубленый свинец, запас муки да соли – вот основное богатство варнака, всё остальное даёт лес. Дичины всякой вволю: толстый рябчик-кедровик, красноглазый тетер, токующий до одури по зорям, куропаточка пёстрая, зайчина трусливая...

Там в тайге бегут ручьи студёные, а в них... нырок кувыркается. Там мох, что твоя перина пуховая, а уж птичьих песен, звездных ночей, зорек розовых, гроз громовых – это языком не передать сибирскому бродяге, а только всё это лелеет его душу и неудержимо тянет к себе. На заводе были такие рабочие, что только и выдерживали зиму, а как стает снег, выползет травка зелёная, ручей шевельнётся, как покажется в небе первый треугольник журавлей, так сил его больше не хватает: отпустят – уйдёт, задерживать станут – сбежит и айда прямо в тайгу снова до лютого зимнего холода».

Столь понятно и доказательно автор объясняет неотвратимую любовь простого люда не только к охоте, как своего рода смыслу жизни, но в целом к природе, в данном случае к тайге, дающей кров и пропитание, а еще влекущей своей красотой, которую в этом отрывке Лухманова кратко, но ёмко рисует. Передаёт очарование «птичьих песен, звёздных ночек, зорек розовых, гроз громовых», считает шаги весны: «стает снег, ручей шевельнётся... покажется в небе первый треугольник журавлей».

Показывает она нехитрое оснащение охотников, приводит типично сибирские, неприменяемые в других местностях названия птиц и зверей, например, «рябчик-кедровик, красноглазый тетер, зайчина трусливая».

Как охотника меня особенно удивило, что ею точно подмечено, как резво погружается в воду нырковая утка, как будто подпрыгивает и, по-хоже, «кувыркается».

Словно изнутри пишет автор об охоте «чистой публики»: фабрикантов, купцов, железнодорожных инженеров, городских чиновников, подчёркивая их отношение к ней, только как к приятному развлечению.

«В романовских полушубках, подпоясанных цветными кушаками, в меховых тобольских шапках, в высоких валенках гости вслед за хозяином двинулись на охоту...

Утро было морозное, ясное, без малейшего ветерка: на широких лапах кедра снег лежал, как вата; у стройных елей все пальцы были обёрнуты искрящимся инеем. Безликие кусты облепили стояли шатрами ажурного серебра. Под ногами скрипел снег, пригвождённый морозом... Загонщики, мальчишки и бабы из двух соседских заимок, давно обложили часть леса, но не двигались с места, пока господа не подадут знак...

Лес вдруг словно дрогнул и ожил, послышались крики, щелканье трещоток, улюлюканье, свист, и на поляну, расстилаясь по снегу, прижав уши к спине, вылетело с десяток зайцев-беляков.

«Трах-трах» – сухо раскатились выстрелы. Несколько зайцев перекувыркнулись, один, раненый, присел... и завизжал ... громко, надрывно, как зашибленный медведь».

Подлинный эффект присутствия автора налицо. Так не описать загонной охоты, не побывав на ней несколько раз.

Разноголосые звуки гона, панический, но небесхитростный бег зайцев, «расстилаясь по снегу», падение убитых зверьков – «перекувыркнулись», жуткий крик подранка, напоминающий надрывный детский плач, – все показывает Лухманова абсолютно верно.

Сцена сопровождается законченной пейзажной зарисовкой зимнего утра в лесу. Какие сравнения! Наряду с довольно известным – «снег ле-

жал, как вата», совершенно своеобразные – «кусты... стояли шатрами ажурного серебра», «скрипел снег, пригвождённый морозом». И уж совсем неожиданное, тонкое и оригинальное – «У стройных елей все пальцы были обернуты искрящимся инеем». Сравнение еловых веток с руками я встречал, когда полвека назад писал рецензию на первую книгу мансийского поэта Андрея Тарханова – «от мороза ели варежки надели». Если бы и он рассмотрел отдельные веточки, то обязательно надел на них перчатки.

В романе «В глухих местах» подобных по красоте, точности и своеобразности описания, разных по величине, но одинаково завораживающих картинок природы много. Они характеризуют Лухманову не только как знатока флоры и фауны Сибири, но и прекрасного пейзажиста, возможно, равного Тургеневу и Аксакову, подумалось тогда.

При первом чтении я ограничился интересовавшими меня сценами охоты, но появилось непреодолимое желание больше узнать о незаслуженно забытой, можно сказать, вычеркнутой из литературы замечательной писательнице.

3. Штрихи к портрету

В упомянутом предисловии К. Лагунов посетовал на отсутствие сведений о Н. Лухмановой в литературе: «В «Литературной энциклопедии» ей не уделили ни строчки. В «Большой советской энциклопедии» тоже не нашлось ей места».

Сначала обратился к своей книжной полке. В «Литературном энциклопедическом словаре». (М. – «Советская энциклопедия, 1987 г.). Лухманова не упомянута ни в перечне писателей, ни в статьях о журналах и газетах, где она сотрудничала.

Но в третьем томе репринтного воспроизведения «Малого энциклопедического словаря» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (М, 1994) на 404–405 страницах нашёл: «Лухманова Надежда Александровна, рожд. Байкова, писательница, ум. 1907; повести, рассказы, очерки, газетные корреспонденции и статьи». И это уже успокаивает – при жизни Лухманову Россия знала и чтит.

А что же наша словарно-энциклопедическая и мемориальная литература? Первую долгожданную ласточку увидел в журнале опять же Ю. Мандрики «Лукич» (Тюмень, 2000. – №3. – С. 80–113). Эссе правнука писательницы Александра Колмогорова «Надежда Лухманова» опубликовано под рубрикой «реституция невозвращённых имён» (чувствуете тенденцию?). Появилось после письма правнуков писательницы К. Лагунову, пришедшего на адрес издательства. В нём, кроме благодарности автору предисловия за воскрешение памяти прабабушки, сообщалось о наличии в семье большого архива.

Александр Колмогоров представил увлекательный материал, написанный не только на базе богатейшего семейного архива, но и сведений, добытых в разных государственных архивах и библиотеках. В основном, это беглая хроника четырех поколений семьи, сопровождаемая таблицей «Генеалогическая ветвь Надежды Лухмановой» и десятками редких старинных фотографий родственников.

Автор также кратко очерчивает творческую биографию прабабушки, начиная с первых рассказов. Сделал он вклад и в мою копилку официальных публикаций. «В 18 томе энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона за 1896 год она скромно упомянута писательницей. Но время – коварный судья. И через 98 лет в 5-томном биографическом сло-

варе «Русские писатели 1800–1917 г.г.» (1994 г.) ее назовут прозаиком, переводчиком, драматургом».

Значит, не только в дореволюционной России, но и в современной Лухманову знают. А, главное, что опять же благодаря Ю.Л. Мандрике тюменцы смогли много узнать о своей знаменитой землячке.

Уже не удивительно, что в «Большой тюменской энциклопедии» (Тюмень, 2004. – с. 232) есть статья «Лухманова Надежда Александровна», где она представлена как писатель, переводчик, общественный деятель, участница Русско-японской войны. Библиография содержит изданные в разные годы ее произведения о Тюмени. Среди авторов статьи одна из зачинателей изучения творчества Лухмановой в Тюмени Л.Г. Беспалова.

Казалось бы, все, лед тронулся. Но в 2008 году вышла антология «Тюменской строкой», посвященная творчеству литераторов, принятых в Союз писателей России в Тюмени, и членов Союза, долго работавших здесь. Однако во вступительной статье, рассказывающей о предшественниках, Н.А. Лухманова среди писателей второй половины XIX века не упомянута.

И вновь пришел на выручку тюменцам разбуженный К.Я. Лагуновым Александр Колмогоров, опубликовавший свой новый, вчетверо более объемный, чем эссе, труд «Семейные хроники Надежды Лухмановой» в литературно-художественном и историко краеведческом альманахе «Врата Сибири» (Тюмень, – 2010. – №1 (29), 2 (30). – 2011. – №1 (31).

В соответствии с посвящением: «Памяти прадеда тюменской первой гильдии купца и потомственного почетного гражданина Филимона Степановича Колмогорова» автор уделил здесь внимание тюменской ветви родственников Н. Лухмановой, начиная с основателя тюменской купеческой династии деда Филимона Колмогорова. На их примере он проследил не только развитие кожевенного промысла, но и показал историю Тюмени почти за столетие. Параллельно представил расширенное жизнеописание уже знакомых по эссе родителей, мужей, детей Лухмановой, ее переписку с ними. Более подробно освящен творческий путь и личная жизнь самой писательницы, есть новые фотографии.

Обращу внимание только на то, что связано с «Очерками из жизни в Сибири». Оказывается, написать их посоветовал Лухмановой Д.Н. Мамин-Сибиряк, узнав, что она несколько лет прожила в Сибири. Важна и первая оценка произведения. Главный редактор журнала «Русское богатство», известный литературовед и критик Н.К. Михайловский, приняв рукопись к изданию, писал: «Вы не имеете понятия о том, как талантливы. Вы написали большую вещь».

Наконец, Александр Лухманов выпустил книгу «Семейные хроники Надежды Лухмановой» (М. – Аграф. – 2013. – 464 с.), где впервые представлены не публиковавшиеся ранее материалы из центральных и региональных архивов, музеев, семейного архива автора и других источников. Для потенциальных биографов писательницы небесполезным будет указание на то, что ее правнук Федор Григорьевич Колмогоров (14.02.1905 – 29.05.1975) с 1949 года жил в Тюмени, работал в управлении культуры. Жена Боровикова Т.А. (1925–1990), приемный сын Колмогоров Василий Федорович (1945) живет в г. Урае.

Это солидное исследование завершает проблему воскрешения памяти незаслуженно забытой писательницы, которую хорошо знали и чтити современники, в том числе за границей. Сибирские очерки были изданы на датском языке «Osten for Yral».

Но для меня самым ценным были приведенные автором воспоминания композитора и пианиста А.Б. Гольденвейзера «Вблизи Толстого»: «...5 июля 1900 года. Нынче Л.Н. гулял со мной и П.А. Сергиенко и неожиданно произнес: «Я стараюсь любить и ценить современных писателей, но трудно это... А техника теперь дошла до удивительного мастерства. Какая-нибудь Лухманова или Д. так пишет, что просто удивление: где уже Тургеневу или мне. Она нам сорок очков вперед даст!...».

Толстовское упоминание о Тургеневе укрепило высказанное мною ранее в этой статье предположительное сравнение с ним Лухмановой как пейзажиста. В научно-литературоведческом плане образ природы и, естественно, пейзаж в романе приоритетно исследовали известные тюменские филологи Е.Н. Эртнер (1997, 2005, 2015), Л.Г. Беспалова и Ю.М. Беспалова (1998). Я как старый северо-сибирский охотник просто очарован лухмановскими пейзажными зарисовками и могу рассуждать только о своих чувствах, вызванных ими при чтении.

4. Картины пейзажа в романе

Своеобразный пейзаж сибирской тайги, суровый и холодный долгой зимой, и лиричный, теплый в более короткие периоды года – весной, летом и осенью, автор показывает в соответствии с природными циклами, удачно выбирая время их разгара, в полноте соответствующих фенологических фаз. Начнем с весны, наверно, самого радостного события в жизни природы и человека:

«Вот и весна пришла. Расковалась река и зашумела под окном рыжим волнами. Налетели пичужки малые, защебетали, разбились по парам, гнезда строят, прилетели и журавли долгоносые, повисли углом над лесом и стонут, словно устали с пути-дороги. Лес оделся, зацвели в нем цветочки голубые и алые, пахучие. Поднялась трава зеленая, и ровно спешит земля отдохнуть после долгого холода, с каждым днем, с каждым часом так все и расцветает и оживает вокруг».

Лухманова начинает с реки, ведь обычно рядом с водой обитает все живое. Здесь и мелкие певчие птички, перелетные и лесные аборигены, и деревья в листве, цветы и травы. А больше всего мне понравился пассаж о журавлях, которые «повисли углом над лесом и стонут, словно устали с пути-дороги». Чаще мы встречаем в литературе, что журавли стонут осенью, прощаясь с родиной, а весну обычно приветствуют радостными криками и танцами на болоте. О самой реке есть строчки, написанные чуть раньше:

«Весной, когда хлынут в нее снега окрестные, бурлит, ревет, пенится, что брага хмельная».

Вот вам и объяснение рыжего цвета весенней волны. Весенний рассвет автор тоже рисует на реке:

«Из леса вырвался первый утренний ветерок и пробежал по реке. Рябя и колыхая ее сонные волны. Легкий туман беловатой фантастической дымкой поднялся с воды и, редая, разрываясь, потянулся вверх. Из-за черного соснового бора вдруг брызнул пурпуровый луч, и затем медленно выкатилось на небо солнце, все золотя и озаряя кругом. Вот на берегу в прибрежных кустах встрепенулись птицы, зазвенели песни... Откуда-то снялись журавли и пронеслись стаяй, оглашая воздух жалобным клекотом».

Над лесом уже не повисла, а пронеслась с жалобным клекотом стая журавлей, видимо, пролетных, которым предстоит путь на Север. В оценке

появляются и новые составляющие, дополняющие и украшающие предыдущее описание прихода весны, новые краски. Легкий ветер, от которого покрылась рябью сонная вода и потеряла свое матовое зеркало, став, как водится, синеватой, или поднявшаяся с нее беловатая фантастическая дымка тумана. И наконец, многоцветный восход – пурпурный луч, вырвавшийся из-за черного бора, и само солнце, озолотившее и озарившее все кругом.

Лето Лухманова показывает по-разному – и кратко, но емко, как общий результат влияния на природу солнечного тепла:

«Сибирское могучее лето стояло в полном разгаре, солнце жгло, сонная трава с пахучими медовыми цветами лезла отовсюду, куда только проник живительный луч солнца; все ликовало, дышало жизнью, все, казалось, спешило насладиться коротким летним роздыхом суровой природы».

Более подробно и поэтично описываются летняя ночь и рассвет в лесу:

«Ночь наступила совсем, в лесу было темно и тихо. На небе одна за другой вспыхивали яркие звездочки, вот и полный месяц выкатился из-за верхушек кудрявых кедров и облил серебристым лучом все лесные прогалинки...»

Июльское жаркое солнышко еще не вставало, знать, не жилось «в небесном закрое», а уж в теплом воздухе чуялся рассвет. Проснулся ветерок, припавший было ночью за соснами вековыми, дохнул и побежал будить ручьи звонкие, зелень сочную, траву цветистую, а там – облака порозовели, улыбаются, знать, подглядели, что солнышко проснулось и лик свой благостный показало. Пискнула где-то пичужка, отозвалась другая, ожил лес. Зазвенел, заголосил, и в каждом дыхании, в каждом шорохе, каким травинка с травинкой трется, слышится алилуйя наступающему дню, алилуйя Господу – началу и утра, и дня, и жизни, и смерти».

В первом отрывке налицо торжество и ликование, общий апогей годового развития растений и животных, когда каждый из них «и жить торопится, и чувствовать спешит».

Второй – написан поэтом, нарисован художником и осмыслен философски. Солнце нежится «в небесном закрое»; ветерок просыпается и бежит будить ручьи и траву; облака улыбаются и подсматривают за солнцем, которое проснулось и показало лик свой благостный. В последнем слове виден переход к авторскому обожествлению природы. И вот уже голоса, шорохи, дыхание ожившего леса поют гимн Создателю – «слышится алилуйя Господу – началу и утра, и дня, и жизни, и смерти». Подобное есть и в некоторых описаниях небосвода. Например:

«В небе вспыхнули. Заискрились очи Божии – яркие звездочки.

На небе одна за другой потухали звезды, точно невидимый в своем полете ангел тушил небесные лампы».

Оценку я позаимствую у П.А. Флоренского: в этом – «неотмирность небесной лазури, божественность ее».

Если весенний и летний пейзаж динамичный по строю, а по времени чаще предрассветный или дневной, то ближе к осени неторопливо, плавно описывается наступление ночи.

«Солнце идет к западу, словно запуталось в верхушках ветвей и, облив их ярким красным золотом, медлит уйти и уступить место темной потайной ночушке... Дикая птица разная, видно, перед сном, взад и вперед снует, последние песни вечерние допевает...»

Солнышко ниже и ниже скользит по ветвям, задрожали ярко-багровым пятном кусты низкорослого березняка, пробежали тени, что мысли черные по прогалинам леса, прошумел ветер по высокой росистой траве, засеребрил резвые струйки неумолчно-болтливой реченьки и умчался в лес, прячась за могучие кедры. Нежно, грустно закурлыкали где-то журавли... Заснула тайга, словно очарованная; от старых широких корней поднялся туман, закурился белым дымком кругом стволов и пополз вплоть до кудрявых верхушек..., замер ветер, спит и ревниво хоронит свои тайны».

Заметно, что природе не хочется расставаться с теплом. Солнце медлит уйти и уступить место темной ночи. Ночные тени, «что мысли черные» (конечно, о предстоящей смене времени года). Журавли курлыкают нежно и грустно. Да, в предосенней картине есть грусть, но нет мрачности. Автор тоже тоскует, но не горюет, он знает, что приближение зимы естественно и уже мажорно показывает предосенний день в тайге:

«Под осень лес оживает и голосит нагрянувшими в него гостями. Мужчины и женщины наполняют громадные мешки кедровыми шишками, корзины – клюквой, морошкой, брусникой и поляникой. Мальчишки и девчонки копают верхний слой земли. Из-под него высыпает несметная армия «сухих» гриздей. Больших и малых, крепких, гладких и желтоватых, как слоновая кость. Мелкие рыжики сыплются золотым дождем в короба и плетушки. С первыми заморозками над стройными кедрами тянутся птицы в отлет, с прощальными криками летят треугольником журавли».

Так вкупе с охотничьими сценками Надежда Лухманова показывает и красоту, и богатство сибирской тайги. Что касается матушки-зимы, то для лучшего восприятия объединим все картинки в один суточный ритм «от заката до восхода»: сумерки, ночь, предрассветный лес, начало дня.

«Смеркалось, на землю ложилась вечерняя тень; там за полями темной кудрявой полоской вытянулся лес и окаймил небо. Вспыхнули звездочки, одна, другая. Из-за леса выкатился полный месяц и стал на небе, все серебря и освещающая кругом.

Пала на землю зимняя ночь, ранняя и холодная, тихо в лесу, только мороз по старым елям пощелкивает. Вышел месяц молодой, бледный ровно испуганный.

Бежит ночь и близится рассвет. Побелел месяц, слился с облаками и исчез в поднебесье. Подернулись серебристой дымкой верхушки леса. Заредела тень между густых кустов, брызнул с востока сноп ярких солнечных лучей, и ожил лес, зачирикали воробьи, закаркали вороны, прыгнула белка с сучка на сучок, вылетел заяц-беляк, попрядал ушами и снова скрылся.

Серые тени, как клочки прозрачной кисеи, поднимались с земли..., бледное солнце вошло и лениво осветило северный зимний пейзаж.

Холодное солнце бесстрастно стояло над всей этой картиной, золотя верхушки леса, скользя румяной полосой по гривам, раздвигая окрестность, как волшебную панораму».

Зима для первой тюменской писательницы также волшебна, как и вся природа Сибири, которую она глубоко почувствовала и полюбила за пять лет жизни «в глухих местах» и проникновенно, мастерски, без сомнения – классически отобразила в романе.

Константин КРАВЦОВ

БОЖЬЯ ПТИЦА

«Его называли первым русским поэтом двадцатого века, и он часто думал, что это действительно так», – писал об умирающем в лагерном бараке Осипе Мандельштаме Варлаам Шаламов (рассказ «Шерри-бренди»). Сам поэт писал о себе из воронежской ссылки Ю.Н. Тынянову так: «Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Но последнее время я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно. Вот уже четверть века я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе». Так и случилось. Можно, впрочем, заметить, что каждый большой поэт что-то меняет «в строении и составе», вопрос лишь в том, насколько радикальны и глубоки эти изменения. В зависимости от их масштаба поэт и удостоивается титула «поэт века», при том, что «век» в этом случае – понятие не совсем хронологическое. Так Ахматова писала о «некалендарном XX веке», начавшемся с 1914 года. И вряд ли кто-то будет отрицать, что именно Мандельштам, заплативший жизнью за свою верность русской поэзии и христианской культуре, является первым поэтом именно этой апокалиптической эпохи – эпохи, может быть, самого чудовищного разрыва связи времен.

*Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?*

Так начинается стихотворение «Век», написанное в 1923 году, а вот и ответ на этот вопрос:

*Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.*

Флейта (поэзия) и есть та кровь – кровь поэта, которой он склеивает разбитый позвоночник времени, рушащегося в историческое небытие. И кровь в этом случае – случае Мандельштама – не метафора. Он не просто один из «последних христианских мучеников», каковыми О.М. называл французских «проклятых поэтов», а мученик в буквальном смысле слова – тот, кто принял смерть за свою веру в «высокое племя людей», неотделимую от христианства. Случай этот исключителен не только для русской, но и мировой поэзии XX века – века самых ожесточенных за всю историю гонений на Церковь в большевистской России. И глубоко символично, что *первый русский поэт двадцатого века* оказался среди «миллионов убитых задешево» – бесчисленных жертв тоталитарных режимов, страшных не только своими лагерями, но и той людоедской идеологией, что пришла на смену христианству и его тысячелетней культуре. Поэтому трудно, говоря о Мандельштаме, ограничиться разговором лишь о его уникальном «поэтическом искусстве»: последнее невозможно

отделить от столь же уникальной судьбы – судьбы бывшего для многих посмешищем литературного изгоя, бросившего вызов государственной машине в лице всемогущего «кремлевского горца». Но дело не только в Сталине, бывшем таким же заложником времени, как и его жертвы. Если продолжить аналогию с христианскими мучениками, начиная с апостолов, то нельзя не вспомнить слова апостола Павла о том, что *наша брань не против плоти и крови* (скажем, Нерона или Диоклетиана), а *против миродержителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных*. Против извращенного порядка вещей, делающего человека рабом *лжеца и отца лжи, человекоубийцы от начала*. Иными словами, речь идет о духовной войне, разворачивающейся не только в человеческом сердце, но и в культуре – войне, «пехотинцем» которой не раз называл себя Мандельштам. Стихи в ней – главное оружие поэта, потому-то и шепчущие их губы он называет «наступающими». Только они и связывают историю в человеческой памяти, утрата которой равнозначна смерти; связывают всё со всем и всех со всеми:

*Где связанный и пригвожденный стон,
Где Прометей – скалы подспорье и подобье?
А коршун где – и желтоватый гон
Его когтей, летящих исподлобья?*

*Тому не быть – трагедий не вернуть,
Но эти наступающие губы,
Но эти губы вводят прямо в суть
Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба.*

*Он – эхо и привет, он – вежа, нет – лемех.
Воздушно-каменный театр времен грядущих
Встал на ноги – и все хотят увидеть всех:
Рожденных, гибельных и смерти не имущих.*

Бессмертие для поэта столь же очевидный и непреложный факт, как и рождение со смертью (гибелью). И факт собственного рождения осмысливается в «Стихах о Неизвестном Солдате», в котором угадывается сам автор, как событие исторического масштаба, включающее рожденного (и смерти не имущего!) в апокалипсическую историю всех и вся. Поэт при этом видит себя в общем ряду своих современников – возможно, солдат, а может быть – арестантов:

*Наливаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
– Я рожден в девяносто четвертом,
Я рожден в девяносто втором...
И, в кулак зажимая истертый
Год рожденья с гурьбой и гуртом,
Я шепчу обескровленным ртом:
– Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году, и столетья
Окружают меня огнем.*

Он родился в Варшаве со 2 (14) на 3 (15) января 1891 года в семье промышленявшего перчаточным делом купца Первой гильдии Эмиля Вениаминовича Мандельштама, женатого на Флоре Осиповне Вербловской – учительнице музыки (фортепиано) и родственнице историка литературы Семена Афанасьевича Венгерова. «Девяностые годы, – вспоминал свое детство поэт в автобиографическом «Шуме времени», – складываются в моем представлении из картин разорванных, но внутренне связанных тихим убожеством и болезненной, обреченной провинциальностью умирающей жизни». Павловск, затем Петербург, казавшийся будущему поэту чем-то ирреальным, не столько городом, сколько грезой: «Весь стройный мираж Петербурга был только сон, блистательный покров, накинутый над бездной, а кругом простирался хаос иудейства, не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался и бежал, всегда бежал». В стихах об этом внутреннем конфликте, о «бегстве» и о себе девятнадцатилетний поэт скажет так:

*Из омуа злого и вязкого
Я вырос, тростинкой шуриа, –
И страстно, и томно, и ласково
Запретную жизньню дыша.*

*И никну, никем не замеченный,
В холодный и топкий приют,
Приветственным шелестом встреченный
Коротких осенних минут.*

*Я счастлив жестокой обидою,
И в жизни, похожей на сон,
Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблен.*

Целомудрие – вот, пожалуй, основной признак поэзии молодого Мандельштама «Есть установленные чары – // Высокий лад, глубокий мир, // Далеко от эфирных лир // Мной установленные лары». Чары, но – целомудренные, неброские, прямо противоположные «эфирным лирам» символистов. Осознанию этого отличия предшествовали годы учебы в Тенишевском училище (1899–1907) и почти трехлетнее пребывание в Европе: Франция и Швейцария, Италия и Германия. Европа, что навсегда войдет в стихи Мандельштама, излечила начинающего поэта от революционной романтики, которой он, как и многие, был заражен в те годы. Насколько серьезным было это увлечение, говорит хотя бы то, что будущий поэт стал активистом партии эсеров и, как он скажет на допросах в НКВД, в 1907 году «уже работал в качестве пропагандиста в эсеровском рабочем кружке и проводил рабочие летучки». Неизвестно, чем бы все это обернулось, если бы встревоженные родители не отправили сына продолжать образование в Сорбонне, где клин революционной активности был выбит «стихотворной горячкой» (из письма матери). В 1910 году друживший с ним С.П. Каблуков, секретарь Санкт-Петербургского религиозно-философского общества, запишет в своем дневнике, что Мандельштам «стыдится своей прежней революционной деятельности и призванием своим считает поприще лирического поэта».

К его первым стихотворным опытам благосклонно отнесся метр символизма Вячеслав Иванов, на «Башню» которого Мандельштам захаживал в промежутках между своими путешествиями по Европе, но большинство символистов, включая Брюсова, Мережковских и Блока (увидевшего в юном стихотворце эпигона символизма, хотя и эпигона «первого сорта») отнеслись к стихам «неврастенического жиденка» (характеристика Зинаиды Гиппиус) достаточно холодно. «Символисты никогда его не приняли», – подвела черту этим безуспешным попытками сближения поэта со старшими собратьями по перу Анна Ахматова, с которой Мандельштам познакомился на «Башне» 14 марта 1911 года. Ровно через два месяца после этого знакомства, положившего начало продолжавшейся вплоть до последнего ареста поэта дружбе, «жиденок» примет крещение в епископско-методистской церкви в Выборге. В том, что этот поступок был вызван чем-то большим, чем формальностью, необходимой для поступления в Санкт-Петербургский университет, сходятся все исследователи, указывая на стихи Мандельштама той поры, говорящие о симпатиях ко всем христианским вероисповеданиям, но прежде всего – католицизму. Выбор, однако, был сделан в пользу протестантизма – почему? Наиболее глубокий и убедительный ответ дает С.С. Аверинцев: «Протестантизм именно как стускленный, неяркий вариант христианства был в колер, в масть «матовому» миру раннего Мандельштама... Второй ответ: если Мандельштам хотел креститься, так сказать, в «христианскую культуру» (выражение, употребленное им еще в 1908 году в письме бывшему учителю В. Гиппиусу), если для него было важно считать себя христианином, при этом не посещая богослужений, не принадлежа ни к какой общине и не совершая выбора между этими общинами, – не православие и не католицизм, а только протестантизм мог обеспечить ему для этого более или менее легитимную возможность».

Глубоко внутренняя, потаенная религиозность поэта, не связанная с обрядовой стороной – тема отдельного исследования, здесь же можно сказать, что христианство Мандельштама, ставшего членом Церкви (подлинность таинства крещения у протестантов не оспаривается ни католиками, ни в православными), было не католицизмом, не православием и не протестантизмом, а его собственным уникальным путем христианского художника, его *свободным подражанием Христу*, как сам поэт определял этот путь в сохранившейся лишь в отрывках статье «Пушкин и Скрябин». Ключевое слово здесь – свобода: «Посох мой, моя свобода // Сердцевина бытия» – нравственная свобода, этот, по Мандельштаму, «дар русской земли, лучший цветок, ею взращенный». Мандельштаму, пишет Н.А Струве, претила «перспектива тривиальной ассимиляции», он пожелал «не стать, а быть русским». Быть в том смысле, каким для «выкреста» был Чаадаев, идти «русским путем, выводящим за пределы русского» – к христианскому универсализму. Тоска по нему и была той самой «тоской по мировой культуре», как позднее – на выступлении в Воронеже – охарактеризовал Мандельштам акмеизм. И едва ли среди русских поэтов (а именно таковым считал себя Мандельштам, о чем неоднократно заявлял) найдется кто-то, переживавший ее столь же остро, что, к слову, отличает Мандельштама от советских поэтов и сближает, как никого другого, с Пушкиным. Можно сказать так: Мандельштам занял в нашей поэзии двадцатого века то же место, какое Пушкин – в поэзии века девятнадцатого. И тот, и другой – поэты как национального, так и мирового значения, но с той разницей, что Мандельштам – поэт апокалиптической эпохи, само небо над которой – «небо крупных оптовых смертей».

На жизнь Мандельштама пришлось, если не считать его детства в «года глухие», три эпохи: Серебряный век, война, революция, военный коммунизм, НЭП и, наконец, сталинский «большой террор». Каждая из них соответствует его изданным и неизданным книгам, начинающимся с «Камня», вышедшего в 1913 году (второе дополненное издание – в декабре 1915-го), и заканчивающимися «Воронежскими тетрадами». В каждый из этих периодов (в каждой из книг) Мандельштам предстает в новом качестве: поэтика меняется вместе с человеком – не только поэтом, но и мыслителем, глубоко переживающим и осмысливающим те тектонические сдвиги в истории и культуре, которым он стал свидетелем. Меняются и оценки – как событий, так и персоналий. Например, Ленин – то «октябрьский временщик», то «народный вождь», в слезах берущий «роковое бремя» власти. Революция и военный коммунизм у Мандельштама, как и у большинства поэтов, вызывают противоречивые чувства и надежды, которым не суждено было сбыться. Например, на то, что искусство при большевиках останется свободным, и его отношения с новой властью будут примерно такими же, как отношения удельных князей с монастырями, которые «держали «для совета». При этом Мандельштам сознает себя принадлежащим тому «старому миру», который оплакивает, умирание которого становится темой его стихотворений в начале двадцатых годов: «Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи // В черном бархате всемирной пустоты», она же – «черный бархат советской ночи».

Вышедшая в Берлине в 1922 году книга стихотворений, написанных с 16-го по 21-й год, составленная Михаилом Кузминым и им же названная «Tristia» («Скорбь»), пожалуй, могла бы называться «Реквием» – реквием по Серебряному веку с картинами умирания Петрополя-Петербурга (русской культуры вместе с ее носителями) и спуска психеи-жизни «к теням» – в «греческий Эреб» (мрак), где «В сухой реке пустой челнок плывет // Среди кузнечиков беспамятствует слово». Примечательно, однако, что завершают книгу стихи об отпевании в Исаакиевском соборе, кончающиеся так:

*Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось свыше меры
В прохладных житницах, в глубоких погребах
Зерно глубокой, полной веры.*

Тема страха – как и тема преображающей его веры, находящей выражение в созданной ей культуре – одна из сквозных у Мандельштама. Тревожная, странная, тихая гармония первоначальных стихов разрывается «туманом, звоном и зияньем, рыданием аонид», шелестом загробных роц; смутный страх, в котором признается поэт, приобретает со временем все более гротескные, причудливые, как в ночном кошмаре, формы. Так в «Стихотворениях» – последней прижизненной книге стихов, вышедшей в 1928 году – предпоследним стоит напоминающий фантазмагории Босха сон о странных чернецах, пьющих чай с солью в обществе «балующей цыганки», с воткнутым в солонку ножом и с «брюхатым ежом» вместо хлеба на дубовом столе.

*Хотели петь – и не смогли,
Хотели встать – гурьбой пошли
Через окно на двор горбатый.*

Ощущение ирреальности происходящего усиливается от стихотворения к стихотворению, переходя в неподдельный ужас, когда глаз, смотрящий на отражающийся в воде ельник, превращается сам в «хвойное мясо» (в стихах о ссылке в Чердынъ после первого ареста в 1934 году). Та же, из Босха, картина видится Мандельштаму в окружающем его в начале тридцатых «литературном сообществе»:

*Там живет народец мелкий –
В желудевых шапках все –
И белок кровавый белки
Крутят в страшном колесе.*

Это колесо, но уже с «кровавыми костями», появляется и в знаменитом стихотворении о веке-волкодаве («мне на шею бросается век-волкодав»), обнаруженном при обыске и аресте в ночь с 16 на 17 мая 1934 года. Могла ли сложиться судьба поэта иначе, не напиши он своей «эпиграммы» на Сталина, что и было причиной ареста, смог ли бы он приспособиться, пополнив число «советских писателей», превратиться в «чесателя колхозного льна» наперекор себе, ценой отказа от «внутренней правоты» – вопрос праздный. «Отщепенец в народной семье», *христианин и эллин*, Мандельштам был обречен самим ходом вещей, чего не мог не чувствовать и, кажется, сам то и дело «нарывался», ускоряя развязку. Так одно из стихотворений (3 мая 1931 года) заканчивается парадоксальным признанием:

*Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи!
Как, нацелясь на смерть, городки зашибают в саду, –
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесу топорнице найду.*

Жить, нацелясь на смерть, искать топорнице для собственной казни – это самосознание жаждущего мученической смерти христианина первых веков, как и сам подвиг поэта – его «судьба и весть», говоря словами С. Аверинцева – есть склеивание своей кровью позвонков не только девятнадцатого и двадцатого века, но и первохристианской эпохи с эпохой «большого террора», а вместе с ней – с любой последующей вплоть до Второго Пришествия. Мандельштам знает, что «даром не проходит // Шевеленье этих губ», что поэзия, понимаемая как «ворованный воздух» («Я христианства пью холодный горный воздух»), добытый ценой смертельного риска в безвоздушном пространстве «глухоты паучьей», неизбежно ведет на крест. Причем в роли Иуды выступит в этом случае официальный представитель ненавистной Мандельштаму «разрешенной литературы» (прямой противоположности «ворованному воздуху»), а именно – первый секретарь Союза писателей СССР Владимир Петрович Ставский, чей фотопортрет, к слову, до сих пор красуется в коридоре редакции журнала «Новый мир». Именно по доносу Ставского, написанному «с коммунистическим приветом» лично наркому Ежову, Мандельштам был арестован 2 мая 1938 года в санатории в Саматихе. Жизнь его оборвалась через полгода – 27 декабря в пересыльном лагере на Второй речке во Владивостоке.

«Последние дни я ходил на работу, и это подняло настроение, – писал поэт брату Александру в единственном письме из заключения. – Из ла-

геря нашего, как транзитного, отправляют в постоянные. Я, очевидно, попал в «отсев», и надо готовиться к зимовке». До зимовки поэт не дожил, причиной чему – кроме всего прочего – был тиф. «В конце декабря, за несколько дней до Нового года, нас утром повели в баню, на санобработку. Но воды там не было никакой. Велели раздеваться и сдавать одежду в жар-камеру. А затем перевели в другую половину помещения в одевалку, где было еще холодней, – вспоминает Ю. Моисеенко. – Пахло серой, дымом. В это время и упали, потеряв сознание, двое мужчин, совсем голые. К ним подбежали держиморды-бытовики. Вынули из кармана куски фанеры, шпагат, надели каждому из мертвецов бирки и на них написали фамилии: «Мандельштам Осип Эмильевич, ст. 58/10, срок 10 лет». И москвич Моранц, кажется, Моисей Ильич, с теми же данными». «А дальше за дело принялись урки с клещами, – продолжает второй свидетель, А. Маторин, – меня они быстро выгнали. Прежде чем покойника похоронить, у них вырывали коронки, золотые зубы».

«Златозуб» – так из-за этих коронок прозвали Мандельштама во времена «Бродячей собаки», когда вряд ли кто-то из ее завсегдатаев предполагал, насколько действительность превзойдет самые мрачные предчувствия и ожидания, а сам поэт – «Божья птица», как писал о нем Георгий Иванов – был ходячим анекдотом. Но лишь до того момента, когда начинал читать стихи. Ахматова, вспоминая собрания Цеха Поэтов, в беседе с Георгием Адамовичем говорила об этом так: «Сидит человек десять-двенадцать, читают стихи, то хорошие, то заурядные, внимание рассеивается, слушаешь по обязанности, и вдруг будто какой-то лебедь взлетает над всеми – читает Осип Эмильевич».

«Миндальный ствол» – так переводится на русский его фамилия, сочетающая прямизну и кружево, которому Мандельштам уподоблял поэзию, говоря, что вся она состоит из «проколов», то есть – воздуха. И не становятся ли стихи в наше время отравленной экологии чем-то вроде кислородной маски? Во всяком случае – для тех, кто, тоскуя по мировой культуре, оставшейся в прошлом, уступившей место массовой культуре (антикультуре), не в силах дышать выпавшим на его век суррогатом мертворожденного «постмодернизма»?

*Из густо отработавших кино,
Убитые, как после хлороформа,
Выходят толпы. До чего они венозны,
И до чего им нужен кислород!*

Кажется, эти строки, написанные в 32-м, сейчас намного актуальней, чем тогда. Но едва ли в наше время исчерпавших себя утопий и упований на «прогресс» появится свой Миндальный Посох, едва ли найдется поэт, который, будучи не менее одарен, решится взять на себя ту же миссию *вестника*, каким сознавал себя Мандельштам, знавший, что «не бумажные дести, а вести спасают людей». Поэт таким образом уподоблялся в его понимании Спасителю. Творчество же понималось как «радостное богообщение, как бы игра Отца с детьми». «Как бы» представляется здесь совсем не случайным: игра, но в то же время и нечто большее, а именно – проявление любви, ставящее Отца вровень с ребенком, отвечающим Ему тем же любящим доверием. Богообщение, но – радостное; богообщение как радость и радость как богообщение.

*И Евхаристия, как вечный полдень, длится –
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.*

Этот акцент на неисчерпаемом, то есть не прерывающемся со смертью *веселии* в едва ли не единственном в русской поэзии стихотворении о главном таинстве Церкви возможен лишь через сопричастность поэта той радости, которая и составляет суть Евангелия – *радостной вести*. Ей и делится Осип Мандельштам в своей поэзии при всем ее предельном, на грани срыва в безумие, трагизме. Трагизм этот соразмерен трагизму эпохи, выразить которую можно, пожалуй, лишь на языке фантазматории в духе Иеронима Босха (почему именно в эту эпоху и оказался вдруг востребован прочно забытый «безумный брабантец»). Но вслед за ужасом распятия и субботним покоем следует Воскресение, и именно о нем – одно из последних стихотворений Мандельштама, стихотворение о женской красоте, лишь одухотворяемой таким изъясном, как хромота.

Посвящены эти строки Наталье Штемпель, преподавательнице литературы в одном из воронежских техникумов, впервые посетившей Осипа Эмильевича и Надежду Яковлевну (жену поэта) в начале сентября 1936 года. О прочтении стихов Наталья вспоминала так: «Осип Эмильевич сидел на кровати в своей обычной позе, поджав под себя ноги по-турецки. Я села на кушетку. Он был серьезен и сосредоточен. «Я написал вчера стихи», – сказал он. И прочитал их. Я молчала. «Что это?». Я не поняла вопроса и продолжала молчать. «Это любовная лирика, – ответил он за меня. – Это лучшее, что я написал». И протянул мне листок».

*К пустой земле невольно припадая,
Неравномерной сладкою походкой
Она идет – чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка,
И, кажется, что ясная догадка
В ее походке хочет задержаться –
О том, что эта вешняя погода
Для нас – прама-терь гробового свода,
И это будет вечно начинаться.*

*Есть женщины сырой земле родные,
И каждый шаг их – гулкое рыданье,
Сопровождают умерших и впервые
Приветствовать воскресших – их призванье.
И ласки требовать от них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня – ангел, завтра – червь могильный,
А послезавтра только очертанье...
Что было поступь – станет недоступно...
Цветы бессмертны, небо целокупно,
И все, что будет, – только обещанье.*

Юная учительница, опережающая, хромая, свою подругу, предстает измученному, затравленному поэту Марией Магдалиной – первой из жен-мироносиц и вообще первой, кому явился Воскресший. И нет ничего бессмертней эфемерных цветов – «травы полевой, что сегодня есть, а завтра будет брошена в печь». Не смотря на все разрывы и зиянья во времени, небо – духовна «параллельная реальность» – *целокупно*, а все, что будет – известно из обещания Воскресшего Его ученикам.

Смерть искусства? Но «врата ада не одолеют Церкви» (а она там, где хотя бы трое или двое соединены со Христом), и это залог того, что

*И пред самой кончиною мира
Будут жаворонки звенеть.*

ДЕСЯТАЯ МУЗА

Оксана КОСТКО

«ЖДИ МЕНЯ»

На этот опус меня вдохновила недавняя история: убеждая директора в своем королевском долготерпении, искусствовед Наталья Александровна Паромова резонно заметила: «Я умею ждать, не сомневайтесь... я восемь лет ждала, когда Паромов на мне женится». Как тут не вспомнить крылатую фразу «Терпение и время – нет сильнее двух этих великих воинов», с которой Кутузов одержал победу над Наполеоном. Но, несмотря на время, а эта гармоничная «пара, как два сапога», потому что сказать про них «одна сатана» язык не поворачивается, выдерживает финансовые и возрастные кризисы, кризы и прочие неурядицы....

В работах Бориса Ивановича всегда узнается «личностное»: мальчишки как две капли похожи на сына Алексея, героини – на автора, а женщины все списаны с одной натуры, с Наташи Паромовой. Вот она «дебютирует», еще хрупкая и юная, большеглазая и серьезная, в картине «Август». Замерла, прижав пластинку к груди. Диск фирмы «Мелодия» возле сердца – песня любви, которую они пронесли сквозь года. Он вальяжен и осторожен одновременно, вместо аллегорической трубки (все суета, всего лишь дым) в руках сигарета, это поколение «семидесятников», что привнесло на выставки художников философию – вечно сомневающуюся мудрость.

Здесь, среди обыденного городского пейзажа, они выглядят космическими пришельцами, даже стоят спиной друг к другу, словно держат круговую оборону. Она – всегда свято уверенная в его таланте, и эту веру не могут пошатнуть ни реплики коллег, ни резкая на оценку чужих работ художественная братия. Потому и находит нужную тему, сюжет и образ из арсенала мужниных картин почти для каждой выставки, и нужные слова, чтобы убедить кураторов и зрителей – так и должно быть! На мои стенания о кухне, ненавидимой всеми фибрами души, уже есть жизнеутверждающее: «А мой Борис Иванович утром спрашивает: «Ты, мать, опять лекцию готовила или статью писала – возле каждой кастрюли ручка лежит?». А я кашу мешала, торопилась, так ручки на кухне и оставила...». Зачем, спрашиваю, варите, если торопитесь? Утром, дай Бог, себя собрать, санитарную и декоративную обработку сделать!? – «Потому что гений должен быть сыт!».

Ни уверения Шекспира, что «любовь и голод правят миром», ни Марти Ларни, заметивший, что «мудрая женщина всегда отыщет ответ на любые жизненно важные вопросы в кулинарной книге», не впечатлили меня так, как история о том, что отведав «самостряпанного» пирожка, к мужчине приходит правильная мысль: «Можно жениться!», а если его не заставлять мыть посуду, придет не менее важная вторая: «Можно не разводиться!».

Не очень люблю песенку «Я назову тебя зоренькой, только ты раньше вставай ...и все успевай», но она, действительно, успевает. Прогуляться с супругом по старым улочкам Тюмени, объяснить гламурным дамам, почему картина должна стоять не меньше, чем кофточка в бутике (по-

тому что сам автор считает, что продавать картины ни к чему, лучше все их раздарить «потом»... Кому что нравилось), выстоять службу в храме.

Художники – народ специфический, но еще более непредсказуемы бывают их спутницы. Запрещая мужьям пускать «роковых женщин» на порог мастерской, они радовались, когда заходила Наташа – статная, равно великолепная в дорогих украшениях и в берестяной финтифлюшке. Ну, кто еще может сказать про огромные исторические картины Шилова, которым были тесны крохотные зальчики на четвертом этаже, где устроили персоналку: «Сразу видно, это по-настоящему БОЛЬШОЙ художник!».

Или заботливо приберечь, разглядить старые детские рисунки мужа, на которых его мама небрежно черкнула: «Боря, захочешь есть, сосиска в морозилке». Слова А. Дольского – «меньше всего любви достается нашим самым любимым людям» – не о Паромовых.

Тюмень – город, где все и всё друг про друга знают. И хотя Художественный фонд, вернее, обитатели мастерских ранее гуляли долго, весело и с размахом, о «междузоньях» Бориса Ивановича говорили почтительно, с придыханием. Все эти байки не смутили Наташу, хотя «хозяйку, умницу и «просто красавицу» окружающие попеременно знакомили, одна бабулечка-смотритель даже родственника «на выставку» пригласила. Прикатил «лихач на самосвале». Но «умела ждать, как никто другой!» многоуважаемая Наталья Александровна! И не только...

Вы смогли воскресить художника в вере не только в то, что он действительно художник, но и в то, что женщины не всегда смотрят на себя глазами чужой зависти. А, значит, не нуждаются в гардеробе, где даже моль не расправит крылья, потому что для крепости и лада в семье художника нужнее краски, холсты и подрамники...

Иногда я теряюсь: так кто же из них Пигмалион, а кто – Галатея? Но он восстанавливает ту сюжетную справедливость красивой античной истории своими картинами...

УКОЛ ЗОНТИКОМ

По стенам мастерской, по ранжиру на антресолях у него гнездятся разные полотна. Не сомневайтесь, все ему давно перепозировали – «дома и дамы, образы и лики». Меняя «города и имена», выставляя на каждой отчетной выставке «великолепную пятерку» новоиспеченных картин, виртуозно управляясь с различными техниками – от легкого карандаша до прижаренной к металлу эмали, он показывает действительно новые вещи.

На то он, простите за банальный каламбур, и Новик. Александр Сергеевич. Но есть работы, которыми он особенно дорожит. Одна из них – светоносная «дама под зонтиком».

Неизвестно, прячет она свое личико от солнца, или укрывается от жизненных бурь. Доподлинно известно другое – когда в присутствии «потенциальной интересной модели» звучит монолог «старого солдата, не знающего слов любви»: «Мне так трудно угодить, но когда я увидел Вас..» – наивные барышни могут не сомневаться, их всех ждет «Укол зонтиком».

И пусть художник, первоначально честный и трепетный в отношении с натурой, так по-мальчишески, по-босаяцки, по-бойцовски (но как талантливо!) восторженно следующий черными линиями по белому листу за капризными очертаниями обнаженных тел, теперь осмелел. Это не

просто листы, где есть дама-линия, дама-пятно, дама-руки, дама-профиль или еще чего-нибудь на букву «П», дама-ракурс или жест. Как опытный ловелас, который может навязывать натуре свои правила игры, словно процесс гораздо упоительней результата, Новик не собьется на лощеный реализм, на гимн неземной красоте...

Его живописное, стихийное откровение, как в наивном искусстве, обведет вас своей наивностью и откровенностью вокруг пальца. Вот в лицо летит комок фузы – пестрой красочной массы, оставшейся после чистки палитры, как дерзкая фраза или брошенная перчатка, и тут же грани мазков собираются в граненый самоцвет, у ног окажутся «ладони ночного столика» или «ананасы в шампанском». Дальше – больше: вот ровные пятна цвета гранят белые плоскости, словно после наслаждения от работы живой образ становится бесцветным, меркнет и вянет перед сочно-красочным двойником, почти синдром Дориана Грея.

Все эти цветовые и ритмические модуляции, что кажутся неискушенному ушку серенадой, – не более, чем распевка. Если будет печататься каталог или альбом, не факт, что этот холст туда попадет. Но там точно будет торжественно восседать «Дама с зонтиком» или «под зонтиком», что в нашей истории не так уж важно.

«То горячие до красноты, то холодновато-голубые» – это не только «про звуки – грустные, веселые, любые» из советской песенки. Это про милых муз, что разметнули свои кругло – розовые, «клубничные» или лазурные гибкие тела по горизонталям и вертикалям. Они, как любимая поэзия Серебряного века, что подразумевает скрытое содержание в простой и явленной форме. В них впечатляет построение и ритм, красота и яркость эмоции, их тела переходят в пейзажи и натюрморты, а образ сменяет образ, как одна натурщица сменяет другую. Впечатления от них тоже разные – спокойствие и нега, удивление, восторг или страсть, но их абстрактная красота слишком возвышенна, чтобы щекотать нервы ревностью или желанием. Вулканическая лава или вселенские катаклизмы, рождение или распад – сбитая в комок масляная краска на ваших глазах превращается в бенгальские огни праздника, победные салюты, твердеет и кристаллизуется, как выброшенная из жерла лава. Все, что останется от модели – некий остов погибшего корабля, что напоролся на рифы кораллов. Где-то еще смутно угадываются контуры и округлости тела... В этой контактной магии вы проникаетесь той безоговорочной верой послушного дикаря, что смысл живописи в ней самой, а не в вашем приходе в эти стены, голубушка. Да, перед уходом, прощаясь с мастером, не забудьте поднять глаза на стенку. На вас даже не оценивающе, а победоносно зыркнет с картин некто и нечто смутно знакомое: «Мы с Вами где-то встречались» – «ДАМА С ЗОНТИКОМ!».

ЛАБИРИНТ МИНОТАВРА

Не верьте, если вам скажут – в мастерские барышни ходят исключительно... ну, сами знаете, зачем... Приходят даже не позировать, не с практической целью, а просто – поговорить. За таким разговором о форме и содержании в искусстве вспомнили Гену Вострецова. Вспомнили добрым словом «молодец мол, сумел ухватить свой любимый пластический мотив и остался ему верен» (жены могли бы завидовать такому постоянству!). Барышню М. я не знала, но слышала, что она была востребованной натур-

щицей и классной моделью. Те времена, когда советские тети гордились крепостью постдейнековских и постсамохваловских физкультурных тел и всеми мышечными и жировыми массами, присущими человеческому телу, достойно воплощали массовое искусство, их дети уже возлюбили джинсы предподросткового размера и все, что туда вписывалось при вздохе лежа. Почему начинающим свой путь в искусстве легче дается мужская натура, в отличие от женской – понятно: чем четче форма, тем легче ее распознать. О любви к женщине-андрогену тоже написано немало, но у Вострецова она и не была мальчишкообразной...

Перешагнув порог мастерской скульптора, будьте готовы к тому, что застеленное самой чистой драпировкой гостевое кресло будет не совсем чистым: глина, пластилин, цемент, пролитый чай и счастливо занимавшая его до Вас кошка уже пометили территорию. Но об этом забудешь через пять минут, потому что начнешь разглядывать все эти тела, головы и пронзенные каркасной арматурой заготовки к ним, а еще через пять будешь созерцать некое феерическое действо.

И Пушкин, и древние философы, сатиры со включенной шевелюрой и волоокие нимфы – все явится слуху и взору в «театре одного актера», где не нужны ни грим, ни декорации и даже зритель. Даже предложение стать прототипом мудрой Царицы Савской не более, чем дань уважения. Она может быть только как барышня М – с просматривающейся без услуг рентгенкабинета грудной клеткой и таким впалым животом, который я смогу представить у себя после тотальной трехмесячной голодовки, и то в лежачем состоянии.

Вот парочка измождено утонченных особ держат в руках сферы молочного стекла. Уже проступившие туники и сандалии выдают в них новых «сестер Цезарей и жен Гракхов».

– А как же Венера Медицейская? – робко встречаю в монолог я. – Разве могут быть кариатиды а-ля грэк, пусть даже ставшие подсвечниками в ресторации, так анемичны? А как же пропорции, идеалы, канонические образцы?

– Это пожелание заказчика, – обрубает Гена.

Но я то знаю – все, что выходит из этих рук, головы и души – уже обречено... И этот тяжелый низ, где все утрировано, гипертрофировано или вывернуто на всеобщее обозрение, а попа, словно две дольки яблока – не просто выполнение элементарных законов и пожеланий природы «легкий верх – тяжелое основание». Вот эта масса поднялась на цыпочки, а волнообразные потеки и брызги застывшего металла, ставшие по воле мастера копной волос, вернули равновесие. Выпирающие клинья груди и торчащие бедра буравят пространство, как острие тарана.

«Серовские» бедра Иды Рубинштейн – просто отдыхают! С этими сосцами могут сравниться разве что рога и рельефные блоки на теле Минотавра, где прочие торчащие и выпирающие части должны усилить наше представление о необузданной звериной силе и горькой участи невинных дев, загнанных в Лабиринт. Древняя сказка о Красавице и Чудовище еще лишена буржуазного хэппи-энда.

Все его герои – от Минотавра до Пушкина – прекрасны не по логическим понятиям, но по торжеству парадокса. Их обаяние в том, что внешность контрастирует с энергетикой, ибо художник отчасти изображает сам себя, как предсказал великий Леонардо. А в каждой женщине – свою Музу, Мону... Вечную Женщину... для Гены – Вечную М. Вот в мастерской новая работа – скульптура для набережной, что я успела мельком обозреть,

пробегая мимо... Как не похожа она на купчих и дородных мещаночек, чьи фигуры – гантельки в корсетах остались на старых фото. Это призрачное эхо прошедшего времени – тонкое, хрупкое, вот-вот растает, правда, все анатомические особенности заботливо скрывает ретро-костюм. За нее это «сакральное обнажение» сделают девушки в мини, прогуливающиеся по набережной в жаркий летний день...

ЭТО ЖЕ РАЙШЕВ!

Впервые, после того, как был обустроен зал «искусства Севера», Наталья Николаевна Федорова собрала нас, экскурсоводов и научных сотрудников Музея ИЗО, на методзанятие. Она сама формировала коллекцию, блестяще знала все тонкости и детали, но равномерный ритм ее голоса действовал на меня, словно сеанс гипноза, я плавно погружалась в анабиоз...

И вдруг она, изменившись в голосе и в облике, напряглась, словно гитарная струна. Ее голубые глаза стали свинцово-сапфировыми. С особенным, неповторимым и непередаваемым чувством грянула: «Это же Райшев!». Делая ударение на первом слоге, акцентируя внимание, она растягивала гласную, поэтому в наших ушах его имя звучало, словно египетское божество Ра, и это «ра» еще долго отзывалось и резонировало, отражаясь от стекол витрин. Энергетика имени оживала в красках и силуэтах. Я рассматривала «Весельных человечков» и «Хантейских баб», пытаюсь вникнуть в важность и суть момента, их идолообразные цветные лица несколько отличались от моей «любимой» классической подачи, но мне хотелось понять...

Они были очень похожи – компактные, изящные, немного капризные. Внешне очень «белая и пушистая», Наталья Николаевна становилась очень волевым и жестким человеком в нужные минуты. Помню, как закупочная комиссия делила мизерную сумму, что выделили на приобретение работ в музей. Обычно пополнения планировали вперед, справедливо распределяя между отделами, чтоб не было обидно. Неожиданно принесли уникальный костяной гребень работы Терентьева, чье имя на слуху у тех, кто знаком с историей косторезного промысла в Тобольске. Раритет! Но тогда от закупа должен был отказаться «очередник», которым оказалась Федорова с коллекцией картин, сами догадайтесь – кого? С этой же интонацией, одна против 10, она произнесла магическое «Это же Райшев!»... и купили Райшева.

Третья моя встреча с его «ареолом» состоялась, когда зимой в кабинете с огромными окнами, где было мое рабочее место, стоял жуткий холод. Временно меня подселили к Наталье Николаевне, чему она не особо обрадовалась. Когда ритуал выкуривания вероломной Лисы из Зайкиной избушки стал вялотекущим, мне было объявлено: «Чтоб Вас завтра здесь не было, мне нужно паковать Райшева!». На следующий день, когда я пришла на работу, мой стол стоял плотно придвинутым выдвижными ящиками к стене, и на нем кроили картон наши реставраторы...

Геннадий Степанович оказался сколь талантлив, столь же востребован и плодовит, издавались альбомы, устраивались персональные выставки. Набирающая научный интерес национальная тема «финно-угорские» фестивали, «медвежьи праздники» вскоре стали брендовыми, как и сам мастер. В Ханты-Мансийске был создан его музей, а в музее должна быть

Муза. Не спрашивайте, кто получил этот почетный титул и стал душой и сердцем музея его имени и его работ. Уезжая, она оставила нам ЦУ – «ничего без надобности и спросу не трогать» (Это же...).

А зал мне действительно очень нравится. Люблю приходить сюда с музейщиками, архитекторами, иностранными гостями. В отличие от обычной публики, с ними можно поговорить без напора или пафоса об этом замечательном искусстве, о художнике.

Мне запомнилась встреча с мастером в нашем «подвальчике», где все научные обитали. Он рассказывал о себе очень интересно, но столь же ровно, монотонно и даже тихо, и чувствовалось: он знает силу и уникальность своего таланта. Я выпросила у него автограф. Он поставил подпись и легким движением шариковой ручки нарисовал очаровательную «Бабу в платочке». Обнаружив этот листок на письменном столе, мама стала проверять на нем, пишут ли ручки и карандаши в доме. На мои вопли и стенания «Это же Райшев!» она лишь недоуменно дернула плечами. Увы, из моих уст это звучало не так всемогуще...

КРАЕВЕДЕНИЕ

Василий ДВОРЦОВ

ЕРМАК

Поэма

Ради исправления приказного устройства, законообновления и очищения нравов сотворил Государь благоверный Царь и Великий князь всея Руси Иван Васильевич в год от Рождества Христова 1565 опричнину. И обрёл народ русский в него веру, собралось Царство Московское с силами на отпор грабителям Севера и работорговцам Юга.

Тогда выращенный при дворе Оттоманского султана Крымский хан Давлет Первый Герай, по указке Стамбула и при поддержке оружием и янычарами от мелких набегов на Русь и Черкесию за рабами перешёл к полной войне, вознамерившись взять под себя Казань и Астрахань, дабы восстановить Золотую Орду. В году 1571 крымцы даже сожгли брошенную воеводами-предателями беззащитную Москву. Но на другое лето 25-тысячное русское войско под предводительством князей Михаила Ивановича Воротынского и Дмитрия Ивановича Хворостинина в битве при Молодях разгромило сборную 120-тысячную армию турок, крымцев и нагаев. В том сражении в полку Хворостинина отмечен был казачий атаман Василий Оленин по кличке Ермак. «Эрмак», «эрмэк» на тюркских языках значит – «одиночка», «чурающийся семейной жизни».

Сойдясь в ненавиденьи Святой Руси, Султан Стамбульский и Епископ Римский подкупами и угрозами поставили в 1574 году на престол Речи Посполитой венгра из рода изуверов-колдунов Батори. Был тот Истван-Стефан Баторий весьма искусен в науке военной, и, получив в наём солдат из многих стран, сумел остановить русских, и за восемь лет отжал на исходные рубежи. А ещё тот Баторий, сам из лютеранства перейдя в латинство, запустил и укрепил в Польше и Литовской Руси иезуитов, лютых врагов Православия.

Под началом князя Хворостинина прослужил Ермак в опричных войсках десять лет, бился против шведов, поляков и литовцев, освобождал Русь Киевскую. От князя научился он полководческому искусству. Надобно напомнить, что Дмитрий Иванович Хворостинин по своим временам был непревзойдённым военачальником. Стратег нового мышления, он задумывал сложнейшие построения и переходы для войск по ходу боя, хитроумно используя лёгкую артиллерию вкупе с передвижной крепостью – «гуляй-городом». За свою жизнь не проиграл Хворостинин ни одного сражения, даже в противостояниях с десятикратно превосходящим противником. За талант свой, храбрость и преданность Дмитрий Иванович был любим Царём, и, хоть княжеского рода, но захудалого, поднят Иоанном Васильевичем до воеводы Большого полка через опричнину, в обход родословных препон. В той-то опричнине сошёлся Хворостинин с тоже призывником первого набора, человеком святой веры и непреклонной верности Строгановым Аникой, богачейшим промышленником, прозорливо оплачивающим многие начинания Государя.

В 1563 году, вырезав род местных правителей Тайбугинов, в Сибирской столице Искере воцарился жестоковыйный Кучум, сын одного из последнего ханов Золотой Орды Муртазы, внук Ибака – повелителя Тюменской и Большой орд, потомок самого Чингисхана. Вступая на Искерский престол, Кучум подтвердил Руси ясачное подданство Сибирского ханства, но, видя завязанность Москвы в дальних войнах, скоро обнаглел и дань платить не стал. А потом и вовсе замыслил воровской союз с ногайской Большой Ордой и Казахскими ханами для большого похода на Русское Царство. Сам бы Кучум по низким северным перевалам Урала ударил на Пермь, и далее – на Псков и Новгород, а южные орды через Башкирские степи вышли бы на Астрахань, Казань в помощь к взбунтовавшим уже черемисам.

Наследник земель и заводов Прикамья и северного Зауралья, внук почившего Аники Максим Яковлевич Строганов, хоть и был с двоюродным братом Никитой тоже вписан в опричники, но в младший набор, и не имел прямого входа к Царю. Потому с доносом о Кучуме, готовящем удар в спину Москвы, обратился он к доброму другу своего деда, воеводе Большого полка князю Хворостинину.

Случилось сие в самое начало 1582 года – шли беспрестанные многоместные бои от Псковы до Днепра, и у Хворостинина не было свободных сил. Поэтому призвал князь своего опричного сотника и казачьего атамана Ермака-Василия Оленина, и наказал тому отправляться на Яик, дабы набрать там вольных охочих людей под расчёт из ханской кучумовой казны, буде Искер у того захвачен. На Яике Ермак нанял две станицы – двести казаков атамана Брязги и триста казаков атамана Кольца, и отвёл их к Строгановым.

К тому сроку братья Строгановы выкупили из крымского плена триста немчинов – венгров, шведов, германцев и поляков – мастеров пушечного и ружейного дела. Снаряжённый отряд выступил на ладьях из Кай-городка осенью того же 1582 года. И понятно, что ни о каком завладении страной, просторами превышающей Московскую Русь, речи даже не заводилось! Задача перед столь невеликим, хоть и составленным из лучших стрелков и рукопашников отрядом стояла остро ножевая: войти-проникнуть в Сибирскую столицу и убить клятвопреступника хана Кучума, тем расстроив готовящееся вражеское объединение.

Выросший на реке Чусовой и потому хорошо знающий места, Ермак провёл тяжело нагруженные лодки с людьми, оружейным запасом и фуражом в обход торных речных путей мелководьем, по возможности прижимаясь к Уральским горам. Такой хитростью отряд пропустил мимо себя тумен в десять тысяч, вышедший на грабёж Пермской Руси. Об том нападении искерских татар с пелымскими вогулами на русские городки и сёла и наябедничал в Москву Чердымский воевода. Не посвящённый в планы Хворостинина и Строгановых, воевода требовал царской кары ермаковским казакам за набег, что якобы раздражил «мирных» татар.

Ермаковцы же, перезимовав скрытно, вдруг да появились весной в самом центре ханства. В несколько сражений разбили они разрозненные силы Кучума и захватили столицу Сибири Искер-Кашлык. Услыхав о том, поспешила Большая Орда подтвердить своё верноподаничество Москве, и башкиры уверили в вечной дружбе.

Да только не смогли казаки исполнить главной задачи – обезвредить-убить вора и зачинщика противорусских происков – хана Кучума...

Отправив в Москву самого грамотного из соратников, молодого атамана Ивана-Черкаса Александрова, Ермак выслал в казну найденный в Искере задолженный ясак соболями, бобрами и лисицами, да пленённого им татарского полководца Магомета-Кули, с известием о возвращении Божьей милостью Сибирского царства под государеву руку.

С радостью Царь Иоанн Васильевич простил покаявшихся разбойников из отряда Ермака, в первом числе – атамана Ивана-Кольцо, прежде много прегрешившего против Государя на Волге и Яике. Так же повелел Государь щедро наградить Василия Оленина со товарищи.

Но не случилось Иоанну Васильевичу увидеть укреплений своих владений на Востоке. Не завёл он острогов-крепостей по Тоболу, Иртышу, Оби и Томи, не отправил за Камень ни служилых людей, ни купцов, ни попов, ни хлеборобов оживлять дальние пределы Руси. Скончался скоропостижно и загадочно. Сын же его, Царь Феодор Иоаннович в дело не вник, и посланный было к казакам в помощь полутысячный отряд стрельцов, не имея должной одежды и припасов, в первую же зимовку вымер от голода и стужи.

Кучум, палимый природной злобой, всю оставшуюся жизнь свою посвятил мести. Более всего мучил его отказ в помощи родственника-шейбанида Абдаллах-хана Первого, повелителя Ташкента, Бухары и Ферганы. А дело было в том, что прознал Абдаллах-хан про англичан, что, получив от Строгановых отпор на Двине и Каме, искали корабельный проход в Обь. Предполагали-де те английские купцы вывозить китайские товары в Европу по Иртышу и Оби, прокинув прежние караванные пути до Чёрного моря. Потому Абдаллах со своими советниками и порешили, что лучше отдать Сибирский юрт врагу Англии Руси, чем потерять основные свои доходы.

Гордыня язвила душу и тело бесприютного Кучума, не давая покоя ни днём, ни ночью. И через много лет, почти слепой и глухой, нищий и преследуемый теми, кого убивал в прошлом и унижал, слал Кучум ответ своим детям, давно уже служащим Белому Царю и призывающим отца к себе на упокоение старости: «Вы – князья, вот и служите. А я – Хан!».

Опираясь на дружбу и уважение настрадавшихся от южных захватчиков местных вогульских, остяцких и татарских владык, целых четыре года малочисленный отряд Ермака удерживал в законе и справедливости народы Сибирского царства. Вовремя предупреждаемые князьками-тарханами, казаки молниеносными вылазками не позволяли врагам Руси сосредоточиться, собраться. Но теряли-хоронили товарищей после каждой такой сечи или подлых засад, то и дело творимых кучумовцами, и сокращались-таяли числом, а потом лишились и своего славного предводителя...

Только при Царе Борисе Феодоровиче Годунове начала Сибирь осваиваться основательно.

МАТЕРИНСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, сынок, спи, сынок,
В небе Лось-Шестиног.
Муж-Луна в зелёный бубен
Закликает ветерок.
Спи, спи, спи.
Спи, сынок.
Лебедь спит, спит Медведь,
Перестал родник звенеть.
Ночь строга,
Спит тайга.
И тебе заснуть пора.
Завтра раненько с утра
Солнце-Бабу нам встречать,
Мёдом росным угощать.
А пока всем дружно спать.
Спать, спать, спать.
Спать.

Сыночек-Василёчек мой! Спать, спать, спать...
Что ж время быстромётно так? Спать, спать, спать...
Едва засуетилась я, как люлька раскололась,
А лишь отец заторился, так ты сломал кроваточку
И в балку потолочную упёрся головой.
Сыночек-Василёчек мой! Спать, спать, спать...
Зачем ты вырос наскоро? Спать, спать, спать...
Зачем грозишь покинуть нас и отчий дом с добром?
Сыночек-Василёчек мой, остался бы малюточкой,
Ещё бы на годиночку, хотя бы на одну!
Тебе в судьбу вплетала я овсяные соломинки,
И пуповину прятала под лиственный порог.
Когда сосцами вспухшими тебя я сладко сытила,
Живицу солнцесмолую всосал ты с молоком,
И землянику с мёдами, и дух цветов полуденных,
И небо в белых рябинках, и чуткой рыбы тень.
Пески земли Прикаменной в твоей крови растворены,
Течёт по жилкам чистая водица Чусовой.
Сыночек-Василёчек мой! Спать, спать, спать...
Гусёнок-лебедёночек... Неужто всё напраслина?
Кукушка просчиталась ли, глухарь ночей не счёл –
Едва-то отвернулась я, отец чуток рассеялся,
Как оборвал ты вязочки и вышел за межу.
Куда, красавец-умница? Куда, силач-поленица?
Куда походкой лёгкою, в какие казаки?
Сыночек-Василёчек мой! Не уходи в то марево!
Не уходи в невиданность, в неслыханность, к чужим.
Ну как же я покрою там гусёнка-лебедёночка,
Тебя, мою малюточку, обороню от бед?
Как я, уж слабосильная, рассею тучи чёрные,
Как я, уже негромкая, до тех краёв мороженных
Сумею, сноровлюся как, в ту ночь докричать:

«Сыночек-Василёчек мой! Не спать! Не спать! Не спать!!
Кромешно воры близятся! Не спать! Не спать!!
Убийцы скрытно тянутся, сыночек-Василёчек мой,
И речка бурно крутится – не надо спать!!» .
Сыночек-Василёчек мой...

В небе Лось-Шестиног –
Ты не спи, не спи, сынок!
Муж-Луна в зелёный бубен закликает ветерок...
Ты не спи! Не спи, сынок!
Ночь строга, спит тайга...
Не слышать шагов врага –
Ты – не спи!!

ЦАРЬ ИОАНН ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ

Всемогущая святая
и живоначальная Троицы,
Отца и Сына и Святаго Духа
во единстве покланяемого, истинного Бога нашего
милостию сподоблены мы, смиренный Иван Васильевич,
нести крестonosную хоругвь Православия на Российском царствии
и во иные многие царствах-государствах, великих же и малых княжествах.

Обручил Господь юнца со державою...
Поручил дитя тяжким скифетром.
Отрок сел на стол с вещим сирином.
В малолетие сиротливое,
В худотелие немоцливое.
Посредь алчных псов, лихоимщиков,
Свар и смут мятежных зачинщиков,
Меж воров-бояр, меж поместников
Агнец кроткий встал против резников.
Обручил Господь юнца со державою –
Поднял скорби я вкупь со славою.

Мне ль не знать, каково оно сиротствовать...
Иль напомнить об одинокости?
Но не бросил Данила в кротости
И не кинул Ивана в слабости,
Господи, по Твоей всё благости!
В прозорливое назидание –
Не искать греху оправдание.
Не искать от добра барышности,
Не топить свой страх в льстецкой пышности.
Мне ль не знать, каково оно сиротствовать?
Через то научен господствовать.

Милостью, Господи, твоею милостью!
И не похотью, а породю
Ставлен я царём, воеводю,

Ставлен судией и учителем,
И указником, и смягчителем.
Ставлен я Тобой, Господи,
Житием своим творить проповеди.
Быть отцом для всех равнолюбящим,
Нетерпимо злотворцов рубящим.
Милостью, Господи, твоею милостью...
Кровоточною изъязвимостью...

Грозный Ангеле!
Возвести ми конец мой,
да покаюсь злых своих дел горько,
да отрину от себя всякое бремя греховное.
Страшный Ангеле, не устраши мене маломощнаго.
Даруй ми, Ангеле, свое пришествие и напои мя чашею спасения.
Да весело потеку во след твой с молением – не остави мене сира.

Черни ли ведать воленье Господнее...
Не земным рядить, кем мы прожили –
Сердце царское в длани Божией.
Слышу в вышних я воструб голоса –
Не спадёт с моей главы волоса,
Не ужалит ад моей пятицы.
На Литве иуде не спрятаться,
Христогонам смерть всюду лютая,
По грехам людей земля рудая.
Черни ли ведать воленье Господнее?
Зреть ли кому вериги исподние?

Русь моя, дочь моя и славутица...
Царь тебе миропомазанный –
Оберегщик и страж заказанный,
Страж недрёманный добродетелей,
Душехранник сквозь лихолетия.
Чистотой твоей век заботиться –
На Суде с меня страшно спросится.
Власть моя, что клеть золочёная:
Русь – невеста Христу речённая.
Русь моя, дочь моя и славутица,
Выжгу я в тебе беспутницу...

Выжгу-вырублю, до костей псом выгрызу...
Жезлом выбью дурь, палом выкурю,
По грехам вложу в клещи мытарю.
Как парша, ползёт рать бесовская –
Ересь папская да жидовская.
Кто, как Царь миропомазанный,
Исцелитель на то посаженный,
Остановит смерть встречной смертию,
Осечёт соблазн твёрдосердием?
Выжгу-вырублю, до костей псом выгрызу...
Русь до святости саблей выскоблю.

Тело мое
изнемогло,
и дух болезнует.
Струпы душевные и телесные умножились,
и нет врача на земле, что б нашёл исцеление для меня.
Ждал я, кто со мной воскорбит, но нет никого. И утешителей не сыскал я.
Так воздали люди мне злом за добро, за любовь же непримиримой
ненавистию.

Царь игуменом стал за землю Русскую...
Да не *ис пола эти*, деспота!
«Исполать» ваша лживо мерзкая:
Архиереи погрязли в вотчинах,
Синедрионы наушно склочные,
Иноки пошли в ростовщичники –
Кто ж столкнул Ивана в опричники?
Свёл задруг святою порукою,
Чтоб молитву творить сугубую?
Царь игуменом стал за землю Русскую
И пошёл с помелом, псов уськая.

Милостью, Господи, твоею милостью
Новая почалась история:
Преклонились Казань с Ливонией,
Астрахань с Мордвой, с Черемисами
Понесли ясак – меха с ризами,
То Руси ко свадьбе приданное
Ей к очелью подвеска славная.
Глянь, Жених-Христос, как с лампадою
Ждёт невеста Тебя, честью радуя!
Милостью, Господи, твоею милостью
Воссияла Русь сквозь тьму истиной.

Ополчилась тьма на Царя Московского...
На единственно Православного.
И султан, и папа тщеславные
На Россию зевы разинули,
С двух краёв своих рати двинули.
Двадцать лет уж война-побоище
Обращает мир в пепел и гноище.
Шведы, крымцы, литва с ногаями,
Мои земли людом истаяли.
Ополчилась тьма на Царя Московского...
Ангел выжег сердце отцовское...

Тело моё
изнемогло,
и дух болезнует...
Страшный Ангеле, не устраши мене маломощнаго...
нести крестоносную хоругвь Православия на Российском царствии...

ХАН ДАВЛЕТ I ГЕРАЙ

Орду вёл из Крыма – сто двадцать тысяч! Крымцев, ногаев, осман,
янычар...

Сто тысяч убиты, в урусах забыты... В джана-душе зацвёл анчар.

Ночами знаком беды восходила, горем грозилась звезда Кейван.
Под Молодью головы в пыль обронили мои Хаспулат и Шардан.

Я слышу стоны своих пехлеванов – зачем не умер тогда я сам?
Сынов своих вижу смертные муки... Меня, Джабраил, зачем спасал?!

Батыры Орды слегли вдоль Пахры ... Горы мёртвых вовек не убрать.
Кефе не видеть рабов-кафиров, рабынь-христианок Стамбулу не знать.

Над горькой полынью призыв на молитву, звучит одинокий азан.
Не скоро родятся в аулах галибы, чтоб вновь полонять москвитян.

Орду вёл из Крыма – сто двадцать тысяч... Сто тысяч слегли без могил...
Сто тысяч ногаев, османов и крымцев Кейвану в урок заплатил.

ИСТВАН БАТОРИ – КРОЛЬ СТЕФАН

Gloria dare petram! –
Участи слава!

Посмевающая принять порфирный
Константинополя черёд
И своеенравно весть свой род,
Не внемля «Городу и Миру»,

Наследничеством византизма
Московия обречена –
Infernum tuleris, страна
Лукавой тьмы и фанатизма!

Века борьбы, века тиснений,
Века бескомпромиссных битв.
Вражды, проклятий и молитв,
Торгов, интриг, отрав, растлений...

Но вот свелись и срок, и место –
Захлопнут ортодоксов мир
Внутрь ятаганов и секир
Последним отступом над бездной.

И срок, и место без сомнений:
Зажат гяур и еретик
В кругу разгневанных владык
Орд, султанатов и империй.

Стокгольм и Прага ... Лютер, друзья ...
Шираз и Рим, Сарай и Гданьск ...
Социст и суфий, францисканск –
Все, все сошлись в одном союзе,

В желанье гибели России.
В решимости стереть с земли
Её погосты и кремли,
Её ученье о Мессии.

Right: aethiops non albescit –
Нет, эфиоп не отбелит.
Славянством status не вместим,
Медведя папа не окрестит.

Iumenta rex, domin servorum!
Скотов владыка, царь рабов, –
России свалкой быть гробов,
Тебе прослыть кровавым вором!

Боец и маг – того не зная –
Из рода древних колдунов,
Я избран средь Шомье сынов
Синклитом истинных хозяев.

Рождением венгр и лютеранин,
Османской силой Польши Кроль,
Я – сублиматор тайных воль:
Я – сын Imperium Romanum

И сателлит Magna Soldanus...
Из Трансильвании щелей
Меня ввели в ранг королей,
Чтоб яды все сочатовались.

Лишён наследников и права
Прокладывать свою судьбу,
Я принял ордер на борьбу
С московской дерзкою державой.

Предназначение моё –
Сжить православную вселенскость –
Потомков Рюрика надменность
Закончит мною бытиё.

Во мне все ненависти слиты.
Все ярости, что до тоски,
Змеиной вязкою в тиски,
В клубок вокруг души завиты.

Всего лишь слово бесит – «русский».
Только звучанье – «московит».

От них мне горло леденит,
И ворот делается узким.

ОЛЕНИН ЕРМАК-ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

Родина... Радость... Родник. Сенокосы...
Родина снегом по грудь и до крыш...
Майские ветры, ливнёвые косы.
Неба ночного краплёный черныш...
Сказки с лежанки такие густые
Тянутся, тянутся, сладко сопят.
Люди лесные и звери святые
Любят и люлят сопрелых ребят.
Всполохи тихо под печью рябят.

«Кровь наша с века свободолюбива» –
Прадед и дед из кукушкиных гнёзд. –
«Доля ж бродяг не особь прозорлива,
Слишком подвластна вычурам звёзд».
Где оно, счастье? В каком государстве,
В княжестве или станице какой...
В чём оно, сладкое, – в барстве? в бунтарстве? –
С памятью выжженной да воровской
Прадед истаял, теснимый тоской.

Дед не нажил ни сохи, ни толкуши –
Лишь старобылки да байки в углу.
Так что, исклёван жар-птицами в душу,
Батя невесту привёл из вогул.
С битвой, с погонею дочь Куучая
Выкрал бийкему аж с Конды-реки.
Днями Аима упорно молчала,
В полночь чуть слышно под бубен пурги
Голосом робким себе напевала.

Пела Аима о братьях-медведях,
О шестиноге-лосе средь планет...
Куклу слепую согрел на коленях,
Пела жежёнка в четырнадцать лет.
А через год те же самые песни
Русскому сыну баюнила мать:
«Тётушка-солнце кочует вдоль бездны...
Утром встречать да росой угощать...
Всем же пока засыпать. Засыпать»...

Где падёт доля туме-полукровке?
Мать из кочевий, бродяга отец...
Спуда нет в доме по силе-спорровке –
Первый в походах пластун и гребец!
Вешний восторг ледяные заторы
Брал наводненьем, взметая лузгу, –

Бегали юркой ватажкой за горы,
В тайны Югры, в ведовскую тайгу
Чудо влекло под цветную дугу.

Родина... Радость. Захлёбная сила,
Что возносила стрижом в облака,
За погорелье малиной манила,
Август ловила на нить паука...
Отроки полднем острожили щучек.
Листьев шершавный последок кружил.
Капли шиповника между колючек.
В черни узорочья врослей-жил
Глыбой зелёной налим-старожил...

«...Издавеча-далёва, из-за гор-гребней, по-нда чисту полюшку
Пролегала поршёная дороженька, таборами-обозами торная.
Что никто по той дороженьке дондеже не прохаживался,
Никто следочку живого по широкой поныне не прокладывал.
Только шли-прошли казаки с моря синего, со лихою своею добычею...».

Как уманили, на чём подвертели,
Сказкой-арканом какой увели
Вольные люди казацкой артели
Яицкой дикой и гордой земли?..
Сабля, шишак, епанча и топорик,
Ладанка Божья, чеснок-чертогон –
Ладный сердюк встал – и ловок, и боек,
Учится сходу и держит закон.
Братство такими растёт испокон.

«...Не былиночка-то в диком поле одинокая шатается –
Молодец казаченька во поле том гуляет-потешается,
В одной тоненькой на плечах холстяной рубашечке.
У рубашечки той рукавчики-то наверх подзасучены,
Алой кровью бусурманской позабрызганы...».

Струги под парусом, струги на греблях –
Волга до Каспия, Дон в Аузак –
Лёгким проходом по степям и в дебрях –
К персам и в Крым по кровавый ясак.
Лето за летом – жестокие сшибки,
Год через год – чья-то гибель иль плен.
Кабы был алчен, да жлобен не шибко,
Пивом-вином и гульбой не растлен.
Лета да годы – война без измен.

«...По степи, степи, по Яик-реке, возмогался добрый молодец,
Он друзьям казакам так наказывал: «Вы, друзья мои, все товарищи,
Старопрежние вы приятели! Понесет вас Бог на Святую Русь,
На Святую Русь, в нашу сторону – отнесите отцу с моей матерью
Разнизкой мой поклон до сырой земли»...».

Сходит ухарство, вступает смущенье.
В каждой могиле товарища мга...
Разве на то было благословенье –
С дома бежать догонять облака?
Виданы страны и слыханы песни
Разных языков и многих родов.
Степи и горы, сады, чернолесье –
Судеб без счёта, без чести следов...
Что же в мошне пролетевших годов?..

«...Как на Волге, на реке, да на Камышинке казаки, братцы, живут,
люди вольные,

Все донские, гребенские со яйцкими: «Ой вы, братцы мои, атаманы-
молодцы!

Да уж крепку думушку заедино подумайте: как проходит у нас лето
теплое,

Наступает, братцы, зима холодная; куда, братцы, мы зимовать
возьмем?»...».

Вызнаны тонкости все ратоборства:
Выжить – убить – изнурить – полонить.
Выверен вес озорства и упорства,
Силы в завидок... Да что впереди?
Нет, не изменник, не клятвопреступник!
Просто не то всё, всё просто не так.
Слишком ли правый, излишне ли умник –
Тяготно стало средь вольных ватаг.
Кличка права – одиночка-эрмак.

«...Не былиночка-то в диком поле одинокая шатается –
Молодец казаченька во поле том гуляет-потешается...
В одной тоненькой на плечах холстяной рубашечке...».

КНЯЗЬ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ХВОРОСТИНИН

Мы по роду Ярославичи, триста лет слуги московские,
но не знатностью, не золотом, имениты больше верностью,
честью княжеской непятнанной,
правдолюбием
да прямостью.

Отцы-прапрадеды, порода Хворостины –
соколий верхогляд с кабаньей щетиной...
Что видел я? чему обучен? что умею?
Вести войска на сечь в Степи, на брань у Свеи,
броски, походы в неисчётность вёрст –
о три коня или пёшком. Да артиллерий
обозный, вечно отстающий хвост.

Не во отчины наследные, не для местного кормления
лили кровь свою родители на четыре вражьи стороны,

положили животы отцы
под Руси оплот,
в бессмертие.

Война в преемствие... Оковы иль призванье? –
Отцовий панцирь да тесак в образовании...
И да, и нет... «Да» – смерти насмотрелся до икоты.
«Нет» – не для хвальбы иль хабары-щедроты.
Война моя – вериги, жадный пост,
она – сердечное стремление в высоты
на коих мир бесстрастен, как погост.

Чтоб стоять Руси перед Господом, распевать псалмы и акафисты,
Вертограду-Ирию вратарницею, Свету-Фавору глашатайницей –
нами держится
Православие.

В шатре и у костра, в начале, на исходе,
война – юродская молитва о народе,
без ладана, без сладких слов, звериным стоном
молитва о земле, задуманном, свершённом,
о градах, о воздухах на заре,
о милости, плодоношеньи, о законном
и право нами правящем Царе.

Мы по роду Ярославичи, но не знатностью, не золотом,
имениты больше верностью. Не во отчины наследные
положили животы отцы –
нами держится
Православие.

– Ермак,
уж десять лет со дня,
когда от своеволия станиц
пришёл на службу ты, встав под моей хоругвью.
Лихач-рубака смелый, лишне безоглядный,
ты рос и вырос в сотники с наукой побеждать.
Настырный выучень, глазастый и упорный,
тебе не вижу ровни я среди слуг и подначалий.
А, велие, ты знаешь цель своей судьбины,
своё призванье в жарком Божьем мире,
свою прямую суть – и духом, и оружием
хранить отечество,
народ и веру.

– Ермак,
рождённый в простоте,
я вознесён был
Царём в опричнине не по ночным услугам,
а по заслугам – при Молодях тех славных,
в гуляе-городе с тобой стояли рядом мы,
и выстояли – это нам Давлет-Герай поганый

сполна ответил за сожжѣнную прежгод Москву.
За вопли полонян, за русла русской крови,
за токи слѣз поруганных вдов и сироток –
мы крымчаками унавозили
просторы наши.

– Ермак,
В ночи победной,
посредь бесчѣтных трупов,
под алчный лай лисиц и вой волков с залесья,
сгрудившись у огней, служила литию дружина
по тем, кому пристало в срок к Архистратигу
вот так, с мечом в руке, взойти в Небесный Полк
к святым Борису, Глебу, князю Александру...
Ночь летняя баска, и до зари с тобой мы
всѣ толковали о долгах и воле, о страсти
и крестоношеньи –
о человеке перед Богом.

– Ермак,
мы говорили о спасении души,
о чудном устроеньи мира и Голгофе...
Про славу и позор, про жизнь по смерти...
Заутре предстояло нагонять и бить нещадно,
гнать клятое отродье в степь, в сушь, ад, безводье,
костями их им запрещаая путь назад.
Лишь солнце заготовилось, едва надулось –
рожки и барабаны воззвали!
Ермак, тогда поклялся мне ...
ты помнишь в чём?

Не во отчины наследные –
а чтоб стоять Руси пред Господом, распевать псалмы и акафисты,
Вертограду-Ирию вратарницею, Свету-Фавору глашатайницей –
нами держится
Православие.

– Ермак,
прислал опричный общник мой
мне грамоту с булгой-доносом из-за Камня:
Семь лет для Белого Царя ясак не славши,
мошной набухший деспот Сибирский Кучум-хан
затеял воровство – сей супостат срядился
с ногайскою Большой Ордой на Русь ударить.
Сам он по северу пойдёт на Пермь, затем ко Пскову,
Урус же Бий – через Казань – на помощь черемисам
бунтующим. Такое ноне
«слово и дело государево» ...

– Ермак,
Я не слугу, но
выуча-споборника прошу...

Связал Баторий-кроль разноязыким сбродом
Нам силы, что и так скудны: за двадцать лет всех войн –
казанских, астраханских, крымских, свейских,
ливонских – Россия обмелела, выскреблась мужами.
И кем закрыться от ножей, что в спину ныне метят?!
Ермак, ты ж родом с Чусовой, и ты казаковал...
Лети на Яик, посвищи посреде ватажек
Вольных охотников в набег лазутный на Сибирь.
Сверстай станицу казаков, сведи к себе в отчизну.
Ермак!
– пойди
– найди
– убей Кучума.

МАКСИМ ЯКОВЛЕВИЧ СТРОГАНОВ

Как по-над речкой быстрою лежала хворостиночка,
И был тот мостик узенький, а речка зло бурлящая,
Не каждому пройти.
Опричнина – чистилище, Святой Руси предтечие,
И больно та опричнина – узко ушко игольное
Для нити холстяной.

Велик и грозен целями, высок и страшен в замыслах
Царь Иоанн Васильевич, отец Самодержавия,
Ему лишь Бог судья.
А мы холопы костные, слепые побегушники,
Глухие побирушники, ему разве помощники?
Разве на что оплот?

Ленным своим умишечком за ним разве потянемся?
Мы ж нового пугаемся, по старое ругаемся,
Приспавши на печи.
Зачем вот я, безмяотный, за Пермский край засаженный,
Стараньем деда нашего, Аники сына Федьина,
В опричнину введён?

Вокруг князья великие – от Мономаха веточки,
Из самокорня Рюрика – Плещеевы и Бельские,
А между ними – смерд!
Но так-то сердце царское прозрело суть глубинную,
Проникло в душу, мудрое, и деда веру чистую
Разведало оно.

А дед в ответ старался-то, труждался да мытарился,
И всякою копеечкой влагался в дело общее,
В святую Нову Русь.
И споро дело высылось, как дуб в пору весеннюю –
Была Москва в Монголии улусом заукраинным,
А стала – Цареград.

Да только дело светлое, божливое и чистое
Людьми растёт и крепится – божливыми и чистыми,
И где таких-то взять?
Как Грозный Царь ни строжился постами и молебнами,
Как братию не сдерживал от мзды и сластолюбия,
Измен не избежал.

То горе наше горькое: казнил воров иль миловал,
Всё повторялось сызнова – боялись, но не каялись
Всё новые лгуны.
Рубили кому головы, на дыбе плетью дрючили –
Как будто плеть по обуху! Не изменялся нравами
Злокозненный народ.

Опричнина не сладилась, свелась греховной ревностью...
А там не стало дедушки – восшел Аника к Господу,
Оставил бранный мир.

И –
Христе Боже наш!
Погуби Крестом Твоим борющие нас,
да уразумеют,
како может православная вера!

Гроза всё ближе тужится,
расгаркались чернь-вороны.
Пелымцы обнаглевшие
на Соли Вычегодские
проторили ходы.
За ними и татарове,
Кучумом-ханом посланы,
пожечь-пограбить русские
остроги с городишками
всё чаще норовят.

Сплошное разорение:
на копях нерадение,
земля опять язычится,
а русские волнуются,
в побеге норовят.
Неужто дело дедово,
отцовое да дядьево,
на мне, невразумительном,
развалится-порушится,
погубится врагом?

Ведь самое тревожное –
Кучум с Урюсом снюхались,
зубами яро клацают,
когтями злобно чёркают,
двугорлием рычат.
О том не ворон выведал,

не ветры тучегонные –
из Тайбугинов беженец,
племяшка Ядигеровый
донёс дурную весть.

Вот жив когда был дедушка –
Скуратова ль, Басманова
попользовал б доверие,
чрез них без промедления
заполучив стрельцов.
А я невежа мелкая,
мне ль до Москвы с доносами?
Ведь «слово-дело» лютное,
каб дыбы не испробовать,
под плети не попасть...

Из побратимов-первенцев,
опричнины начальников,
Анику дружбой помнящий,
в молитвах поминающий
остался Хворостин.
Победой за победою
поднялся князь заоблочно,
Но духа простосердия
и слуха христианского
на том не утерял.

«Челом бьёт князю Дмитрию Ивановичу светлому
худой Максимка Строганов, Аники присной памяти
осиротелый внук.
К тебе военачальному пишу тревогу-ябеду.
Послушай худоумного, прислушайся и смилуйся –
беда грядет, беда...

Из полона турецкого я триста немцев выкупил:
венгерцы, ляхи с фряжами. Умельцы наилучшие –
пищальцы-пушкари.
Да дело половинное – нужны и рукопашники,
и пластовы лазутчики, но самое-то главное –
надёжный голова».

Беда грядет,
беда...

МУХАММЕД-КУЛИ СУЛТАН

Ай-ай!
Эрмак – смелый кан,
Казак-атаман,
Противник-дошман –
Победитель мой.

Не вернусь я домой...
Ай-ай! Эрмак – очень сильный мой враг.
Господин Судного дня велит, и да будет так.

Ай-ай! Юрт Себер –
Взял ловко себе
Всю Сибирь в удел.
Тоткын лыкт буллу –
Я у него в плену...
Ай-ай! Эрмак – очень ловкий мой враг.
Господин Судного дня велит, и да будет так.

Ай-ай!
Пять лет я дяде служил.
Свой тумен я в бой водил.
И Шубар, и Кыныр,
И Тура, и Есет
Помнят мой конный след.
Ай-ай! Эрмак – очень грозный мой враг.
Господин Судного дня велит, и да будет так.

Ай-ай!
Но не унижен булат –
Кзакаами как брат
Без обиды я взят.
И к Царю отведён,
К Белому на поклон.
Намуслы Эрмак – благороден мой враг.
Господин Судного дня велит, и да будет так.

Ай-ай!
Саблю-калыч дарю
Я Белому Царю,
О нём два творю.
Ему верен во всём,
И Россия – мой дом.
Ай-ай! Отныне я – урус-баскак.
Господин Судного дня велит, и да будет так.

Ай-ай! Признаю, Эрмак-абый,
Ты великий батыр-богатырь!
Одного не пойму я никак:
Что за сила с тобою, Эрмак?
Твои воины ук-стрел быстрее –
Будто шесть они ног имели,
Будто восемь рук вверх взлетали –
Саблями десятерых пронзали.
Как копьё в траву-камыш легко,
Бил отряд твой в тумен глубоко.
Сотни срезали моих улан,
Не имея и малости ран.
Я в душе восхищаюсь тобой.

Беек Эрмак, враг мой и друг мой.
Эрмак – женуче-победитель,
Моей гордости усмиритель –
Господин Судного дня велит, и да будет так.
Но что за сила в тебе, Эрмак?
Хитрость в чём, мой друг?
И мой враг.

КОЛЬЦО-ИВАН ЮРЬЕВ

Чёрный ворон.
Вольный Яик.
Зажурились казаки –
Ветры волны нагоняют,
Плещут на берег реки.
Травы свищут,
В кудри свиты,
Ворон озирает луг.
От дождя шатром укрыты,
Казаки собрали круг.

Что ты, ворон,
Там увидел?
Что далече увидал?
Кости белые покрыли
Кыпчаковый глиновал.
Плыли смело,
Шли на море,
Брали турок и крымчан.
То-то трепет, то-то горе,
Ожигали бусурман!

Эх, рубили
Вьи бекам,
Мурз вздымали на копьё!
Только вольная потеха
Возратилася огнём.
Хабар в прежнем,
Брашно в прошлом –
Нонче нам беда с весла:
Потопили ненарошно
Чёлн ногайского посла.

Чёрный ворон...
Вольный Яик...
В казаках тоска не зря:
Легкомыслием назвали
Ярость Грозного Царя.
Ближе, ближе
К нам подводит
Воевода полк стрельцов –

Площадь тыном огородят
С головами молодцов.
Вольный Яик...
Чёрный ворон...

А тут входит в шатёр, встаёт на носочки
Посреди круга стариков эрмак-одиначка
Наш былой товарищ, наш потерянный,
Яик кинувший давним временем.
Поклонился низко Ермак шапкой собольей,
Обмахнул с усов, с бороды пыль-осолье.
Выждал гомон-шум, крики крепкие
И завёл он речи, словом меткие:
«Уж пора-пора вам, казаки, по уму зажить,
Уж пора-то вам, братовья, с головой дружить.
Полно вам безвременно гулять-ватажничать,
Полно вам разбойничать да пить-бражничать.

Пора, казаки,
С головой дружить –
Царю-Родине служить,
Нашу веру Православную
Исповедовать».

Загалдели атаманы, а всех азартнее
Барбоша Богдан развёл крики базарные:
«Мы тут жили, ума взаймы не просили.
Кто таков будет пришлый Ярмак-Василий?
Уж не он ли бросил своих сотоварищей,
А вернулся вдруг, да сучью службу хвалящий?
Мы же казаки вольные, волки своей сутью,
Царю не кланяемся, и бояре нам не судьи».

Да на Ермака-то не рычать, не порывивать
Никому не надобно – и килы не выгадать.
Отвечает-то Ермак Барбашу спокойно:
«Хорошо жить тебе, Богдан, своевольно.
Идешь-плывёшь себе, когда куда захочется,
Боль чужая в тебе стыдом не ворочается.
Промышляешь, ты, Богдан, как волк, лёгким боем,
Щедро платишь в кабаках срамницам с разбоя.

Я же десять годов ратовал – «служил собакою»,
Бил ордынцев я с литвой, громил свеев с ляхами.
Тыщи-тьмы из полона вернул я народа,
Сиротин-христиан защитил от извода.
Цепным псом служба Руси, с холодом да голодом,
Не разжился от служения того золотом.
Обращаюсь ныне к вам, казакам православным –
Кланяюсь вам делом, делом смертным, но славным:

Пора, казаки,
За народ вам встать-постоять,
За Русь-Мать пострадать
От Царя себе прощение
Выслужить».

Вольный Яик...
Чёрный ворон...
Ближе, ближе полк стрельцов...

«Брат ты наш, Ермак, да Василий Тимофеевич,
Остудись, отвернись волков, не о тех ныне речь, –
Встал на ответ атаман Кольцо-Иван Юрьев. –
Всюду есть удальцы – мощны, да мозги курьи.
Мы ж в поход за тобой пойдём всюю станицею,
На сие вот те Крест Святой перед божницею.
Выведи, Ермак, нас изо лжи тропой узкой,
Повинимся мы Царю душой нашей русской».

Вольный Яик...
Чёрный ворон...

ЕРМАК-ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ ОЛЕНИН

Матушкин холмик, могилка отцова...
Вечная память, и пухом земля...
Родина встретила скупосурово,
Жухлыми листьями лужи стеля.
Родина встретила статью чужою,
Строем-строеныем в незнаемый лад.
Словно обижена за нежилое,
За несложённое в давний расклад –
Спрятала долу скучающий взгляд.

А вспоминалась цветными камнями
Посредь еловых зазубренных стрел,
Рясной рябиной над ильменями,
Синью небесной в рябящий пробел...
Помнилась, снилась парной Чусовою,
Стадом вечерним надменных коров,
Дедовских баек живой бичевою...
Духом внесённых мороженных дров...
Пасха... Купала... Илья и Покров...

Верно ль – что было, тому не вернуться?
Нужно поправить родные кресты...
Матушка, милая, дай мне уткнуться
В сухость ладошек твоих сквозь кусты!
Сквозь корневища и глины навалы...
Матушка, милая, слышишь ли там?
Сын твой с повинной, как ты призывала,

Через нуды и труды маетам...
Лист материнки приткнулся к губам.

«И нашли они пещеру камену, да на высокой горе, да у Чусовой реки, у Чусовой реки.

И зашли они наверх тоя горы, да, на висячий большой камень, да тоя горы.

Опускались в ту пещеру казаки, да много-мало, восемь сотен человек, да казаки.

Хорошо им было, любо зиму зимовати, да тут у Чусовой реки, у Чусовой реки.

Много-мало, да восемь сотен человек, да опускались в ту пещеру казаки...».

Царствий Абдоры с Кондорским просторы
От Океана метутся пургой.

Речек петлистых чудные узоры
Снежьем забиты, замыты сулой.

Стужа и ветры, завойное небо –
День или ночь – не всегда разберёшь.
Здесь, за Гребнями, погоды свирепо,
Вьюжит без меры – кутёж и скулёж.
Здесь, за Гребнями, упор да терпёж.

Лютень рвёт-режется настом до крови,
Слёзы метель леденит на глазах.
Ночью в расщелинах стоны и вои,
Только молитвой смиряется страх.
Держатся волею вольные люди –
Дух казака неуступчивей скал:
От Рождества беспределятся вьюги,
В месяц дичины никто не сыскал.
Голода блазится лютый оскал...

Господи Боже, помилуй нас, грешных,
Коли за правое дело стоим –
Даруй соборностью, сладом утеши,
Не покидай нас дыханьем Своим.
Господи Боже, мы малое стадо,
Время ж великое возложено.
Веруем: лишь под небесной заградой
Всё прорастёт, что Тобой саждено.
Сеятель – Ты, мы – слепое зерно.

Вопли в расщелинах, стоны и плачи.
Люди же держатся – милостив Бог! –
Лихом теснима пестрина казачья
Духом куётся в булатный клинок.
Ладится в крепкость терпением тайны,
Скрытьем от вражьих пронырливых свор...
Вьюги метут и мятутся бескрайне –

Стан не разыщет татарский дозор.
Здесь, за Гребнями, терпёж да упор.

Главный упор для казачьей твердыни –
«Каждый за всех, и по каждому все»:
Тёзки-Иваны – Кольцо да Дурыня,
Шунин с Грозою... К ним Галкин Алексей.
Черкас Александров с Паном Никитой,
Иов Вышата, Григорий Ясырь...
Яшка Михайлов с Афоней Китой,
Брызга Богдан и Савватий Болдырь.
Да Мещеряк, да Матьяш Угренин...

Любы-бесценны товарищи-братья,
Каждому вверись и жизнь, и гамзу.
Все на походе без слов на подхвате,
Каждый без прений пойдёт под грозу.
Каждый за каждого вывернет душу,
Выдернет с корнем любого врага:
Бой рукопашный или с оружием –
Нет в поле равного для казака.
Только вот стужа да голод-цинга.

«Как прошла зима та холодная, да настала весна красная, жилки
речные открылись.

То пора бы, братцы, нам собираться, собираться, да во поход, во
дальний нам пора.

Уж вы сделайте-ка, братцы, лодочки-коломенки, накладайте на их вы
весельца сосновые.

Поплывём мы, братцы, с Божьей помощью, доберемся мы до царства,
до того закаменного,

Повоюем мы то царство, то Сибирское, а царя Кучума поганого лютой
смерти предадим».

Родина... Радость... Родник. Сенокосы...
Родина снегом по грудь и до крыш...
Майские ветры, ливнёвые косы.
Неба ночного краплёный черныш...
Помнилась, снилась парной Чусовою,
Стадом вечерним надменных коров,
Дедовских баек живой бичевою...
Духом внесённых мороженных дров...
Пасха... Купала...
Илья...
и Покров...

ВИЗИРЬ КАРАЧА-БЕК

Век мой, заман, – шайтан немой.
От него я бегу нагой.
Загоняет меня злой век –

Но хитёр и спутан мой бег.
Только как не иметь угла?
Жизнь в Искер меня загнала.
Десять лет Кучуму служба,
Не имел вполне платежа.
Шаш етектен – сыто ждать день,
Когда сам себе стану бей.

Атласная шуба – разве это мне честь?
Аргамак – разве это по мне награда?
Я научил всех чёрных людей перечесть,
Я научил тарханов исламом привлечь –
Я создал Кучуму Орду – что мне надо?
Ал, не голая кость для падашь-арата.

Пусть меньший из великанов,
Я – казах из рода Найманов.
Мои предки не сдали Тараза –
Их память крепче алмаза.
Шейбаниду ли мне служить?
Но как-то же надо всем жить...
Я готов уйти к Эрмаку,
Если он наградит слугу.
Если он настоящий хан:
Злой и сильный, и правит сам.

Как понять – Эрмак зачем в Сабер пришёл к нам?
Как узнать – почему воинов мало с ним?
Зимой прятался, весной Кули пропускал,
За спиной того Искер-столицу занял:
Не столь силён, как хитёр – с лисою сравним.
Эры-сэры, так ли Эрмак непобедим?

Иэ, Кучум-хан жаден со мной,
Но щедр ли хозяин иной?
Ястреб слаб, но сокол-то где?
Белый Царь – письмо на воде.
Русов мало, год не прожить.
Ерте – рано с ними дружить.
Загоняет мой век меня –
Смутно всё, повсюду резня.
Пока с ханом я остаюсь,
Время скажет – на что здесь Русь?

Не по чести казаху моголам служить...
Я Кучуму создал Орду, что в ответ поимел?..
Юсак бакшиш – сыновьям один день прожить.
Разузнать бы, что Эрмак может мне предложить?
Дуние кезек – судьба то уголь, то мел.
На Русь бежать, кто подскажет, чтоб я успел?

Сатылу-сбегу к Эрмаку,
Если он одарит слугу...
Ястреб слаб, но сокол-то где?
Белый Царь – письмо на воде.

ЮГРА, ДОЧЬ КАНТЫХ-КАНА БАЯРА

Предивный белый русский князь... Нёйи руть-кан...
Летел ли ты на облаке?.. Эрмак руть-кан...
Несли ли тебя лебеди над речками туманными,
Над горками лесистыми несли на крыльях розовых
До чёрного Тангат-Эртиш, в безмилостный Искер?

Не мне, хантых-девчоночке... Эрмак руть-кан...
Лесной дичке застенчивой... Эрмак руть-кан...
Твоё сердце презоркое, твоё сердце пречуткое,
Всё в мире повидавшее и всё в себя вместившее,
Безвестное познавшее, учить счастливым быть.

Но расскажу, поведаю... Эрмак руть-кан...
Тебе я песней выведу... Эрмак руть-кан...
Таёжной песней-вышивкой, словами красноцветными
По мягкой шкурке беличьей узорами небесными,
Узорами подземными как тропкой проведу.

На полуночь, где родина, где отчие владения
Тайга наша бессонная полна зверьём и духами,
В ней жизнь, что сетка ловчая, настолько перевязана,
Что лишь сомни боярышник, спугни с гнездовья иволгу,
И эхом неотвязчивым тебя погонит страх.
То держат дети Торума мир в строгом равновесии,
В согласии и ладности печаль сменяя радостью,
Сквозь льды зовя подснежники, за облаками – радугу.
От них-то мир наш – мельница в круженьи обновления,
Где смерть ростком становится, и родничками – тлен.
Земля ж моя безмерная, сто дней пльви – не кончится,
Сто дней на лыжах бегая, ей не найдёшь окраины.
Там бродят лоси гордые в рогах превыше ельника,
На плёсах речек плещутся тьмы уточек с гагарами,
Жар-клюква на болотинах, что яхонты горит.
По-вдоль собольих стрелочек, вокруг лабазов беличьих
Мелькают сойки яркие и филины глазастые,
А в водах тёмно-стуженных спят мамонты зубатые,
А в дуплах мишьи-карлики поют о вещем времени,
Когда на небе звёздами народ твой русский плыл.

В те времена счастливые земля была беззлобною,
И лето бесконечное, и ночь четырёхлунная.
Летали люди-вороны, и выдры-девы плавали.
Тогда все были братьями, и волки вместе с лосями
Вели беседы общие на праздниках Мис-нэ.

Предивный белый русский князь... Нёйи руть-кан...
Те песни мишьи древние... Эрмак руть-кан...
Под гусли журавельные про твой народ меж звёздами,
Так мне, хантых-девчоночке, легли на душу огненно,
Что не по воле батюшки – сама к тебе пришла.
Крапивную рубашечку под малицу я спрятала,
Что вся расшита бисером и бляшками железными,
В собольем опушении, а пояс пёстровязаный,
Черки на мне тайменные, из горностая шапочка,
На пальцах кольца тяжкие, а в косах береста.
Играю на тумране я. Взгляни же, огляди меня:
Среди подружек-девушек я самая красивая
И самая нарядная. И у отца любимица –
Бийкэ-царевна младшая – чем я тебе не равная,
Чем я тебе не милая?.. Молю, не прогоняй!

Предивный белый русский князь... Нёйи руть-кан...
Пускай родятся мальчики у нас долгоживущие,
Пускай родятся девочки у нас вечносчастливые,
Малютки зайки-солнышки, крупиночки бесценные...
Вот я стою невинная. Не откажи – возьми!
Возьми меня в замужество, священное, законное,
И твой чувал не выгорит, кат-дом не обезлюдится.
Под мехом куньим с ласками постель зима не выстудит,
Кынь-Лунком не источатся священные амбарчики,
Медвежьи игры-праздники от нас не отойдут.
Я буду, как черёмуха – плодами вся осыпана,
Я запою лягушкою – все травы мне откликнутся...
Ты будешь тилаг-месяцем, твои сыночки – звёздами,
Ты встанешь нулью-радугой, а облаками – доченьки...
Возьми меня в замужество! Невинную – возьми!

Предивный русский князь Эрмак... я самая нарядная
Бийкэ-царевна младшая... чем я тебе не милая?
Пускай родятся мальчики, пускай родятся девочки,
Сыночки будут – звёздочки, а облака – дочурочки...
Эрмак руть-кан, руть-кан Эрмак...
Как ты бы их любил!..

ЧЕРКАС-ИВАН АЛЕКСАНДРОВ

«Государю благоверному Царю
и Великому князю всея Руси Ивану Васильевичу
бьют челом государевы холопы
атаманишка Ермак Васька Оленин со товарищи.
Милосердный государь Царь и Великий князь Иван Васильевич всея
Руси,
клянемся мы тебе возвращением под руку твою государеву
твоего царства и града Сибирского.
А ещё княжеств Пелымского и Обдорского и иных вогульских и
остяцких же...».

Богоугодный Царь всея Руси, отец премудрый,
По милости своей услышь меня, не прогони.
Холоп твой, чудное познав, хоть и умишком скудный,
Поведаю про дальние владения твои.
Поведаю о виденных в сибирской украине
Безбожных племенах, что поклоняются зверью,
Камениям и омутам, да куклам. Что доньше
Приносят кровью жертвы и беснуются огню.
Спасителя Христа не ведая и Божью Матерь
Не почитая, однако же, породю не злы
И к миру расположены: в их чумах нашу братью
Без хитростей встречали, и провожали без хулы.

Во всём, что дети чистые, приемлют справедливость.
Их прижимать-обманывать ни в персть никак нельзя.
Ясак платить согласные. И с нами, Божья милость,
Едоу с кровом искренне делились как друзья.
Коль не обидеть – Белого Царя любить готовы,
Покуда настрадалися Орды. Тож торговать
Предрасположены: товары – шкурки соболёвы,
Да лисьи, куничьи меха. Речная тоже ладь –
Стерлядка с белорыбицей. Народ не тороватый,
Как русьи встанут городки – купцам там будет рай.
Чудесна та Сибирь, мой Царь. По людям жидковатый,
Но въявь насущно вытенный, безнуждный щедрый край.

Иное – агаряне. Из Орды сейхи-сеиды
Кучумовы посеяны плевелами вокруг.
Они против Руси и возбуждают лжеобиды,
Как змеи – яд, брѣх брызгают да клевету плюют.
Заплёл Кучум и раскидал далече паутину,
Несчастные князьцы-тарханы те мошкой в ней:
Детишек в аманаты-заложники, ровно скотину,
Отцов к покорности нудя, согнал в Искер злодей.
Встреч йясаулов разослал – бухарцев и ногаев
По всем улуса и юртам, к ярѣнным крепостцам
И селищам баскаками да беками поставив,
Сосал, что паучин, чернолюдинов без конца.

«...А ещё атаманишка Ермак Оленин со товарищи
шлѣт в казну государеву ясаку за два года от долга сибирского прежнего
и полонянина Маметкулку-княжича, сородича сбегшего
клятвoprеступника,
изменщика и вора царишки Кучума».

Как правда для язычников, так агарянам – сила.
С молитвой Иисусовой да саблей наголо
Мы шли на смерть за Ермаком, судьба же возносила
Руси хоругвь победную Архангела крылом.
Великий Царь! Не человекья похоть – Божья воля:
Вернулись блудные под православный омофор
К тебе народы и вожди из горького бездоля.

Прими в семью, отец благой, не ставь бузу в укор.
Самодержавный Царь всея Руси! Победа в правде,
А правда – в милости. Повинных не отринь прихват –
Сие казачье каянье причти к земной расплате.
Прости, кто чем пред Богом и тобою виноват.

Богоугодный Царь Иван Васильевич всея Руси!
Отец благой! Прими в семью! Прости.
Сие казачье каянье зачти –
мы шли на смерть с молитвой.
И Господь Иисус Христос,
Пресвятая Богородица
и святитель Николай
нас
не оставляли.

КУЧУМ ХАН ШЕЙБАНИД

«Вогулы и ханты своих дочерей в Искер как ясак, в ряд с пушниной
и рыбой

Везут и толкают в трясучке-жуде. И лгут друг на друга с кривою улыбкой...

Мне сладко смотреть, как катится пот, как головы прячут за ворот
соболий.

Как руки дрожат, как трясётся живот раба уштыка предчувствием
боли...».

Я – ужас
и трепет,
кошмар и тоска
мужей Иртэша и Умара.
На мне и во мне
начертала судьба
заветы Ясы Чингис-хана.
На мне моя гордость
вселенских царей,
во мне моё бремя
священных кровей.
Я ужас торханов
и кара-халык,
я – тот, чьё лишь имя
кусает язык.
От плоти я плоть самого Шейбани,
я струйка монголов священной крови:
я – тот, кто продолжит
походы Ибака.
Сам – сын и родитель
смертельного страха,
Я – ужас и трепет...
Но мало, я – тот,
чей красный бунчук опять соберёт
Орду от Балкан до Байгала.

«Взываю я к братьям, я кровным кричу: мне грезится свадьба волка и лани!

Аргыны, найманы! Канлы, кыпчаки! Лихие карлуки с жал-airaми...
Правители степи! Властители гор! – мы дети детей ата Чингисхана.
Собрав курултай в единение юрт, срastёмся мы в тело Орды-великана...».

Кто – он,
посмеvший
встать мне вперекор?
В ком смелость, чтоб мне поперечить?
Того не спасёт
ни доспех, ни затвор,
о жизни его нет и речи.
На нём все заклятъя
бессмертных племён –
Его схватит ярость
джаханнам-огнём.
Кто встал на дороге
Мангутов-отцов –
тот ляжет пред ними
жертвой-овцой.
Да будь он даже московский каган –
Горло сотрёт верблюжий аркан.
Я вырежу печень
и брошу собакам.
Я – сын и родитель
вселенского страха,
Я – ужас и трепет...
Но мало, я – тот,
чей красный бунчук за собой призовет
Орду Золотую из праха.

Послал я батыров на Вычуги Соль, чтоб крови Руси волчата вкусили.
За нами взнуздают ногаи коней, кыргызы, тептяри, тургаи с Есиля...
Восстанет Казань, Астра-хань оживёт... черкесы... и – до пределов
Османов

Орда за ордой, за туменом тумен – весь мир соберёт бунчук Кучум-хана...

Откуда
он взялся? –
эрмак-отоман,
отнявший Искер мой подло?!
В сарае моём
На килиме моём
разлётся кырджалий вольготно!
Где вы, йясаулы?
Огланы, вы где?
Вы бросили хана
В беде и стыде –
ваш хан убежал

от урус-казака!
Едва лишь укрылся
от копий врага.
От плоти я плоть – самого Шейбани!
Я – струйка монголов священной крови!
Как вдруг обездолен
и согнан с престола.
Я, сеявший ужас,
скитаюсь бездомно.
О, боль! О, стыдоба!
Когда я вернусь,
Предателям слушать собственный хруст!
И трусам не знать продолжения рода.

«Где ж вы, мои братья, кому я кричал? Вы отвернулись и крова не дали.
Аргыны, найманы! Канлы, кыпчаки! Лихие карлуки с жал-airaми...
Предатели степи, отступники с гор! Песен не слышно, нет духа кури-
лен –

Не слить воедино священную кровь... Я виноват, потому что бессилён...».

Я слепну
и глохну,
проклятая боль.
Истаяли прежние силы.
Так жёстко меня
унизил хворь,
в затылок дыханье могилы.
О, где моя гордость
вселенских царей?
О, где моё бремя
священных кровей?
Я должен вернуться
и должен вернуть
сарай свой в Искере
и ханскую суть –
тот ужас и трепет, кошмар и тоску
бабаю, ребёнку, рабу иль врагу.
Я жажду пришпорить
стезю боевую,
и смог бы связать всех
в орду Золотую.
Я смог бы... О, боль!
О, бессильная честь!
Я глохну! я слепну! – могильная хворь...
Но смерть не придёт, будет жизнь теперь – месть.

«Отверженный степью, гонимый от гор, всюду и всеми хватаем за полы,
Изменники, трусы – я ханская кровь! Забыли, как вас расстилали
монголы?

Напомнить, как вы трясогубо клялись жизнь пролежать под моею пятою?
Верну же ваш ужас! Я всем отплачу заветом Пророка – местью свя-
тою...».

Я – сын и родитель вселенского страха...
Я – продолжатель походов Ибака...
Я – тот...
я...я...

* * *

...Господи Боже, мы малое стадо, бремя ж великое возложено...
«Ермак, я не слугу, но выуча-споборника прошу...».

...Тёзки-Иваны – Кольцо да Дурыня, Шунин с Грозою... к ним Галкин
Лексей... Брызга Богдан и Савватий... Да Мещеряк...

«...Как на Волге, на реке, да на Камышинке казаки, братцы, живут...».

...Родина... Радость... Родник. Сенокосы...

«Предивный белый князь Эрмак... Пускай родятся мальчики, пускай
родятся девочки... Как ты бы их любил!..».

...Тыщи-тьмы из полона вернул я народа, сиротин-христиан защитил
от извода....

«Изменники, трусы – я ханская кровь! Забыли, как вас расстилали
монголы?..».

...Матушка, милая, слышишь ли там?..

«Сыночек-Василёчек мой! Остался бы малюточкой... Убийцы скрытно
тянутся, и речка бурно крутится... Ты не спи, не спи, сынок!».

ЕРМАК-ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ ОЛЕНИН

Чаша Руси – деревянная птица,
Лебедем-гусем плывёт меж теней.
Громы и ропоты, хмарь и зарницы
Блазью мятутся над ней и под ней.
Да благодать над расщепами крыльев –
Парусом белым парит омофор
Девы Пречистой, и звёздной пылью
Сеется снег с Покрова на простор
Божьего мира под ангельский хор.

Господи Боже, помилуй нас грешных, коли за правое дело стоим,
Даруй соборностью, сладом утешы, не покидай нас дыханьем Своим:
«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое;
победы православным христианом на сопротивныя даруя,
и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство».

Други сердечные, братья-казаки!
Лето за летом, зима за зимой
Держим оплот, не скудея в отваге,
Держимся силою въявь не земной.
Други зарочные! Что совершили –
Всем воздаяния на небесах.

Самых достойных бойцов схоронили,
Их имена – уголья на устах.
Путь наш отмечен в зарубах-крестах.

Други-казаки! Нам брашно не горько,
Нет ни обид, ни занозной тоски –
Шли на Сибирь не по алые зорьки,
Не по кисель у молочной реки.
И не под рабство языки мы клоним,
Стоит ли жизнь соболей да бобров?
Капля за каплей стекает в ладони,
В братину общую общая кровь –
Чашу Руси наполняет любовь.

Верные други мои. Не задули,
Не разметали сложенье углей
Вихри сторукие в бурном разгуле,
Ветры упругие с мёрзлых полей.
Держимся, братья. Держимся, держим
Пламенный круг, за спиною спина.
Разве по силам кому русский стержень
Сбить, раскачать, будь он сам сатана?
Брань наша свята – се в духе война.

Держимся, держим... В натуг без подмоги.
Где ты, Москва? То морок, то туман.
Сбились полки с неторёной дороги?
Грозным Царём не прощён атаман?
Ночи длиннее, скуднее рассветы...
Что не сложилось? Где ты, Москва?!
Теми вопросов, ничтоже ответы.
Тени на лица, свинец в рукава.
Да пламеннее молитвы слова.

Господи Боже, помилуй нас, грешных, коли за правое дело стоим,
Даруй соборностью, сладом утеши, не покидай нас дыханьем Своим:
«Спаси, Господи, люди Твоя...
...победы православным христианом на сопротивныя даруя...».

Что намечали, да что получили?
Славно – войну отвели от Руси!
Худо – Кучума в побег упустили,
Где-то, поганый, петляет-лисит.
Но не поднять ему больше туменов,
Скрошатся орды в осколки родов
В междоусобицах, в кознях, в изменах.
Лижет пусть падаль, лишённый зубов, –
Нет для него больше русских рабов.

Нет больше страха бесчестья и боли –
Мирным и робким заступа дана.
Будет отныне, по вере и воле,

Обетованная Богом страна
Равновозможна для промыслов чистых,
Для зачинаний, заделов, затей
Славных и добрых, воечных и быстрых –
Только усердствуй, ратай и радей.
Эта страна для широких людей.

Господи Боже, помилуй нас грешных, коли за правое дело стоим,
Даруй соборностью, сладом утеши, не покидай нас дыханьем Своим:
«...благослови достояние Твое...
Твое сохраняя Крестом Твоим жительство».

Чаша Руси – деревянная птица,
Лебедем-гусем плывёт на восход.
Солнце встречает её у границы
Тверди небес и превратности вод.
Воды земные и те, что над небом...
Там, на востоке – в шафране румян
Пахнувший клевером, хмелем и хлебом,
Дышащий ладаном, перлами слан,
В неразделённости ждёт Океан.

Там, на востоке, Русь лебедем-гусем
Путь свой продолжит в кружении звёзд:
Крылья-расщепы узорным убрусом,
Справа воркует сестра-Алконост...
Выше, всё выше – где радость без края,
Где уже в боль ослепителен свет.
Строго бесстрастны вратарники Рая...
Трона Христова алмазный стоцвет...
Там о себе Русь исполнит завет.

Свет... Вижу, Господи, Свет.

Словарь к поэме:

«Городу и Миру» – «Urbi et Orbi» обращение Епископа Рима к католикам

- Aethiops non albescit – негр не побелеет (лат.)
Domin servorum – повелитель рабов (лат.)
Imperium Romanum – Римская империя (лат.)
Infernum tuleris – провались в ад (лат.)
Iumenta rex – царь скотов (лат.)
Magna Soldanus – Великий султанат (лат.)
Status – закон (лат.)
Абый – уважаемый (тюрк.)
Агаряне – мусульмане (слав.)
Азан – молитва (араб.)
Ал! – ну! (казах.)
Аргамак – скакун (тюрк.)
Ата – отец (тюрк.)
Аузак – Азовское море (тюрк.)
Бабай – старик (тюрк.)
Байгал – Байкал (монг.)
Баскак – сборщик налогов (тюрк.)
Батыр – богатырь (тюрк.)
Бек – военачальник (тюрк.)
Бийке – княжна (хант.)
Бийкема – княгиня (манси)
Блазь – марево (слав.)
Бунчук – жезл с гривой (монг.)
Вогулы – манси
Вытенный – полезный, доходный (слав.)
Выучень – ученик (старорусск.)
Галиб – храбрец (тюрк.)
Гамза – кожаный кошель (тюрк.)
Господин Судного дня – Аллах
Гребни – горы (слав.)
Джабраил – Гавриил (араб.)
Джана – душа (араб.)
Джаханнам – адское пламя (араб.)
Дошман – противник (тюрк.)
Дуа – молитва о здравии (араб.)
Дуние кезек – ни бело, ни черно (казах.)
Епанча – войлочный или кожаный панцирь (старорусск.)
Ерте – рано (казах.)
Жежёнка – молодая жена (старорусск.)
Женуче – победитель (тюрк.)
Жуда – дрожь (тюрк.)
Заман – эпоха, времена (казах.)
Ирий – Рай (слав.)
Ис пола эти, деспота – Многая лета, владыко! (греческ.)
Искер – (Сибирь) столица Сибирского Юрта
Йясаул – наместник (тюрк.)
Каган – царь (хазарск.)
Калыч – сабля (тюрк.)

Кан – князь (*ханты-манси*)
Кара-халык – чернолюдины (*тюрк.*)
Кафир – иноверец (*турсецк.*)
Кейван – Сатурн (*турсецк.*)
Кефе – Феодосия (*турсецк.*)
Килим – ковёр (*тюрк.*)
Курултай – великий совет (*монг.*)
Лития – заупокойная служба (*греч.*)
Мангут – (Мангыт) династия эмиров Бухары
Мзда – прибыль (*слав.*)
Мис-нэ – богиня огня (*хант.*)
Миши, мишьи – волшебные карлики (*хант.*)
Мошна – богатство (*слав.*)
Намуслы – благородный (*тюрк.*)
Нэйи руть-кан – волшебный русский князь (*хант.*)
Омофор – покрывало (*греч.*)
Отоман – военачальник (*тюрк.*)
Падашь-арат – нищий пастух (*казах.*)
Пелымцы – вогулы
Пехлеван – богатырь (*персид.*)
Руть – русский (*хант.*)
Сарай – дом, дворец (*тюрк.*)
Сатылу – перебежать, переметнуться (*казах.*)
Сердюк – пеший казак (*старорусск.*)
Скифетр – скипетр (*старорусск.*)
Славутница – кукла-невеста (*слав.*)
Сула – ледяная гуща (*старорусск.*)
Тайбугины – сибирско-татарский род, смещённый Кучумом
Тангат – Иртыш (*хант.*)
Тархан – князёк (*тюрк.*)
Тархан – повелитель (*тюрк.*)
Торум – верховный бог хантов
Тоткын лыкт буллу – попал в плен (*тюрк.*)
Тума – полукровка (*тюрк.*)
Тумен – отряд в 1000 воинов (*тюрск.*)
Тумран – гусли (*хант.*)
Ук – стрела (*тюрк.*)
Улан – всадник (*тюрк.*)
Умар – Обь (*тюрк.*)
Урус – русский (*тюрк.*)
Уштяк – хант (*тюрк.*)
Фрязи – венецианцы (*старорусск.*)
Шайтан – чёрт (*тюрк.*)
Шаш етектен – в изобилии (*казах.*)
Шишак – шлем (*слав.*)
Эры-сэры – туда-сюда (*казах.*)
Юрт – поселение (*тюрк.*)
Юрт Себер – Сибирский Юрт (ханство) (*тюрск.*)
Юсак бакшиш – невелика выгода (*казах.*)
Языки – народы (*славянск.*)
Яса – Собрание законов у монгол
Ясак – дань (*тюрк.*)

Надежда ПРОСКУРЯКОВА

ТАЙНА «ЦАРСКОЙ КНИЖКИ»

Совсем недавно с бывшими сотрудниками музея пытались вспомнить год, когда в Ишимский Краеведческий музей на улице Ленинградской двое мужчин слегка потрепанной внешности или, проще сказать, любители «зеленого змия» принесли на продажу книжку. Мы именно *пытались вспомнить*, потому что акт приемки музейного предмета был элементарно потерян, а значит – и время, и адрес с фамилиями «продавцов» тоже.

Коллективным разумом решили, что это был 1993 год. Итак, почти двадцать с лишним лет назад, открыв первую страницу книжки (по размерам она напоминала записную), я просто ахнула и совсем забыла «инструкцию» музейного работника вслух ничему не удивляться – цена вырастет. На этой странице была запись: «Уроков не было. Утром поехали в Зимний дворец – оделся в мундиру. В церковь поехали. Завтракали. Гости были. Играли в саду».

Один из «продавцов» рассказал историю появления этой книжки у них дома. Суть истории в том, что его родственник в годы Гражданской войны достал ее из кармана убитого офицера на Урале. В то время мы уже немного знали об убийстве князей Императорской фамилии, поэтому книжку назвали «царской». Начались поиски аналогичных книжек в московских архивах. Наш помощник Федор Максимович Пашков нашел в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) подобную памятную книжку, принадлежавшую Николаю II. «Наша» и найденная в ГАРФ книжки были отделаны очень дорого: переплёт из кожи, обложка из карельской березы, с медной застежкой, с золочением, – по месяцам вписаны дни рождения всех членов царской семьи. На корешке «ишимской» книжки стояла дата – 1891 год. Записей в ней было немного; кроме той, что приведена выше, вот ещё одна: «Январь 11. Уроки. Французский – хорошо. Музыка – посредственно. Естественная история довольно хорошо. Прогулка в саду». «Январь 17. Был у Кирилла Владимировича и остался до восьми часов». Записи выполнены черными чернилами.

Тайна записной книжки не раскрыта и по сегодняшний день, но у автора статьи родилась версия, которая будет предложена в настоящей работе. Но прежде о событиях и людях изучаемой нами истории.

Алапаевские мученики

20 мая 1918 года из Екатеринбурга в маленький заводской городок Алапаевск Пермской губернии по приказу Председателя ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет) Свердлова Я.М. были привезены арестованные члены Императорской фамилии:

- *Великая княгиня Елизавета Федоровна* (20.10.1864–18.07.1918, возраст на день убийства – 54 года), основательница Марфо-Мариинской обители в Москве;
- Монахиня Марфо-Мариинской обители, келейница Великой княгини Елизаветы Федоровны, *инокиня Варвара* (18.07.1918).
- *Великий князь Сергей Михайлович* (25.09.1869–18.07.1918, возраст на день убийства – 49 лет), внук Императора Николая I. В годы

Первой мировой войны – полевой генерал-инспектор артиллерии при Верховном Главнокомандующем;

- Три князя императорской крови (дети Великого князя Константина Константиновича, племянника Александра II): князь *Иоанн Константинович* (23.06.1886–18.07.1918, возраст на день убийства – 32 года), флигель-адъютант штабс-ротмистра Лейб-гвардии Конного Его Величества полка, женатый на дочери Сербского короля принцессе Елене Петровне, посвященный в иподьяконы; князь *Константин Константинович* (20.12.1890–18.07.1918, возраст на день убийства – 28 лет), штабс-капитан Лейб-гвардии Измайловского полка, спасший во время Первой мировой войны полковое знамя, награжденный за это орденом Св. Георгия IV степени; князь *Игорь Константинович* (25.05.1894–18.07.1918, возраст на день убийства – 24 года), штабс-ротмистр Лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка;

- *Князь Владимир Павлович Палей* (28.12.1896–18.07.1918, возраст на день убийства – 22 года), незаконнорожденный сын Великого князя Павла Александровича, внук Александра I, поручик Лейб-гвардии Гусарского полка, поэт;

- *Федор Михайлович Ремез* (1978–18.07.1918, возраст на день убийства – 40 лет), управляющий двором Великого князя Сергея Михайловича, добровольно последовавший за ним в ссылку.

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна

Немка по происхождению, Елизавета родилась в 1864 году в семье великого герцога Гессен-Дармштадского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. Воспитывалась в протестантской вере. Её сестра Алиса в 1894 г. стала супругой Николая II – императрицей Александрой Фёдоровной; Елизавета в 1884 году вышла замуж за Великого князя Сергея Александровича Романова. По традиции всем немецким принцессам, вошедшим в российскую царскую семью и принявшим православие, давали отчество Федоровна – в честь иконы Феодоровской Божией Матери, особо чтимой царственным домом Романовых.

Елизавета Федоровна полюбила Россию всей душой, выучила русский язык и приняла православие, много занималась благотворительностью.

В 1905 году от бомбы террориста погиб ее муж, генерал-губернатор Москвы Великий князь Сергей Александрович. «Иван Каляев бросил в него бомбу, которая, ударившись в грудь Великого князя, разорвала его на части. Только лицо Сергея Александровича осталось целым. Убийца Каляев, слегка раненный кусками дерева от саней, был на месте арестован полицией. Борясь с полицейскими, он успел выкрикнуть: «Долой царя! Да здравствует революция!» [1, с.119]. Великая княгиня первой прибыла на место взрыва. «Елизавета Федоровна молча, без крика и слез, склонилась над останками своего супруга. Она ни на кого не смотрела, ничего не знавала, кроме того, что нужно как можно скорее собрать то, что осталось от Сергея Александровича» [1, там же].

Останки Великого князя находились на этом месте нескольких дней, силой взрыва они были разбросаны везде, даже на крыши домов, где было найдено и сердце Сергея Александровича. Люди приносили останки князя, завернутые в тряпицы, и клали их в гроб. На третий день после гибели мужа Елизавета Федоровна поехала в тюрьму к его убийце. Поехала с надеждой, что тот раскается в содеянном, но старания ее были напрасны.

Несмотря на это, Елизавета Федоровна подала прошение Николаю II о помиловании преступника; прошение государь отклонил.

С момента гибели супруга Великая княгиня не снимала траур, держала строгий пост, ее спальня во дворце напоминала монашескую келью.

Елизавета Федоровна решила отдать свои силы и жизнь служению Богу. Она приобрела на Большой Ордынке участок земли и в 1909 году открыла там Марфо-Мариинскую обитель, с больницей, амбулаторией, аптекой, приютом, бесплатной столовой. Княгиня вела подвижнический образ жизни: утром – молитва, посетители; вечером – разбирание очередных прошений и писем.

В больнице работали лучшие специалисты Москвы, операции делались бесплатно, бесплатной была и столовая для бедных. Часто Елизавета Федоровна вместе с сестрами посещала Хитров рынок (самое криминогенное место тогдашней Москвы), вызволяя оттуда малолетних детей. Во время Первой мировой войны активно занималась помощью русской армии, в том числе раненым солдатам. После прихода к власти большевиков отказалась покинуть Россию, в своей обители продолжала заниматься милосердной помощью обездоленным. К славным делам «Великой матушки», так называли княгиню в народе, можно отнести строительство паломнической гостиницы в Иерусалиме и православного храма в г. Бари (Италия), где покоятся мощи Великого чудотворца Николая Мир Ликийского. 7 мая 1918 г. Великая княгиня Елизавета Федоровна была арестована чекистами и сослана в уральский городок Алапаевск. В течение нескольких месяцев Елизавета Федоровна находилась в здании Напольной школы (построена «на поле», т.е. на окраине города). До сих пор возле этой школы растёт яблоня; по преданию, её посадила когда-то Великая княгиня.

Великий князь Константин Константинович

Великий князь Константин Константинович Романов (1858–1915) был образованнейшим человеком своего времени, талантливым пианистом, известным поэтом, писавшим под псевдонимом «К.Р.». Его романтические стихи знала вся Россия, романсы на поэтические творения К.Р. писали известные композиторы П.И. Чайковский, А.А. Алябьев, С.В. Рахманинов. Великий князь был президентом Академии наук (1889–1915), одним из основателей Пушкинского дома (сегодня Институт русской литературы [Пушкинский дом] РАН). Будучи мичманом российского флота, в русско-турецкой войне в 1877–1878 гг. в бою под Силистрией на Дунае потопил турецкий корабль, за что был награждён Георгиевским крестом IV степени. Умер князь от припадка грудной жабы в 1915 г., поэтому не увидел падение монархии и гибель троих сыновей: Иоанна, Константина и Игоря, которые на следующий день после расстрела царской семьи живыми были сброшены в шахту под Алапаевском.

«Вся семья Великого князя Константина Константиновича была религиозна, но Иоанн Константинович своей «молитвенностью» выделялся среди членов семьи, он любил вести долгие беседы на духовные темы с Елизаветой Федоровной» [3, с. 267]. Промыслом Божиим было так устроено, что они вдвоем оказались на одном уступе шахты под Алапаевском и после падения были еще живы. Елизавета Федоровна сделала перевязку раны на голове князя Иоанна, разорвав свой апостольник.

Заметим, что из девяти детей Константина Константиновича до 94-х лет дожила только Великая княжна Вера Константиновна, скончавшаяся в 2001 году в Америке.

Убийство

«В самом начале у пленников была относительная свобода и русская охрана, жившая с ними в школе (Напольной в Алапаевске – *добавл. нами – Н.П.*), не мешала им и вела себя весьма корректно. Но когда русскую охрану сменила охрана из пленных австрийцев, людей нахальных и грубых, жизнь пленных резко изменилась» [4, с.3–4]. По своей инициативе охранники устраивали обыски, часто ночью или под утро. Вскоре условия проживания пленников ужесточились еще больше: им запретили встречаться, заставляли сидеть по своим комнатам. 17 июля в школу пришёл чекист Петр Старцев и несколько большевиков. Заключенным объявили, что ночью их перевезут в Верхнесинячихинский завод, в 16 верстах от Алапаевска. В 12 часов ночи из школьного двора выехали повозки, которые сопровождали местные чекисты с екатеринбургским комиссаром Сафаровым и таинственным человеком из Москвы, которого называли «товарищ комиссар»; именно его и схватил Великий князь Сергей Михайлович и вместе с ним упал на дно шахты 57, куда сопровождавшие столкнули пленников живыми.

28 сентября 1918 года войска Белой гвардии в составе 16-го Ишимского и 19-го Петропавловского полков и Курганского офицерского отряда почти без боя взяли Алапаевск. Здесь нашелся свидетель убийства Великих князей, старик-гренадер, который рассказывал: «...вышел я до рассвета, когда только заря зачиналась, а солнышка еще не было, и вижу, что по дороге на Верхнюю Синячиху едут повозки-коробки, числом так десять. В них сидят люди, по двое и по трое. Какие люди, сначала приметить не смог, еще темно было. Свернули на дорогу к шахтам и гусем доехали до шахты 57. Она была уже давно заброшена, и там никто не работал. Я решил узнать, что это за люди и что им надобно у шахты. Кустами я пробрался к пригорку у шахты и залег. Стало светлее, вижу, что ведут двух женщин и несколько мужчин, а сзади и спереди наши чекисты Останин, Зырянов, Гасников и другие. Потом смотрю и вижу, что все это великие князья. Тихо сначала было, только слышно, что женщины плачут, да князья что-то начали громко говорить и кричать. Потом неизвестный человек крикнул: «В шахту их сбрасывай», – и все тут смешалось, началась борьба, крики, шум. Вижу, один из князей схватил того, кто крикнул, чтобы в шахту сбрасывали, и бросился с ним в нее. Кто-то выстрелил, а потом начали стрелять и взрывать гранаты. От ужаса я замер и застыл на месте... Пойдемте, ваше благородие, я покажу вам шахту» [5, с. 4]. По воспоминаниям очевидцев, из глубины шахты в течение нескольких дней слышна была Херувимская песнь.

Вот так: путем допроса свидетелей и по оставленным уликам (обнаружена фуражка, оброненная кем-то из Великих князей) – был найден старый, заброшенный рудник, который находился недалеко от Синячихинской дороги. В 1984 году в американской газете «Новое русское слово» была опубликована статья некоего гражданина Радина, который приводит рассказ Рябова – одного из палачей алапаевских мучеников. «Рябов и другие изуверы, побросав свои жертвы в шахту, думали, что они утонут в воде, которая находилась на дне шахты. Но когда они услышали их голоса, то Рябов бросил туда гранату. Граната взорвалась и наступила тишина. Потом опять возобновились голоса и послышался стон. Рябов бросил вторую гранату, и тогда палачи услышали, как из шахты понеслось пение молитвы «Спаси, Господи, люди Твоя». Их охватил ужас. В панике

они завалили шахту хворостом и валежником и подожгли. Сквозь дым еще долетало до них пение молитв...» [6, с. 281].

Задаю себе вопрос: неужели страх был так велик, что не нашлось человека, который смог бы оказать помощь? Зная, что рядом в страшных мучениях умирают люди, спокойно продолжать жить? Внучка английской королевы Великая русская княгиня Елизавета Фёдоровна в этот трагический момент показала нам пример твердости и силы в вере православной, стала по духу истинно русской святой!

Рано утром 29 сентября 1918 года по распоряжению следственной комиссии, назначенной адмиралом А.В. Колчаком, началась расчистка шахты 57. В июле 1918 г. её обшивка взрывами ручных гранат была повреждена, поэтому произошли обвалы земли. Пленные большевики расчищали заваленную землёй, брёвнами, досками и кустами шахту. Было найдено несколько неразорвавшихся (!) гранат, их клали в ведро с водой и поднимали наверх.

Из казнённых первыми были извлечены тела инокини Варвары и князя Владимира Палей, который был найден в сидячем положении, то есть после падения он был ещё жив. Великого князя Игоря Константиновича нашли висящим на крючке, к которому в шахте когда-то прикреплялась лестница, – князь зацепился за него одеждой, да так и остался в этом положении. Тело Великого князя Сергея Михайловича нашли вместе с телом комиссара из Москвы. Тело Великой княгини Елизаветы Федоровны было найдено нетленным, с улыбкой на лице, правая рука её была сложена благословляющим крестом. Она упала не на дно шахты, а на выступ, находящийся на глубине 15-ти метров. Рядом нашли тело князя Иоанна Константиновича с перевязанной головой. Великая княгиня, вся переломанная, с сильными ушибами, пыталась и здесь облегчить страдания ближнего (см. с. 4).

Извлечение тел убиенных продолжалось несколько дней. В горле многих из них была обнаружена земля. Медицинское освидетельствование установило мученическую кончину жертв: они продолжали жить в шахте несколько дней и скончались от ушибов при падении в неё и от голода. Тела почивших были омыты и одеты в белые одежды и многолюдным крестным ходом 1 ноября 1918 года с пением «Святый Боже» понесли в Алапаевск, к Напольному училищу, там отслужили литию, затем в Свято-Троицком соборе отпели погубленных и перенесли в склеп, устроенный в южной части алтаря Собора, вход замуровали. Распоряжение о месте погребения сделал адмирал А.В. Колчак.

На восток

На Алапаевск наступали части Красной армии. В июне 1919 года встал вопрос о вывозе останков убиенных. Генерал М. К. Дитерихс, Главнокомандующий Восточным фронтом Колчака, способствовал получению игуменом Серафимом от Верховного правителя адмирала А.В. Колчака разрешения на перевозку гробов.

14 июля 1919 года, в самый разгар Гражданской войны, с важным грузом в товарном вагоне отец Серафим отправился в Читу.

«От Алапаевска до Тюмени, – читаем в специальном докладе игумена Серафима, – ехал один в вагоне с гробами 10 дней, сохраняя свое инкогнито, и никто не знал в эшелоне, что я везу 8 гробов. Это было самое трудное, ибо я ехал без всяких документов на право проезда, а предъявлять полно-

мочия было нельзя, ибо тогда меня задержали бы местные большевики, которые как черви кишели на линии железной дороги. Когда я прибыл в Ишим, где была ставка Главнокомандующего, то он не поверил мне, что удалось спасти тела, пока своими глазами не убедился, глядя в вагоне на гробы. Он прославил Бога и был рад, ибо ему самому лично жаль было оставлять на поругание нечестивым. Здесь он дал мне на вагон открытый лист, как на груз военного назначения, с которым мне уже было легче ехать и сохранять свое инкогнито. Много было и других разных опасностей в пути, но всюду за молитвы Великой Княгини Бог хранил и помог благополучно добраться до Читы, куда прибыл 29 августа 1919 года. От Алапаевска до Читы ехал 47 дней. Несмотря на то, что гробы были деревянные и протекали, особого трупного запаха не было, и никто, ни один человек не узнал за это время, что я везу в вагоне, в котором ехал я сам с двумя послушниками, которых взял из Тюмени» [7, с. 134].

Здесь необходимо сделать небольшое, но очень важное отступление. С июня по сентябрь 1919 года Ишим был ставкой Главнокомандующего Восточным фронтом, где сосредоточились все его подразделения. Штабом фронта было обнародовано тридцать приказов, подписанных Главнокомандующим фронтом М. К. Дитерихсом. Следовательно, в приведённом докладе игумена Серафима речь идёт именно о генерале М.К. Дитерихсе – Главнокомандующем Восточным фронтом армии Колчака. Совсем недавно было установлено, что штаб фронта белых войск в Ишиме располагался в здании женской гимназии (ныне музей П.П. Ершова), а кабинет генерала Дитерихса, который посещал 30 сентября 1919 года Верховный правитель адмирал А.В. Колчак, в настоящее время – кабинет руководителя музея. Получается также, что и сам игумен Серафим приходил в это здание, чтобы получить от Главнокомандующего документ на провоз груза.

Заметим, что в ближайшее время в музее будет создана экспозиция, представляющая историю белого движения в Приишимье. В кабинете в целостности и сохранности остались металлические скобы на окнах, которые закрывались железными ставнями изнутри, а в скобы вставлялись деревянные палки, такая система охраны прошлого века. Не менялась входная дверь в кабинет и половые доски. Изучив несколько слоев краски на стенах, можно обнаружить и воссоздать цвет стен.

Вернёмся к трагичным событиям 1919–1921-х гг. Красные наступали. Было принято решение увезти тела погибших в Китай; своё упокоение убиенные нашли в Пекине под сенью храма Китайских мучеников. Для Великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары это было временное пристанище, через восемь месяцев отец Серафим выполнил последнюю волю Великой княгини – доставил её мощи в Иерусалим.

«Нельзя было без слез смотреть, как прощался игумен Серафим с остававшимися в Пекине для дальнейшего упокоения останками других замученных, и как молился он затем на вокзале, во время панихиды, перед самым отходом поезда, около поставленных на открытую платформу гробов, чтобы Бог дал ему возможность выполнить волю Великой Княгини и благополучно доставить Ее тело в Иерусалим. Даже на китайскую толпу эта сцена произвела сильнейшее впечатление» [8]. Местом погребения княгини была избрана крипта русской церкви Святой Марии Магдалины в Гефсимании. Храм был воздвигнут Александром III в память его матери Императрицы Марии Александровны. На освящение храма в 1888 году приезжали Великий князь Сергей Александрович с супругой Елизаветой Федоровной – через 33 года Великая княгиня нашла здесь свое упокоение!

Игумен Серафим

Монах Белогорского монастыря в Пермской губернии игумен Серафим (Георгий Кузнецов) родился 3 августа 1875 года в купеческой семье города Чердынь этой же губернии. В возрасте 27 лет был пострижен в монахи (деревянный дом его, говорят, сохранился по сей день – если в последние времена не попал в программу «Ветхого жилья»).

С Великой княгиней Елизаветой Федоровной судьба сводила игумена не раз, например, в годы Первой мировой войны, когда он служил военным священником, затем во время её паломнической поездки на Урал. Во время революции, волнуясь за княгиню, игумен Серафим едет в Москву с предложением к ней укрыться в старообрядческой деревне под Алапаевском, но Елизавета Федоровна отказывается, боясь, что её побег навлечёт репрессии на родных.

В это время Великая матушка попросила о. Серафима похоронить её в Иерусалиме. Узнав о гибели Княгини вместе с Великими князьями, игумен лично участвовал в поиске и извлечении со дна шахты их тел, а затем два года вез останки святых мучеников через Сибирь в Китай, а потом на Святую Землю – в Иерусалим. Отец Серафим остался в Иерусалиме и прожил остаток своей жизни в небольшой келье, совершая ежедневно богослужения об упокоении своей духовной дочери и замученных вместе с ней. Уральский священник умер 7 марта 1959 года.

* * *

И все же вопрос остается открытым! Кому из алапаевских мучеников могла принадлежать памятная книжка? Тщательно изучив даты рождения Великих князей и помня, что «царская книжка» датирована 1891 годом, мы приходим к выводу, что никому из убитых в шахте алапаевских мучеников книжка не могла принадлежать!

Великому князю Сергею Михайловичу, на год записей в книжке было 22 года, то есть в это время уже не изучают французский и естественную историю. Князю Иоанну Константиновичу 5 лет, Константину Константиновичу один год, а Игорь Константинович и Владимир Павлович Палей еще не родились. Вот такая простая арифметика! Встает еще один вопрос, зачем взяли с собой эту книжку? И здесь напрашивается только один ответ: взяли как почтовую бумагу. Они ехали в полную неизвестность, поэтому чистые листы в книжке могли послужить запиской или письмом с дороги.

Безусловно, эта книжка не могла быть вынута из нагрудного кармана в момент казни; скорее всего, ее изъяли во время обыска, когда Романовы жили в Напольной школе Алапаевска. Но такое действие могло быть совершено и при других обстоятельствах. Так, существует следующее свидетельство: «трупы не разложились и потому были легко опознаны близко знавшими их людьми. Почившие были найдены в своих одеждах, в которых находились в заточении и имели на себе личные документы, **дневники** (выделено нами – Н.П.) и посмертные распоряжения» [9, 2-3].

Все-таки окончательно вопрос о принадлежности книги не был решен, но появилась очередная идея: книга могла принадлежать старшему из братьев семьи Великого князя Константина Константиновича Романова, но здесь снова нас ожидало разочарование, старшим из детей оказался Иоанн, которому как известно в 1891 году было всего пять лет. И вот тогда осенила еще одна мысль! А не могла ли записная книжка принадлежать

убитому на Урале в ночь с 12 на 13 июня 1918 года Великому князю Михаилу, брату Николая II?! Да... «в огороде бузина, а в Киеве дядька!». Посчитали, все совпадает, в 1891 году ему было 13 лет! Мы предполагали, что именно гимназистом и примерно в этом возрасте могли быть сделаны записи в книжке. Появился шанс доказать принадлежность, проведя графологическую экспертизу, образцы почерка Великого князя явно сохранились.

Сегодня мы можем только гадать, как царская книжка, преодолев крутые виражи истории, оказалась в ишимском музее!

P.S. С 1994 года в Богоявленском соборе города Ишим хранятся частицы мощей Великой княгини Елизаветы Фёдоровны и её келейницы инокини Варвары, преподнесённые Первоиерархом Русской Зарубежной церкви митрополитом Виталием Владыке Евтихию. За эти годы сотни ишимцев поклонились и приложились к святым мощам с мольбой: «Святые преподобномученицы Великая княгиня Елизавета и инокиня Варвара, молитесь Бога о нас!».

Список литературы

1. Миллер Л. Святая мученица российская Великая княгиня Елизавета Фёдоровна. – Москва, 2006.

2. Миллер Л. Святая мученица российская Великая княгиня Елизавета Фёдоровна. – Москва, 2006.

3. Миллер Л. Святая мученица российская Великая княгиня Елизавета Фёдоровна. – Москва, 2006.

4. Кур А. Убийство Великих князей в Алапаевске 18 июля 1918 г // Знамя России. – 1961. – № 211.

5. Кур А. Убийство Великих князей в Алапаевске 18 июля 1918 г // Знамя России. – 1961. – № 211.

6. Миллер Л. Святая мученица российская Великая княгиня Елизавета Фёдоровна. – Москва, 2006.

7. Мелихов Г.А. Белый Харбин. Середина 20-х. – М. – 2003.

8. Дитерихс М.К. Убийство Царской семьи и Членов Дома Романовых на Урале. Москва, 1991, с 352

9. Алапаевское убийство. (Историческая справка) // Царский вестник. – Белград. – 1931.

Татьяна СОЛОДОВА

«САМОСТОЯНИЕ» УЧИТЕЛЬНИЦЫ ХАРИТИНЫ ИГНАТОВОЙ

...ей путь осветила любовь...

Х. Игнатова

Выдающийся литературовед и культуролог 20-го века Ю. М. Лотман писал: «История проходит через дом человека, через его частную жизнь. Не титулы, ордена или царская милость, а «самостояние человека» превращает его в историческую личность».

Самостояние учительницы Х.И. Игнатовой очевидно. Об этом свидетельствует её жизнь, связанная с Тобольском, жизнь, к сожалению, не оценённая по достоинству, не востребованная для памяти потомками, канувшая в Лету забвения.

Как порой государство духовно обедняет своих граждан, самовольно и самодурно вычёркивая из общественной памяти людей прошлого, способных стать высоким примером благородства мысли и поступков, твёрдости и стойкости взглядов, только из-за того, что они думали, действовали, творили не по указке политической и идеологической системы этого самого государства!

Вот и Харитина Ивановна Игнатова пришлась «не ко двору» стране строящегося социализма и коммунизма с его воинствующим атеизмом, потому что весь её путь в жизни, насколько удалось узнать его, освещала любовь к Богу, под которой она понимала, прежде всего, стремление к православно-нравственному совершенству. И не только своё собственное стремление: это желание сделать лучше своих учеников – крестьянских детей, их родителей, девочек-воспитанниц епархиального училища, где она одно время служила. А по большому счёту – способствовать по мере сил духовному росту общества. Вот такую огромную задачу ставила перед собой скромная молодая учительница Харитина Игнатова.

Но одно дело ставить, а другое – реализовывать. Харитина Ивановна, насколько это было в её силах, целенаправленно, через трудности, через сопротивление мощнейших препятствий в виде общественных катаклизмов шла к своей цели. В итоге, поняв, что мир не только не становится духовно выше, но и, наоборот, утопает в жестокости и несправедливости, решила посвятить себя Богу, уйдя в тридцать один год в монастырь, чтобы хоть в какой-то степени искупить перед ним жестокость, враждебность, бесчеловечность людей.

Разве это не возвышенно и благородно?! Мы можем разделять или не разделять её религиозные взгляды и устремления, но то, что она – личность, достойная глубокого уважения и памяти, – несомненно. И её жизнь, думается, должна быть интересна для нас, живущих в других исторических условиях и имеющих совсем другое воспитание.

Харитина Игнатова родилась в 1887 году в семье псаломщика из крестьян степного края Курганского уезда. Она рано потеряла отца. Воспитывалась и обучалась в Тобольском епархиальном женском училище. Выпускницы училища имели право служить в сельских церковноприходских школах. Восемнадцатилетняя Харитина после окончания обучения едет в

Курганский уезд и начинает свой нелёгкий путь сельской учительницы, которому она посвятила 10 лет.

*Сеет незримое семя она,
Души детей зажигает
И от глубокого, долгого сна
Тёмный народ пробуждает,*

– напишет позже Харитина Ивановна в стихотворении «В отставке», где создаёт образ пожилой учительницы, отдавшей всю свою жизнь служению «на ниве народной».

Молодая учащая (так в то время называли учительниц начальных школ) поставила своей целью не просто учить детей, но всесторонне развивать, облагораживать их души. Она рисовала им, читала, рассказывала, декламировала стихи.

В годы советской власти прочно закрепилось мнение о дореволюционном религиозно-школьном образовании как об очень рутинной системе, дающей мало знаний и отупляющей ум детей. Учителя церковных школ представлялись отсталыми, плохо образованными людьми. То, что на самом деле в огромном большинстве случаев это было далеко не так, говорит пример Харитины Игнатовой.

Чтобы не быть голословной, приведу отрывки из её дневников 1912–1913 годов:

«18 сентября 1912 г. ...Больше жизни, радости, привета! Пусть они не замечают часов. Надо раскрыть души детей, и тогда работать над ними...

20 сент. ...Много радости нашла сегодня. Видеть, как зажигается мысль в глазах детей...

Жизнь пусть будет рядом с книгой, она поясняет, закрепляет уроки школы...

25 сент. Недовольна собой. Отпустила детей раньше прежнего. Весь день была раздражительна. Где мир, там и Бог, надо это помнить. Некуда спешить. Поспешностью можно только повредить делу. Пусть будут основательны первые уроки, они обеспечивают дальнейший успех...

26-го. Духа не угашайте! Надо помнить это. С чем пришли ко мне дети, я это должна узнать. Сегодня очень легко и весело учились. Я была спокойна и потому изобретательна.

27-го. Меньше надо говорить. От моей неустанной болтовни устаёт внимание ребят...

5-го февр. 1913 г. Дети легко учились, были добры, т. к. я сама была внимательна и весела. Георгий, маленький мальчик с большой головой страшно обижается и плачет при моём замечании: «Ах ты, голова»! Забуду эту привычную фразу...

8-го. Убедилась в том, что учащий должен постоянно заинтересовывать детей чем-нибудь новым, иначе они охлаждаются к ученью и начинают сами себя развлекать.

(Без даты). Дети не так беззаботны, как кажется. Надо каждого из них ввести в предмет, и пусть ученик работает над ним самостоятельно. Развить в детях охоту к взаимному обучению. Быть скупой на упрёки и наказания...».

Харитина Ивановна очень любила своих учеников, но не идеализировала их. Она упорно и систематически боролась с их грубыми манерами, ленью, недисциплинированностью. Особенно возмущало её пьянство, распространённое не только среди взрослых крестьян: многие её ученики не скрывали, что по праздникам систематически пили водку.

*Не злодей, не разбойник, не лютый пожар
Меня, братцы, заставил скитаться.
Ах, одно лишь, одно загубило меня,
Что до пьяна любил напиваться!*

– писала Харитина Ивановна в одном из своих стихотворений. Она всячески старалась довести до сознания детей, что водка – это зло, она разрушает здоровье и вредит разуму.

Учительница не раз обращалась в Тобольский губернский комитет попечительства о народной трезвости, и ей высылали целую противоалкогольную библиотечку с книжками, простыми, интересными и полезными не только для детей, но и для их родителей. Пользуясь этими книжками, Харитина Ивановна проводила в школе «Уроки трезвости» для детей и противоалкогольные чтения для взрослых. Она понимала, что детское пьянство не искоренить, если родители школьников будут продолжать пить.

Мысль о том, что она, учительница, может помочь крестьянским детям, часто не развитым, с грубыми привычками и наклонностями, путающим добро и зло, стать не только грамотными, но и, главное, лучше душой, нравственно возвыситься над грязью жизни, вела Х.И. Игнатову дальше по выбранной жизненной стезе. И всегда находились среди её учеников дети, которые служили для неё опорой, своеобразным показателем того, что труд её не напрасен.

Условия труда сельской учительницы того времени чаще всего обременялись бытовыми трудностями: тесное жильё, промёрзшие зимой стены, дымящаяся печка, мизерное жалование – всё это имелось и в жизни Харитины Ивановны. Типичнейший драматизм судьбы учащей, что чаще всего её обходило женское счастье в виде достойного мужа и детей. Очень трудно было найти в глухом селе мужчину, не то что равного по образованию, но даже элементарно грамотного, не говоря уже о близости по духу, интересам, взглядам. Вот и Харитина осталась одинокой.

Не раз ею овладевало отчаяние, подобное тому, которое она однажды описала в своём дневнике: «Я скоро буду не в силах сносить эту тяжесть. Чего желала, от того прошу избавления. Прекрасен подвиг, когда его совершает другой, но если самому дана такая задача, хочется крикнуть: «Лучше умереть, нежели жить». Не могу я выносить этого, не умею, а оставить дело – нет решимости».

Но каждый раз она находила силы что-то изменить в себе, по-новому построить отношения с учениками, обратиться к другим способам ведения уроков. Школа, дети, желание быть полезной, профессиональный долг и глубокая религиозность вели её по жизни, не давая падать духом.

Харитина Ивановна хорошо понимала, что тех знаний, которые она получила в Епархиальном училище, особенно по методике преподавания и детской психологии, недостаточно для того, чтобы качественно учить детей. Ведь она поставила своей целью дать ученикам серьёзные познания и укрепить в них православные традиции, воспитать духовно. Она старалась летом, во время вакаций, хотя бы на несколько дней приехать в Тобольск, чтобы приобрести нужные книги, но их было в городе, далёком от центра образования, очень немного. С большим желанием она училась на летних педагогических курсах, которые каждый год организовывались для учителей церковных школ Тобольской епархии.

В 1914 году Харитина Игнатова становится воспитательницей в женском епархиальном училище, которое окончила 10 лет тому назад. Она

прослужила там три года. Свою работу воспринимала не как обязанность, а как любимое занятие по зову души и сердца.

«Надо быть очень внимательной и ответственной, чтобы не запугать детей, чтобы сильнее заинтересовать их учением, дать им больше светлых впечатлений. Но какой надо иметь ум, чтобы подумать о каждой из них! Какое надо иметь сердце, чтобы почувствовать с каждой из них! Правда, должно быть авторитетом, но не надо высокомерного или грубого тона, пример есть лучший урок. В каждой ученице я буду видеть себя, когда была маленькой, – вот о чём думала новая воспитательница. – Я не позволю, чтобы одиночество, тоска и разлука с домом заполонили сердце первоклассниц, я буду стараться, чтобы они полюбили училище так, как любила его я, расскажу им его историю».

Своим воспитанницам-епархиалкам она старалась внушить благочестие, пробудить в них искреннее и горячее приобщение к религиозно-духовной жизни церкви.

Вскоре Харитина Ивановна поняла, что её образование недостаточно, и в 1917 году, в возрасте тридцати лет, она поступает в Тобольский учительский институт, который в этом году впервые объявляет набор женщин-слушательниц.

С детства Харитина чувствовала в себе литературные способности и, начиная с 1909 года, стала печататься в газете «Тобольские епархиальные ведомости». Причём была первой женщиной, чьи стихи появились в этой газете. Они назывались «Былинка». Уже это первое опубликованное произведение молодой учительницы определило характер её будущего литературного творчества – духовно-нравственный.

*Родилась былинка весной
Из влажной и тёплой земли.
Ей солнце лучи золотые
Привет от него принесли...
Я та же былинка. И греет
Ученье Христово меня,
И пламенным сердцем ищу я
Предвечное Солнце, тебя!*

Спустя несколько лет, Харитина Игнатовна стала первой женщиной, чьи мемуары были опубликованы в газете «Тобольские епархиальные ведомости». Её воспоминания о раннем детстве, времени обучения в епархиальном женском училище, первых годах службы в церковноприходской школе – свидетельство незаурядного творческого дарования. Написанные ярко, живо, без приукрашивания, хорошим литературным языком, они являются единственной частью её литературного наследия, замеченного нашими современниками. К ним обращаются учёные-педагоги, рассматривая историю духовных учебных женских заведений конца XIX – начала XX веков. Более того, отрывки из её мемуаров были напечатаны в сборнике «Епархиалки», вышедшем в Москве в 2011 году.

Её воспоминания, пожалуй, самая интересная и увлекательная для современного читателя часть литературного наследия писательницы и свидетельство её незаурядного творческого дарования. Мемуары позволяют заглянуть в то, что давно ушло в прошлое: жизнь семьи провинциального сельского священнослужителя конца XIX века, внутренний быт закрытого учебного женского заведения духовного типа, деревенская церковноприходская школа.

Остальной части творчества Игнатовой повезло гораздо меньше, точнее, совсем не повезло. Она публиковалась исключительно на страницах

газеты «Тобольские епархиальные ведомости», причём в те годы была самым продуктивным её автором: с 1909-го по 1919-й год в этой газете разместились 64 её публикации: стихотворения, статьи, эссе. С окончательным приходом советской власти в Тобольск газета прекратила своё существование. С тех пор не было напечатано и ни одно стихотворение, ни одна статья Харитины Ивановны.

Дореволюционная женская литература, особенно провинциальной России, мало интересовала советских исследователей. Они очень редко даже просто упоминали тех из писательниц, за исключением самых известных, которые перестали печататься после Октябрьской революции. И на это были свои причины: писать о них не всегда являлось безопасным. Ведь исчезновение публикаций их произведений часто объяснялось не тем, что они вышли замуж, завели семью, исчерпали свой творческий потенциал, а тем, что относились к советской власти резко неприязненно.

Большинство произведений Игнатовой связано с религиозной тематикой. «Ученье Христово» душевно согревало её, вело по жизни и побуждало к творчеству.

*Всё, что прекрасно, чисто, благородно
В душе и сердце было у меня –
Желанья, песни, думы и молитвы –
Всё это, Чудный, было от тебя!..
Люблю мои родимые картины
Природы, этой книги золотой.
А книга жизни, дар неоценённый,
Она ещё дороже мне с Тобой...*

Многие стихи Харитины Ивановны построены как поэтические молитвы или гимны, прославляющие Бога, для которого она находит очень много говорящих, воспевающих его эпитетов и имён: «Всеведущий Учитель, грешников Спаситель», «Агнец Непорочный», «Распятый мира Искупитель», «Подавший утешение, Жертва Искупления».

Тонко воспринимая красоту природы, она ощущает её, прежде всего, как Божье творенье:

*Есть Он Великий, Чудный Зиждитель,
Света Источник, жизни Строитель,
В бездне вселенной звёзды рассеял,
В поле цветочки он возлелеял...*

Поэтессе очень волнует проблема греховности человека, его земных страстей и искупления перед Богом:

*Мы жалкие рабы, бессильные, больные,
Измученные долгою, напрасною борьбой.
Зовут нас высоко стремленья неземные,
Но страсти заковали нас цепью роковой.*

Несколько стихотворений Харитина Ивановна посвящает теме креста как символу тяжести искупления грехов страданиями и беззаветной любовью к ближнему.

Как бы ни было тяжело нести крест, это необходимо для спасения души. Крест несёт не только отдельный человек, но и весь народ. Его помогает нести народу Спаситель, освещая тяжёлый путь:

*Посмотри – впереди засияла звезда:
Освещает Спаситель тяжёлый твой путь...
Он страдал и воскрес. Он с тобой, – не забудь!*

К образу креста как к символу очищающего страдания неоднократно обращалась Харитина Ивановна и в своих эссе:

«...Какая божественно великая истина: после креста – воскресение; после страдания – радость; после смерти – победа!..

Крест всемирного страдания велик бесконечно и великое воскресение подаёт он... – восклицает она в эссе **«В Спасов день 1-го августа»**.

Сквозь призму христианских воззрений смотрит Харитина Ивановна на роль женщины в обществе. Она считает, что именно «христианство, созданное при участии женщины, подняло её до современного равноправия». В статье **«Женщина в деле распространения христианства и созидания Церкви Христовой»** она, обращаясь к религиозно-историческим примерам, утверждает, что «женщина в созидании Церкви Христовой явилась равноапостольной, мученицей, подвижницей... Церковь всегда признавала права женщины, столь заслуженные и выстраданные, и не отвергала участие женщин в своей созидательной и просветительной работе».

С религиозных позиций писательница рассматривает и вопрос о свободе (ст. **«Кому принадлежит свобода и на что она нужна»**). С её точки зрения, свобода – это категория не общественно-политическая, а духовно-нравственная: «Христианин свободен, хотя бы тысяча тиранов мучила его, потому что истина с ним: истина же есть святая свобода, усыновление Богу, откровение великой любви».

Автор верит в будущее страны, народа, но эта вера связана не с политическими изменениями в жизни. Для неё обновление мира возможно лишь через религиозное обновление души, в котором искренняя, горячая молитва играет важнейшую роль.

В статье-эссе **«Церковные торжества в Тобольске»** – в честь Абалакской Божьей Матери она, горячо и страстно протестуя против тех, кто заговаривает о ненужности церкви, утверждает огромное значение церкви в духовной жизни общества: «Кто скажет нашей душе «глаголы жизни вечной»? – Только в церкви и только церковь!.. Кто из людей настолько нравственно вырос, что уже не нуждается в поддержке Церкви? Кто настолько силён, чтоб не молить чуда в минуту безвыходного горя? Кто настолько духовен, чтоб не нуждаться в церковной обрядности, молясь Богу?».

Прозу Харитины Ивановны можно назвать прозой (за исключением воспоминаний) часто лишь условно. Скорее, это стихотворения в прозе. Наверное, иначе и не могло быть у автора, обладающего поэтическими способностями и искренне, глубоко, возвышенно верующего. Только ритмическая проза или стихотворная речь могли передать те религиозные чувства и мысли, которые она хотела донести до своего читателя. Особенно это относится к той части её творческого наследия, которую можно назвать этико-религиозными эссе: **«О необходимости проповеди христианства»**, **«Кому принадлежит свобода и кому она нужна?»**, **«В церкви и в жизни»**, **«Перед образом Христа Спасителя»**, **«Вечерняя песнь»**.

Названия этих произведений, как и других, относящихся перу Игнатовой, довольно сухи и прозаичны, кроме стихотворения в прозе **«Вечерняя песнь»**, но за этой их сухостью скрывается поэтичность и образность языка, наполненного эпитетами и метафорами. Особенно впечатляет небольшое эссе **«Перед образом Христа Спасителя»**:

«Когда Твой образ предо мной блистает в сиянии святости, когда глубокой тишиной моя душа объята, склоняюсь я перед Тобой, и целый мир, слагая песни и моления, зовёт Тебя, Святый и Вечный...»

Скажи мне, что такое зло? Зачем оно так царствует у нас, когда Единый Царь Вселенной – Ты, во свете и любви живущий? Оно несёт страдания, слёзы, муки, и все ему послушные рабы; Ты радость подаёшь такую, какой не знать далёким от Тебя...

Когда узнает мир, что нет ему спасенья в его гордыни? Когда узнает, что спасение лишь там, где тишина святыни, где мир Твой, оживляющий сердца, где вера, просвещающая души, где Ты, Своим учением любви зовущий жить во веки?.. О, как велико счастье знать Тебя! Ты всё даёшь: свободу, очищение, силу! Ты окрыляешь мысль и раны исцеляешь, и даруешь покой, и поднимаешь дух, и утверждаешь веру... Мой Бог, как бесконечно величие Твоё, как чудно и свято Твоё имя!.. Да, в этом имени спасительная благодать, дающая всему живому назначение и смысл, и дивную гармонию вселенной, и неизменный закон о всепрощении... Да, в этом имени моя тоска и радость, успокоение, надежда и страдание, о нём живу и новой жизни ожидаю, им проверяю всякое желанье».

Думается, что произведения писательницы не оставят равнодушным читателя верующего. Много дадут они и тем, кто размышляет над глубинными вопросами бытия. Кроме того её творчество – это факт истории. Оно даёт возможность понять людям будущих поколений, что думал, что чувствовал истинно верующий православный человек в сложный и трагический период развития русского общества начала XX века.

Харитина Ивановна в своём творчестве откликалась на важнейшие события своего времени. Тема войны 1914-го отразилась и в её поэзии, и в прозе.

*...Глаза родимой матери недремотно, без усталости
Всё ждут... А не дожидаться им...
Глядят... Не доглядеться им...
Ты, море говорливое, широкое, глубокое,
Молчи, затихни, бурное,
Усни, моя кручинушка!
Что пташка быстролётная,
Помчусь на дальнюю сторону,
Сыщу я сына милого,
Возьму его у смертушки...
Дай, солнышко, взглянуть ещё
На очи твои ясные,
Цветочек мой лазоревой,
Дитя моё сердечное,*

– пишет она в стихотворении «**Песня о матери**». Это стихотворение было даже дважды напечатано в газете «Тобольские епархиальные ведомости»: в 1915-м и 1916-м годах. Написанное в народном стиле, утверждающее святость материнской любви, которая может отнять сына даже у смерти, оно, видимо, полюбилось читателям газеты.

Дважды был напечатан и её очерк-эссе «**В наши дни**»¹. В нём Харитина Ивановна рассказывает об очень драматичном эпизоде на Тобольской пристани, свидетельницей которого она стала, – как мать провожала своего сына на фронт:

«Я помню страшные по своей скорбной глубине глаза матери, когда она смотрела на сына-солдата, идущего на пароход.

Третий свисток.

Трапы взяты. Между народом и пристанью образовалось пространство. Оно всё больше и больше.

¹ ТЕВ. – 1916, № 41 и ТЕВ. – 1917, №№ 14-15.

Шумят пары, застилая белой пеной толпу народа. Шумят люди на уходящем пароходе и на пристани.

И вдруг все эти разнообразные звуки покрывает один крик. Это мать кричит. Её держат; она рвётся, вся устремившись вперёд, в сторону удаляющегося парохода... Её сын чуть виден, он ещё машет фуражкой, но видит ли его мать? Она кричит и бьётся в смертной тоске на руках чужих людей...».

Институт казался Х.И. Игнатовой обителью науки, сосредоточием всего высокого, благородного. Однако оказалось, что это далеко не так. Бурное кипение общественной жизни в стране остро чувствовалось в стенах этого учебного заведения.

Декрет об отделении церкви от государства, противостояние верующих и атеистов-большевиков, репрессии по отношению к церковнослужашим пугали Игнатову своей несправедливостью и страшным будущим. Часть студентов требовала самоуправления, саботировала занятия, выступала против Закона Божия как обязательного предмета. Проучившись год, Харитина Ивановна подаёт прошение об «увольнении из института.

Ещё будучи воспитанницей епархиального женского училища, она дала себе клятву стать монахиней. Это детское желание переросло в твёрдое убеждение. Дважды она пыталась осуществить своё намерение. Однако каждый раз этому мешали жизненные обстоятельства. Осенью 1918 года она стала послушницей Тобольского Иоанно-Введенского монастыря.

С детства устремлённая к идеальному, она искала в монастыре не покоя для себя, не защиты от жестокой реальности – она решила посвятить себя Богу и тем самым в какой-то степени искупить перед ним как раз ту самую жестокость, враждебность, бесчеловечность людей. Подвижничество было идеалом этой женщины с юных лет. Подвижнической являлась её служба в сельской школе. Теперь это подвижничество приобретёт более близкий к Богу характер. Она внесёт свою маленькую лепту в ходатайство за людей перед Всевышним.

Сначала Харитина Ивановна несла послушание воспитательницей в монастырском приюте. Потом, когда советская власть перевела девочек из приюта в детский дом, она, посвящённая в 1920 году в рясофоры, стала чернорабочей в сельскохозяйственной общине «Трудовые хлеборобы», организованной монахинями для того, чтобы сохранить обитель от ликвидации.

В 1924 году после шумного судебного дела по обвинению монахинь Иоанно-Введенского монастыря в укрытии церковных ценностей от советской власти монастырь закрыли. Часть монахинь рассеялась, ушла в «мир», но большинство ещё до 1928 года продолжали жить в кельях. В 1928 году «пленительная Междугорская пустыня», как называл эту обитель историк Пётр Слобцов, окончательно опустела.

Какова дальнейшая судьба Х.И. Игнатовой, неизвестно. Её «книга жизни, дар неоценённый», как писала она в одном из своих стихотворений, остаётся наполненной белыми страницами неведения.

История бытия Харитины Игнатовой – яркий и убедительный пример служения высоким религиозно-православным идеалам.

Автором этой статьи написана и ждёт своих спонсоров документально-художественная повесть «Книга жизни учительницы Х.И. Игнатовой», в которой широко использованы воспоминания, записи, дневники и автобиография героини, архивные и музейные источники.

Алина ВАЛГЕ

Забывшие имена

МАНЯЩАЯ СИБИРЬ

На недавней научно-практической конференции старшеклассников один из докладов был посвящён финскому исследователю Эрику Густаву Лаксману и назван организаторами форума сенсационным. Между тем, о Лаксмане писали и писали немало. Ему посвящали свои очерки и тюменцы. В том числе – прославленный своими исследованиями автор документальной прозы Анатолий Омельчук и полтора десятка лет проработавший собственным корреспондентом газеты «Труд» по Западной Сибири известный журналист Леонид Иванов. Но будто и не было этих публикаций, если даже нынешние краеведы о них совершенно не знают, заново открывая давно известные страницы.

Есть в Тюменской области село Чёрное. Когда-то в пору освоения Сибири имело оно немаловажное значение, поскольку через него пролегла дорога из стольного града Тобольска на восток Сибири, поскольку здесь была почтовая станция Дресвянка. В советские времена село разрасталось, долгое время было центральной усадьбой, а с разорившей российскую деревню перестройкой быстро захирело. Закрылся клуб, потом школа, многие дома закрыли ставнями свои глаза-окна и медленно начали проедать крышами и устало кособочиться в разные стороны.

И удивительно, что когда в соседних деревнях для сдачи в металлолом снимали со столбов телефонные и электрические провода, чудом не тронули охочие до грошовых заработков «металлисты» укрепленный на железных трубах большой лист нержавеющей стали – памятный знак в честь финского исследователя Сибири Эрика Густава Лаксмана.

Чтобы попасть в Дресвянку, которой теперь нет даже на крупномасштабной карте Тюменской области, от автодороги, что соединяет Вагай с Аромашево и идет дальше на юго-восток до Ишима, надо свернуть влево и проехать несколько километров до полузаброшенной деревни. Здесь, на берегу реки Вагай, неподалеку от разрушенной церкви находится затерянная могила ученого и стоит памятный знак. На листе нержавеющей стали, прикрепленном болтами к врытым в землю ржавым трубам, выгравировано, что здесь 16 января 1796 года по пути в Иркутск умер и похоронен выдающийся финский ученый и путешественник Эрик Густав Лаксман.

Эта надпись не совсем соответствует действительности. Дело в том, что Лаксман действительно первую половину своей жизни провел в Финляндии, но с таким же правом его можно назвать и шведским ученым, потому что родился он в 1737 году в небольшом городке Нейшлоте, как называлась эта крепость во время шведского правления. Но правильнее всего было бы написать – «русский ученый», потому что Финляндия в те годы входила в состав России, а естествоиспытатель, химик, путешественник, профессор экономики и химии Эрик Густав Лаксман в феврале 1770 года был избран академиком Российской Академии Наук и в России, где провел вторую половину жизни, многим был известен больше как Кирилл Густавович.

Эрик учился в Боргосской гимназии с ее богатой коллекцией минералов, потом закончил университет в финском городе Або, ныне известном как Турку, стал пастором. Но значительную часть времени в ущерб своим церковным обязанностям уделял изучению природы южной Финляндии, собирал гербарии и отсылал их в Петербург с надеждой приобрести к деятельности Академии Наук.

В 25 лет Эрик уезжает в Петербург, навсегда оставляя свой родной городок Савонлинна, который, между прочим, вошел в историю русско-шведской войны, как небольшая русская крепость Нейшлот. Шведы так и не смогли открыть ее ворота, хотя обороняли форт всего две с половиной сотни солдат под командованием майора Кузьмина. То ли дух в тех местах такой непокорный витает, то ли еще что, но и у Эрика Лаксмана был характер твердый и непокорный, что не раз потом очень сильно ему досаждало в жизни и приводило к большим конфликтам с руководством.

Именно по этой причине имя ученого-энциклопедиста нередко забывали упоминать в научных трудах, а нередко большие ученые мужи с положением и званиями просто бессовестно пользовались его открытиями. Вообще же судьба этого человека необыкновенна. Он был из тех одержимых людей, которые с юности и до последних дней стремятся к одной цели – раскрыть тайны природы.

Приехав в Петербург и заняв место воспитателя в пансионе при церкви св. Петра и Павла, Лаксман интересуется естественными науками, знакомится с учеными – Миллером, Палласом, Фальком. Не без их влияния молодой натуралист всерьез задумывается о серьезной науке, ездит в экспедиции на юг и север России, в Поволжье, часто один исследует окрестности столицы и проникается неподдельным интересом к Сибири, о которой в то время ходило столько разговоров.

А тут вскоре поступает предложение занять место пастора в Барнауле. В этом городе и его окрестностях проживало на то время всего несколько католиков, и потому у святого отца было много свободного времени, которое он целиком посвятил науке.

За 5 лет пребывания в Барнауле Лаксман сделал множество открытий в ботанике, зоологии, метеорологии, минералогии, химии, совершил далекие путешествия. Он побывал на границе Монголии и Китая, доезжал до Кяхты. При своем доме завел сад, где выращивал сибирские растения, делал гербарии и отправлял в Петербург Карлу Линнею. Но самой большой страстью его жизни было собирание редких минералов. Эта страсть достигла предела мечтаний, когда он побывал на Байкале. После этого Лаксман оставляет путь религиозного служителя и целиком отдается науке.

В 1769 году в печати появляется целая серия его научных трудов. А на следующий год его избирают в Академии наук ординарным академиком по экономике и химии.

В 1780 году будучи уже академиком и профессором, добился назначения в Нерчинск горным советником ради того, чтобы продолжить свои исследования. В 1784 году Кабинет императрицы жалует ему должность минералогического путешественника, и Лаксман выбирает местом своего постоянного жительства Иркутск, который был наиболее богатым и оживленным городом Сибири, объединял восточные и западные торговые пути России. В Иркутске ученый поселяется с семьей на остальные годы жизни. А семья, надо отметить, была немаленькой – жена Екатерина Ивановна, сыновья Мартин, Корсиан, Иосиф, Константин и дочь Мария. При доме

содержали сад и оранжерею, где росли еще неизвестные в сибирских краях картофель, вишня, яблоки и персиковое дерево. На аптечном огороде выращивалось множество ароматных и лечебных трав.

В Иркутске Лаксман создает первый в Сибири общественный музей, а в 40 верстах от города по Амурскому тракту строит собственный стекольный завод, где применяет изобретенный им новый способ варки высококачественного стекла по глауберовой технологии. Для этого использует природную соду или сульфат натрия, залежи которого были в изобилии в местных озерах. Это сделало производство стекла выгодным как экономически, так и экологически.

Путешествуя по Лене, Вилюю и Забайкалью, открыл светло-зеленый гранат, байкалит и вилюит. Благодаря Лаксману в Сибири стали известны месторождения лазурита, берилла, циркона, флогопита и других ценных минералов. Он предложил новую технологию получения селитры и дефицитной для Сибири поваренной соли способом вымораживания озерной рапы.

В эти годы Лаксман приобретает все большее уважение и мировое признание. В течение короткого времени становится действительным членом Стокгольмской Академии наук, членом нескольких зарубежных обществ по естественным наукам. Но зависть российских коллег и своенравный характер молодого ученого стали причиной многих его неурядиц. Дело дошло даже до домашнего ареста и перевода (это, наверное, единственный такой случай в научной практике) из действительных академиков в почетные.

А когда слухи о взаимной неприязни ученого с руководством Академии и следующих по этой причине неприятностях дошли до зарубежных коллег, Лаксману прислали официальное приглашение заведовать кафедрой Стокгольмского университета. Вместо этого Эрик Густав Лаксман едет простым чиновником в Сибирь, где тоже часто не ладит со своим начальством из-за того, что не хочет подстраиваться под заведенные здесь правила и открыто осуждает процветающее мздоимство.

Зато зарубежный авторитет растет стремительно, и вот уже шведский король Густав III за неопределимый вклад в науку наградил Лаксмана двумя золотыми медалями.

А когда на берегу Байкала Лаксман обнаружил месторождение лазурита и с отчетом об открытии послал в столицу образцы этого поделочного камня, императрица приказала украсить лазуритом свою ванну в Царскосельском дворце, названную «лазурной». Даже сегодня об открытии ученого напоминают вазы, столы и чаши в Эрмитаже, облицовка зала в Мраморном дворце и других дворцовых постройках.

В немалой степени это способствовало тому, что Лаксману удалось добиться аудиенции у Екатерины для решения судьбы японских моряков. Их, потерпевших кораблекрушение, спасли русские мореплаватели и в феврале 1789 года привезли в Иркутск для решения дальнейшей судьбы. Лаксман стал часто бывать в этом доме, подолгу беседовать с капитаном Кодаю, расспрашивать его о стране восходящего солнца. На основе этих бесед Лаксман составил для Петербургской Академии доклад о стране, про которую тогда в России практически ничего не знали.

Лаксман сам провел немало лет в России, которая все же не была его родиной, понимал, как тяжело было японцам вдали от дома, и поэтому стал для них настоящим опекуном. По его рекомендации капитан Кодаю написал сначала в Сибирское генерал-губернаторство, а затем императри-

це прошение о возвращении на родину. Чтобы передать эту челобитную Екатерине, ученый решил ехать в столицу. И в очередной раз его путь лежал через Тобольск и Тюмень.

Императрица прислушалась к Лаксману и не только разрешила капитану Кодаю и его спутникам вернуться на родину, но и повелела снарядить к берегам Японии экспедицию для налаживания русско-японских отношений. Возглавил эту экспедицию сын Эрика поручик Адам Лаксман.

Удивительно, но в те годы феодальная Япония уже около полутора сотен лет проводила официальную политику закрытой страны. Посещение ее иностранцами было категорически запрещено. Исключение делалось только для китайцев и голландцев. Выезд за пределы страны японцам также запрещался, поэтому в Японии почти ничего не знали о России. Так благодаря Эрику Лаксману спасенные русскими японские мореплаватели, за которых он ходатайствовал перед царицей, стали первыми очевидцами, рассказавшими в Японии правду о России. А записанный, как сказали бы теперь, протокол допроса вернувшихся домой соотечественников стал первым научным трудом в Японии о России. Таким образом без преувеличения можно сказать, что именно Лаксман открыл путь России в страну восходящего солнца.

Надо отметить, что Лаксман за время своих путешествий десять раз проезжал через Тюмень и Тобольск, где проходил в то время главный торговый путь. И, очевидно, не просто был проездом, а занимался наукой. Иначе с чего бы это вдруг он передал тобольским коллегам собственноручно изготовленные термометр и барометр, о которых в свое время с похвалой писал знаменитый исследователь и краевед Петр Андреевич Словцов. И судьбе было так суждено распорядиться, что именно на территории Тюменской области, которая тоже дала исследователю немало материалов для его научных трудов, закончился и его жизненный путь.

Однажды, в морозный февральский вечер, к небольшой почтовой станции села Черное подъехала повозка. Ямщики и смотритель слышали скрип полозьев и фыркание коней, но в дом долгое время никто не заходил. Вышли посмотреть, в чем дело, и нашли в повозке мертвого человека. Следов насилия на нем не было, дорожные деньги и документы оказались на месте, что исключало убийство с целью ограбления. У Лаксмана, как можно предположить, во время дальней дороги, когда на морозе для сугрева приходилось бежать рядом с повозкой, просто отказало сердце.

Как иноверца, его похоронили не на деревенском кладбище, а на берегу реки Вагай. С годами ту могилу или смыло водой во время очередного половодья, или она просто заросла травой и со временем сравнялась с землей.

Вспомнили о Лаксмане жители Вагайского района, когда в связи с двухсотлетием со дня рождения ученого исследованием его биографии серьезно занялись киевские следопыты. Именно они приехали в Дресвянку и установили на берегу памятный знак.

Они же разыскали и единственного из потомков великого исследователя Сибири. Эдгар Лаксман – крупный бизнесмен, живет в Португалии, наверняка гордится своим знаменитым предком, но вряд ли когда решится поехать в пугающую европейцев Сибирь, чтобы поклониться праху родственника, умершего здесь двести с лишним лет назад. Да и в Финляндии имя давно умершего в далёкой Сибири исследователя интереса уже не вызывает.

У НАС В ГОСТЯХ



«ВОЛОГОДСКИЙ ЛАД»

Литературно-художественный журнал «Вологодский ЛАД» выходит с 2006 года ежеквартально (с 1991 по 1995 год издавался журнал для семейного чтения «Лад» – предшественник нынешнего издания). Тираж постоянный – 1500 экземпляров, журнал распространяется по библиотекам, учреждениям культуры и общественным организациям области.

«Вологодский ЛАД» – это не сборник произведений местных авторов, а солидное профессиональное издание, которое последовательно рассказывает о культурном, историческом, общественном, экологическом феномене, которым является наш Вологодский край, весь Русский Север. Журнал не раз отмечали призами на федеральных конкурсах. «Вологодский ЛАД» – победитель Всероссийского конкурса «Патриот России» (2007, 2008 гг.), дипломант Всероссийского конкурса «Русский язык в зеркале прессы» (2008 г.), дипломант национальной премии «Золотой лотос» (2008 г.), победитель III Всероссийского конкурса «Вечные ценности в зеркале СМИ» (2009 г.), также награжден областной премией «Вологодчина – любовь моя и гордость» (2008 г.).

«Вологодский ЛАД» публикует лучших поэтов и прозаиков не только Вологодчины, не только России, но и Черногории, Сербии, Республики Беларусь. Здесь есть даже раздел «Славянский мир». Это одно из редких изданий на российских просторах, которое деятельно поддерживает славянское единство.

Журнал публикует воспоминания о прошлом и заметки о русском языке, исторические исследования и материалы о местных погодных приметах, репортажи и очерки о главных событиях вологодской культуры, рассказы о наших земляках.

Главный редактор – Андрей Сальников.

«ЖДУ ОТВЕТА...»

К 80-летию поэтессы Ольги ФОКИНОЙ

Русская поэзия – безмерный океан, не умолкающий, не затихающий ни на минуту. И глупо делить, как поступают некоторые «критики», сей океан на какие-то «периоды» в зависимости от политической конъюнктуры. Нет, в океане всё вместе: и проникновенные стихи «Слова о полку Игореве», и сонеты Василия Тридиакковского, и оды Михаила Ломоносова, и мудрые откровения Гавриила Державина – и всё остальное.

Испокон веков в искусстве сочинения стихов пробовали себя и русские женщины. Мы ценим их творчество, преклоняемся перед их именами – искренней Мариной Цветаевой, интеллектуалкой Анной Ахматовой, пронзительной, с обнажённой душой Юлией Друниной, нежной и любящей Лидией Тепловой, необычной и резкой Новеллой Матвеевой.

Можно было бы привести и ещё немало замечательных женских имен в русской Поэзии, среди них одно из первых – имя Ольги Фокиной.

Её творчество занимает в ряду русских поэтесс уникальное место. Если другие только иногда «поворачивались лицом» к судьбе простого народа, то она всю душу и всё сердце посвятила именно ему. Однажды присягнув на верность северному русскому крестьянству, Ольга Александровна не изменяла ни разу присяге, продолжает её сохранять.

Ольге Фокиной удалось сделать то, что другим поэтессам было не по плечу. Она услышала, поняла, сохранила стихию народной жизни Русского Севера и ввела её в большую поэзию.

Отсюда – неповторимость её поэтического голоса, её поэтической интонации.

В этом смысле Ольга Александровна явилась лучшим продолжателем поэзии Николая Алексеевича Некрасова, который также тяготел к стихии русского крестьянства.

Родилась Ольга Александровна 2 сентября 1937 года в деревне Артёмьевской Верхнетоемского района Архангельской области в крестьянской семье. Её отец, после ранения приехавший в деревню в 1943 году, вскоре умер от ран; мать Клавдия поднимала большую семью одна. Ольга окончила медицинское училище в Архангельске, затем заведовала медпунктом на лесоучастке. И писала стихи. Именно тогда она познакомилась в Архангельске с прозаиками и поэтами, в том числе – со знаменитым художником и сказочником, известным прозаиком Степаном Писаховым.

В 1957 году она поступила в Литинститут в Москве, занималась в семинаре Н.Н.Сидоренко, где подружилась с вологодскими писателями Николаем Рубцовым, Василием Беловым, Сергеем Викуловым, Александром Романовым.

В марте 1963 года у Ольги Фокиной вышла первая книга «Сыр-бор» в Москве в издательстве «Молодая гвардия», по этой книге она была принята в члены Союза писателей СССР.

В то же время в Вологде создавалась своя писательская организация. И первый её руководитель – поэт Сергей Викулов – пригласил Фокину в Вологду. Она дала согласие и осенью 1963 года приехала жить в Вологду; в достославном граде продолжает жить и по сию пору.

Но каждое лето – такова её привязанность к отчей земле – Ольга Александровна уезжает в родную деревню Артемьевскую, где живёт до глубокой осени.

За минувшие годы Ольга Александровна издала более 20 поэтических книг, последний сборник «Маятник» увидел свет в 2013 году.

Многие её стихи были положены на музыку такими известными композиторами, как Валерий Гаврилин, Александр Фаттах, Виктор Пешак и другие.

Она была удостоена высоких званий и наград, в том числе Государственной премии РСФСР имени М.Горького, Большой литературной премии России, Всероссийской литературной премии имени А.Прокофьева «Ладога» (2013 г.).

В повседневной жизни Ольга Александровна остаётся сама собой: откликается на просьбы читателей, спешит на литературные мероприятия, помогает молодым авторам.

Помню, как-то она мне рассказывала, что её пригласили выступить в коллективе одного из заводов в Вологде, прислали такси к подъезду. Ольга Александровна села в машину, а водитель говорит ей:

– Можно я прочитаю ваши стихи?

– Читайте, – пожала плечами поэтесса. – Почему же нельзя!

И водитель всю дорогу, пока вёз поэтессу до завода, читал ей её стихи.

Да, это, конечно, миф, что нынешние жители России не читают ни прозу, ни поэзию. Миф, да ещё какой!

В том я убедился три года назад, когда областная юношеская библиотека в Вологде попросила меня возглавить жюри фестиваля «По золотому листопаду», посвященного творчеству Ольги Фокиной. В условиях конкурса – несколько номинаций; в частности, надо было прислать свои стихи, созвучные мотивами фокинской поэзии, а также рисунки к её произведениям.

То, что началось после объявления конкурса, поразило и членов жюри, и работников библиотеки. Письма пошли потоком; причём со всех концов бывшего Советского Союза – от Киева до Владивостока. Мы были потрясены тем, что стихи Ольги Фокиной знали и любили в таёжной губинке Сибири, на Урале, в степном Оренбуржье, на Украине и на побережье Черного моря.

А вы говорите, что у нас люди не читают!

Читают, да ещё как читают!

В итоге за короткий срок в жюри поступило свыше тысячи писем!

Завершая короткие заметки, напомним о беспокойстве поэтессы по поводу того, какое же поколение идет на смену старшим? «Пока это трудно понять!» – призналась она. И сама поэтесса уже «двадцать второе лето трепетно» ждёт ответа на вопрос.

А ответ на этот вопрос, по большому счёту, зависит от каждого из нас!

*Геннадий САЗОНОВ,
поэт, директор Вологодского регионального отделения
«Общероссийского Литературного сообщества».
январь 2017 г.*

Ольга ФОКИНА

Памяти В.М. ШУКШИНА

Сибирь в осеннем золоте,
В Москве шум шин.
Дрожит и рвётся в проводе:
«Шукшин, Шукшин...».
Под всхлипы трубки брошенной
Теряю твердь.
Да как она... да что ж она,
Ослепла, смерть?!
Что долго вокруг и около
Кружила – врёт.
Взяла такого сокола,
Сразила влёт!
(Достала тайным ножиком,
Как те, в кино,
Где жил и умер тоже он

Не так давно...)
Ему – ничто, припавшему
К теплу земли...
Ну, что же – мы? Ну, как же мы
Не себергли?
Свидетели и зрители -
Нас сотни сот -
Не думали, не видели
На что идёт
Взваливший наши тяжести
На свой хребет...
Поклажестый? -
Поклажестый,
Другого нет.

* * *

А в деревне сейчас
Непроглядная тьма
И с трудом побеждаемый холод...
И в слепой безнадёге,
Ссутулясь, дома
Собираются двинуться в город –
Не нужны здесь уже
Никому и нигде
Сани-подсанки, бороны-плуги,
Пустота гаражей,
Без скота и людей
Бывших ферм измождённые дуги.
Одичали луга,
Зарастают поля,
Остаётся несобранной клюква.
Через месяц-другой
Заметелит пурга...
Вот тогда я пойду и приду к вам.
Я тропу до крыльца
Пробреду-протопчу,
Громко брякну кольцом на воротах,
И берёсту в печи подожгу-засвечу,
И возьмусь за родную работу:
За водой к роднику –
Он ещё не замерз! –
В час не ранний – прилучный, призвёздный.
И обсохнёт ведёрышко,
Полное звёзд,
И при мне мой родник не замёрзнет.

* * *

Песни у людей разные,
А моя – одна на века:
Звёздочка моя ясная,
Как ты от меня далека!

Поздно мы с тобой поняли,
Что вдвоём вдвойне веселей
Даже проплывать по небу,
А не то что жить на земле.

Облако тебя трогает,
Хочет от меня закрыть...

Чистая моя, строгая,
Как же я хочу рядом быть!

Знаю, для тебя я не Бог,
Крылья, говорят, не те...
Мне нельзя к тебе на небо,
На небо к тебе прилететь.

Бродят за тобой тученьки,
Около кружат они,
Протяни ко мне лучики,
Ясная моя, протяни!

* * *

Злато и серебро сыплются с неба,
Тешится взгляд:
Листья летят вперемежку со снегом,
Листья летят...
Шаг мой замедлен, а ум заторможен.
Хватит ума,
Чтоб понять: если след подморожен,
Рядом зима.
Скоро с родных палестинок подует
Сиверко мой...
Что ж не ноет душа, не бунтует,
Славно зимой!
Снег да мороз – от хвороб панацея.
Что горевать?

Шуба готова, и валенки целы,
Время гулять.
Время обкатывать новые санки,
Лыжи крепить.
И в Новый год из хрустальной стеклянки
Будущность пить!

* * *

Храни огонь родного очага
И не позарься на костры чужие –
Таким законом наши предки жили
И завещали нам через века:
Храни огонь родного очага!

Лелей лоскут отеческой земли,
Как ни болотист, как ни каменист он,
Не потянись за чернозёмом чистым,

Что до тебя другие обрели.
Лелей лоскут отеческой земли.

И если враг задумает отнять
Твоим трудом взлелеянное поле,
Не по страничке, что учили

в школе,
Ты будешь знать, за что тебе стоять.
Ты будешь знать, за что тебе стоять!

* * *

Как же ты пахнешь, сырая земля!
Этот бы пласт, отвороченный плугом,
Взять в обе руки – и есть, не соля,
Не оснащая ни мёдом, ни луком.

Как же ты тянешь, родная земля,
В эти пласты, как в ладони родимой,
Ткнуться лицом, ни о чём не моля,
Лишь бы с любовью – неразделимо.

Лишь бы ответить теплом на тепло.
Плакать мне – не о чем, каяться – не в чем:
Знаешь сама: где тебе тяжело,
Детям твоим достаётся не легче.

Каждый мой шаг у тебя на груди
С самого первого детского следа...
Что позабыто мной – разбери!
А сомневаешься в чём – исповедуй!

Песню ли в голос, часы ли молчком –
Всё разберёшь – переводчик не нужен:
Ты – без асфальта, и я – босиком,
Ты – из-под снега, и я – после стужи.

* * *

Под берёзой нетверёзый
Распластался мужичок,
Распустили все колхозы –
Он остался ни при чём.
Член колхоза, сорок лет он
Никуда не убежал.
На колхоз зимой и летом
Конюшил, косил, пахал...
Конюх – не механизатор!
Выдаёт ему на пай
Тракторист-приватизатор
Кнут. Хомут. Телегу...
– Дай, –

Говорит мужик, – лошадку! –
А приват ему в ответ:
– Не проблема, я не жадный,
Но ведь их в натуре нет.
Знаешь сам, что их на мясо
Извели, на колбасу,
Так что хошь не хошь – впрягайся,
Сани сами не везут.
Под берёзой нетверёзый
Расплатался мужичок.
Есть вопросы? – нет вопросов!
Есть верёвка, есть сучок...

* * *

Почти неделю – дождь по окнам,
По окнам дождь, по телу – дрожь.
Но вот и солнышко пришло к нам,
И день – хорош! И ты – пригож!
И день хорош, и ты не лишний
В пределах неба и земли.
Спасибо, солнышко, что вышло.
Спасибо, тучи, что ушли.

* * *

Простые звуки родины моей:
Реки неугомонной бормотанье
Да гулкое лесное кукованье
Под шорох созревающих полей.

Мне всё равно, какую из земель
Они с высот лазурных облюбуют,
Какие океаны околдуют
И соберут их звонкую капель.

Простые краски северных широт:
Румяный клевер, лён голубоватый,
И солнца блеск, немного виноватый,
И облака, плывущие вразброд.

Сижу одна на милом берегу,
Варю картошку на родном огнище,
И радость ходит по душе и брызжет,
Как этот кипяток по чугунку.

Плывут неторопливо, словно ждут,
Что я рванусь за ними, как когда-то...
Но мне теперь, не меньше их
крылатой,
Мне всё равно, куда они плывут.

Другим без сожаленья отдаю
Иных земель занятные картинки.
... И падают весёлые дождейки
На голову счастливую мою.

* * *

Мы – те, кто под северным небом
Рождён,
Теплом не заласкан,
Плохую погоду, авось, переждём
За песней, за сказкой.
Мы верим в победу
Добра и тепла
Над злом и ненастьем!
Святые под солнцем
Блестят купола,
Зло – застя.

* * *

Все мы – не любы любы ль –
Споро идём на убыль,
Старшему поколению
Срок становиться тенью.
Кто же они, наши дети,
В новом тысячелетье?
Под капитала гнётом –
Нынешний, что поёт он?
Сам из времён советских,
Что он унёс из детства?
В это лихое время
С «этими» он или с «теми»?
Смирен или отважен,
Светел или загажен?
...Двадцать второе лето
Трепетно жду ответа.

Сергей БАГРОВ

НОЧНЫЕ ВОРИШКИ

Валёк и Серёга – троешники. С грехом пополам окончили восемь классов. И вот слоняются по посёлку. Хорошо бы устроиться в кадры. Хоть на валку деревьев, хоть на сучки. Тут бы были у них и деньги. Жизнь покати́лась бы, эх, нормально. Однако работы в посёлке нет даже взрослым. Отцы у ребят работают лишь сезонно, уезжая за сто километров на вахту, где ещё сохранился остаточный лес, и можно немного подзаработать.

Родители за своих сыновей тоже переживают. В прошлом году купили ребятам по новой рубашке, кроссовкам и джинсам. Спасибо отпускникам, забравшим у мальчиков целое лето лесные деликатесы. Лучше всего покупали они землянику с морошкой. Собирались юнцы за ягодами и нынче. Да появилась идея – брать ягоды не по вырубкам и делянкам. А рядом с посёлком, через реку, где совхозное поле, на котором уже поспеет садовая земляника.

Лодку для этого дела устроил Серега. Отца дома не было у него, уехал с бригадой валить дальний лес. Так что и спрашивать было не надо. Сели в долблёночку – и вперёд!

Было 12 ночи. Никто не видел, как подкрались они к совхозному берегу, на котором таилась сладкая земляника. Была она крупной, почти с куриное яйцо. Потому и брать её было легко.

Тихо вокруг. Никого. Сторожа нет. А если и есть, то сидит где-нибудь да, знай себе, посыпает.

Мальчишки предовольны. С час просидели они на грядках. Корзины с верхом! Пора и назад.

Вышли к изгороди, вбегавшей пряслами прямо в воду, где они оставили лодку. И удивились. Лодка была – и сплыла. Кто-то сел в неё и уехал. А может, сама она отвязалась? Ягодники смутились.

– И чего теперь?

Валёк кивнул вдоль реки, где пестрели дощаники и долблёнки.

– Пойдём по лодкам. Может, какую и отобрём.

Нашли пару ржавых гвоздей, чтобы было чем открывать лодочные запоры. Лодок было штук десять. Все, как одна, на цепях с импортными замками, гвоздём которые не откроешь.

– Во, попались! – заныл Серега.

Валёк посоветовал:

– Не скули.

Они оглядели совхозное побережье. Метрах в 200-х за низиной темнели маленькие избушки. Низину вёснами затопляет, и на ней не сеяли ничего. Лишь сенокосили, выбирая среди камышей съедобицу для животных. Два стожка уже возвышались около огородов.

– Надо идти в деревню, – сказал Серёга, – пусть нас, это, перевезут.

Валёк усмехнулся:

– Вместе с ворованной земляникой?

Подул ветерок, донеся от бараков через реку чей-то голос, кривший кого-то крепкими матюгами.

Валёк прошёлся по суплёсу. Пнул по выброшенной метле, отправляя её к воде. Тут и вторая метла. Пнул и её.

Где-то вверху, над пристанью, поморгало. И сразу, слепо блеснув, показался серпик луны. Удивительно, но при слабом его свечении в деревушке ответило тем же самым, таким же призрачным полублеском, в котором ребята увидели крест.

– Часовня!

Тем и знакома была им часовня, что раз в неделю её навещал из города поп Василий. Приезжал он и на неделе, когда умирал в округе какой-нибудь старичок. И приходилось его отпевать. Иногда попадали в часовенку и ребята. Просто так. Или с кем-нибудь из знакомых. В последний раз были здесь они в мае, когда у Валька умер дед. Как-то странно было смотреть на бледного, в строгом костюме мужчину, лежавшего в ярком, с кистями гробу, чьё лицо было очень спокойным, а веки слегка приоткрыты. Отчего казалось, что дед подсматривает оттуда за всеми живыми и даже сочувствует им, кого он, как маленьких, обхитрил, оставив одних, без него в этом мире.

И ещё удивило мальчиков то, что было в часовне тесно. Не от людей, а от только что выделанных гробов, что были расставлены по углам и, казалось, ждали своих квартирантов, которые так и так не сегодня, так завтра придут сюда.

– Прячем ягоды – и за мной! – Валёк не стал объяснять, какая идея пришла ему в голову. Оставив корзину около лодок, он тут же выбрался на тропинку и пошагал уверенно, как хозяин, который знает, что надо делать для того, чтоб попасть домой.

Проскрипев сапогами по мелкотравью, они вышли на косогор, за которым, чернея решётками окон, стояла бревенчатая часовня. Дверь её закрыта была на завёртыш. Открыли. Вошли. И, приглядевшись к потёмкам, увидели, что в углах часовни гробы уже не стояли. Был лишь один, что темнел на столе.

Открывая крышку, больше всего опасались охолонуть глазами о мертвеца. Но в гробу не было никого. Покойник, видать, находился дома. Утром за гробом, поди, и придут.

– Повезло нам с тобой, – признался Валёк.

– Это как?

– Вынимать из гроба не надо.

– Кого?

– Никого.

Не давая Серёге прийти в себя, Валёк сурово постановил:

– Крышку здесь оставляем! А ящик с собой!

Гроб был из высушенных тесин, поэтому не тяжёлый. Однако нести пришлось в перевёрнутом виде, на головах, днищем вверх.

Выбрались из часовни. Перешагивая порог, кто-то из них запнулся, и гроб, задевая косяк, пронзительно скрипнул.

Где-то в потёмках тявкнула потревоженная собака. Следом за лаем брызнуло пятнышко света от фонаря.

Ребята заволновались. Хотели было швырнуть свою ношу. Да удержались. Так, согнувшись в четыре погибели, и двинулись тропкой к реке.

Кое-как дотащили. Сняли поклажу и поглядели, как она будет держаться в воде. Вроде, нормально.

Подобрали оставленные корзины. Подобрали и мётлы. Сами залезли, и, оттолкнувшись, поплыли через реку.

Чем-то гроб походил на обычную лодку. Только плыл он ужасно тихо из-за того, что в руках у ребят не вёсла, а что-то среднее между шваброй

и помелом. Мальчики сразу же и устали. Оба, как в наказании. Стоят на коленочках и гребут. Верней, не гребут, а хлопают, поднимая и опуская намокающую мотню, словно отганивают от гроба нечистую силу, плывущую вслед за ними, чтобы их настигнуть и утопить.

Поглядеть на них с берега – право, поверить, что это не мальчики, а искатели собственной жизни, кою они нечаянно потеряли и теперь, спохватившись, старательно ищут, исследуя темноту...

Первым, кто разглядел пассажиров в гробу, был сторож ягольников Калыгин, пожилой, крепко сбитый пенсионер в обветшалом комбинезоне. Вооружён централкой 16-го калибра, небрежно сидевшей на грузной его спине. Это он угнал у ягольников долблёнку. Уплыл на ней к середине реки, где, прикрепившись к бакену, воришек и караулил. Намеревался обоих арестовать. Запереть до утра в часовню. А там – и директору передать.

Смутила Калыгина дерзкая расторопность, с какой любители ягод решили вернуться домой. Без всякой там лодки. Не поленились сходить в часовню, куда он сам собирался их увести. Да ребята опередили. На какие-то 20 минут потерял их из виду. А они уже – из часовни. Топ-топ. Не с пустыми руками, а с домовищем. Гроб-от этот сам Калыгин и мастерил. Пару тыщ хотел за него получить от бабки Ульяны, чей супруг на девятый десяток перевалил, и вот преставился в воскресенье. Сегодня среда. Сегодня и день похорон. Но как хоронить, коли гроб на воде? Переправляет воришек. Работа мастера вся насмарку. Калыгин во гневе. Мальчики-то чего? Переедут реку, абы сразу домой. А гроб? Там и бросят, где вылезут из него. Буксируй Калыгин назад. По воде. А потом по земле, чтоб обратно его в часовню. Сторож кипел: «Ну, гадючкины дети. Вас бы сейчас по подспиннику коромыслом...».

Калыгин плыл, с озлоблением наблюдая, как усердствовали ребята, продвигая гроб к той стороне.

О, если бы знали мальчики, кто их преследует, они бы, пожалуй, так сильно не напрягались. Но развиднелость над стрежнем реки была слишком мутной. И гребец, возникший среди неё, мог им представиться кем угодно, но только не человеком. А ежели человеком, то только бывшим, одним из тех, кто возродился из мертвецов.

Лодка с Калыгиным шла за воришками неотступно и, кажется, кажется, настигала.

– Покойник! – вскрикнул Валёк.

– О-о! – вздурел и Серёга.

– Гроб-от ево! – добавил Валёк. – Сейчас, как хозяин, сюда и переберётся!

– А нам-то? Нам-то чего?

– Откудов я знаю. Пуще! Пуще греби!

Но грести тряпичными швабрами невозможно. Они впитали в себя по пуду воды и поднимать их стало уже не под силу.

Бросили швабры. И вот в руках вместо них – матерчатые кепчонки. Но и они не годились. Их моментально выхватило водой.

Засуетились ребятки. Давай приседать то на левой ноге, то на правой, чтоб другой свободной ногой грести по воде. Гроб раскачивало, как в бурю. Неожиданно он раздвинулся, оцетинившись остренькими гвоздями. И дощечки его поехали, кто куда.

– Как же мы? – воскликнул Серёга, проваливаясь в реку.

Валёк горьким голосом:

– Плавать умеешь?

– Худо!

– И я не лучше! – признался Валёк, погружаясь вслед за Серёгой в немереную прохладу.

Двух минут не прошло, а на ложе реки – лишь две опрокинутые корзины, из которых катится в воду уже никому ненужная земляника.

Калыгин pokrылся холодным потом. Ребятки-то, кажется, тонут. Что и делать? Спасать? Но как это делать, он не имел малейшего представления. Потому и вёслами зачастил, абы только прочь, прочь отсюда. На левый берег, где у него дом родимый, где старушка-жена, где охраняемая им совхозная земляника.

Ну, а здесь-то как быть? Здесь-то около бакена, на стремнине, где темно, глубоко и глухо, и вода по-недоброму вьёт? Этого сторож не знает. Он в панике и расстройстве. И ничего, ничего не видит уже. Ни гроба, что рассыпался на дощечки. Ни мальчиков, что колотят ладошками по воде.

Металось в груди у Калыгина. Как если бы кто-то ловил его сердце, и оно, увёртываясь, летало, пытаясь найти спасительный уголок.

Но что это? Что? Лодка стала вдруг тяжёлой и непослушной, словно кто-то её топил. По телу Калыгина, задевая комбинезон, пробежало волнение. Калыгин увидел мальчиков на весу. Оба по шею в воде, руки же – наверху, как когтями вцепились в борта долблётки.

Калыгин трудно выдохнул и поплыл, разворачивая долблётку. В обратную сторону, к берегу, где темнели бараки поселка. Плыл в растерянности и в думе. Получается, он этим мальчикам помогает, не отдаёт их реке, спасает.

Калыгин едва успокоился, и последние метры, которые оставались до мелководья, где стояла гряда отцветающего рогоза, проплыл аккуратно. «Ещё один гроб, видно, делать. И очень срочно...» – подумал, взглянув на рогоз, сквозь который шли, выбираясь на берег, несостоявшиеся воришки, кого река пощадила, отобрав от них лишь кепки и сапоги.

Потянул свежачок, донося от бараков хлопанье крыльев, с каким сиделся куда-то наверх поселковый петух. Начинало светать.

Ребята медленно поднимались к набережной реки, оба сырющие и босые, в прилипших к спине рубахах. Выбравшись на мостки, повернулись лицом к долблётке и громко, так, чтоб услышал Калыгин:

– Спасибо, дедо-о!..

«За что спасибо-то? – удивился старик и вдруг открыл для себя: – За жизнь! За то, что я не спасал их, но как-то по-дивному получилось, что жизнью своей они обязаны мне. Потому и лодку свою обратно не забирают. Бить бы надо меня, как стоногого дезертира. Я ведь бежать собирался от них. Глядел и не видел беспомощных рук, когда они ко мне потянулись. Такое вот коромысло. С занозинами, едрёна...».

Вздрыгнул сторож, услышав от ближних к реке бараков:

– Кукареку-у!..

Кричал глашатай пробуждавшегося пространства, утверждая всё то, что несёт в себе жизнь. Ну, а то, что её умаляет, специально не замечает, считая это ниже его достоинства, не стоит даже и поворота его гордо вскинутой головы.

2016 год

Геннадий САЗОНОВ

Изба

Изба убогая, берёзы,
Край поля, утра синева –
Засели в сердце, как занозы.
Но этим всем – душа жива!
Её мертвят дворцов величье,
Стяжанье славы, шум, успех.
Изба и звонкий щебет птичий –
Достойнее иных утех!

Родимый язык

Не мните: «Разбито корыто...»,
Нутром вы – в чужом далеке.
Могучая сила сокрыта
В родимом моём языке.

Глаголом блеснёт, приподнимет,
Пометит раздумье на лбу,
Прибьёт ненавистников имя
К позорному веку столбу.

Над словом заветным и тучи
Сгустились, и буйствует зло.

Язык, словно ливень могучий,
Нахлынет – и в сердце светло!

Литые славянские корни
Прошло сквозь огонь и века.
Шепчу я слова, и просторней
Становятся поле, река.

И путь в поднебесье узкий
Осилить с ним легче потом.
Бледнеют английский, французский
Пред русским родным языком.

Поздний закат

Как будто засиял пожаром
Край неба за крутым холмом.
И даль в своём обличье старом
Блистая розовым огнём.
Он осветил, как в отдаленьи
Таинственно вошли в закат
Деревья в тихом изумленьи
И деревень забытых ряд.
Ушли в загадочное царство,
Где кутерьмы метельной нет,
Где не расставлены мытарства,
Где торжествует дух и свет.
И я хотел бежать за ними,
Войти в сиреневый пролом,
Но понял, что закат не примет –
Он исчезал уж за холмом.
И гасли краски, убывая,
Густея, ночь кралась за мной.
Но жар заката согревает,
Как и тепло любви земной.

Травинка

Берёзок белеющих стая
На взгорке родной стороны,
Их кроны, как книги листая,
Я радуюсь, не уставая,
Что лист и травинка простая –
В себе они тайны полны!
Из тайны любовь вырастает,
Из чувства безвинной вины.

Травинка, покорная зною,
Растёт, как сестра, у крыльца,
Любовью к земле неземною, –
Она прославляет Творца!

И ты, в отдалении идущий,
Когда её грубо смахнёшь,
Не думай, что ты её лучше –
Травинке не ведома ложь!

Архив

Перебирая старые газеты,
Я вспоминал былые времена:
Без олигархов и бомжей отпетых
Тогда была великая страна.

Где люди жили, а не банковали.
И со страниц светло ещё горит
Улыбка милая Гагановой Вали –
Она с Гагариным о чём-то говорит.

Какие лица и родство какое –
С ткачихою на равных космонавт!
Теперь уже немислимо такое,
Теперь в почёте лишь олигархат.

Перебирая старые газеты,
Я думал с болью, грустью и тоской:
Партийный звон, звон доллара, монеты –
Меж ними разницы нет никакой!

Не жаль мне съездов и речей в угоду,
Они ушли в заслуженную тень,
Но жаль мне, что разрушены заводы
И стёрты в прах становья деревень.

Мы думали вернуться в Русь Святую,
Но Вашингтон вождям наметил путь:
Крушить себя, Россию – подчистую,
Дорогу в Русь Святую зачеркнуть.

Но всё, что мне и дорого, и свято,
Дом отчий, Родину, любовь мою
Не сдам в архив я никогда, ребята,
На том стоял, на том ещё стою!

В холодный дождь

В холодный дождь – со мной стакан вина,
И шум берёзы рядом у окна,
По веткам ветер пробует разбег,
Берёза плачет, будто человек.
В холодный дождь откуда-то извне
Душа твоя летит опять ко мне,
И вьюгой лиственной не занесло
Твоё во мне ожившее тепло.
В холодный дождь светлеет голова,
Я знаю, моя Родина жива,
В очах её по-прежнему светло,
Не замутит их никакое зло!

Младенец

Небесный свет	Природы легкокрылость,
В глазёнках чистых блещет,	И нежность,
Он – равный Ангелу,	У неё названья нет,
И больше никому.	В глазёнках несмышлённых
Блага земные, и дома, и вещи –	Мне открылась,
Так далеки,	Как мира запредельного
Что ни к чему ему!	Привет!
В нём – наш исток!	

Не сгинут

Всё покроется пылью дорожной,
Лишь останется истины след:
На века полюбить невозможно,
У любви этой вечности нет!
Отойдут и исчезнут куда-то
Горе, страсти, гордыня, грехи,
Дни простые, великие даты...
Но не сгинут о счастье стихи!

Снегопад

Всю землю засыпало сразу –	Когда одно солнце светило,
Большой прошумел снегопад.	А ночь не кружила над ней.
И радостно сердцу и глазу –	О, чудо далёкое было!
Так чист её свежий наряд!	Свет лился без всяких теней.
Как будто все распри забыты,	Засыпало землю всю снегом.
Как будто Планета вошла	И в нём пролагая свой путь,
В младенческие орбиты,	Сквозь злобу, рождённую веком,
Когда ещё не было зла.	Светлее хоть чуточку будь!

Ольга КУЛЬНЕВСКАЯ

ПРО АЛЁНКУ-ФАНТАЗЁРКУ

Первоклассница Алёнка была самой обыкновенной девочкой, но мама и папа почему-то называли её фантазёркой. Но разве Алёнка что-нибудь придумывает? Вовсе нет – просто она видит то, что есть на самом деле...

Ну вот, например, это светящееся, с прозрачными голубыми шторами окно в старом доме очень похоже на аквариум – такой есть дома у подружки Маши: голубой-голубой, вода в нём колыхается, когда золотые рыбки, виляя пышными хвостами, подплывают к самой стенке, за которой, чуть не сплющив нос, наблюдает на ними Алёнка... Вот и в этом окне штора колыхается, а за ней плавают тени – совсем как рыбки в аквариуме!

Или вон окно, в доме напротив – оно зелёное, с пёстрыми цветами, словно летняя полянка! Весёлое!

Ой, а это какое!.. Оранжевое – просто огненное, как будто огонь пылает! И кажется: если приложить ладошку к стеклу – будет горячо...

А ещё Алёнка видит, что все люди на кого-то или на что-то похожи. По утрам, когда она идёт в школу, то всегда встречает красивую тётеньку, которая ей очень нравится. Потому что эта тётенька похожа на розовый пион. Почему именно на розовый пион? Ну вот похожа – и всё! Красивая, как пион, и пахнет от неё, когда мимо проходит, как летом от маминых пионов на клумбе... Алёнка могла бы полюбить эту тётеньку сильно-сильно – за то, что та так похожа на розовый пион!

А ещё Алёнка часто встречает дяденьку, похожего на рыбу. Рыбу она видела, когда ездила с папой на рыбалку. И в магазине тоже видела. Но этот дяденька похож на ту рыбу, какую ловит её папа... Нет, такого дяденьку Алёнка бы полюбить не смогла ни за что!

А вон та бабулька похожа на птичку: маленькая, с острым носиком... Хорошая такая птичка с ласковым взглядом... Такую птичку тоже можно любить.

Ой-ой! Однажды Алёнка увидела дяденьку, похожего на медведя! Она долго на него смотрела, даже обернулась назад, когда он косолапо и тяжело прошёл мимо неё... Но кажется, этот медведь добрый...

Ну разве виновата Алёнка, что все похожи на что-то или на кого-то? Ходят по улицам люди-звери, люди-птицы, люди-рыбы, а Алёнка это видит, вот и всё.

Только вот почему-то мама с папой и дедушка с бабушкой ни на кого не похожи. Алёнка часто думала: почему так? Искала сравнения и не находила, хотя очень хотела найти.

...Когда учебный год закончился, и начались каникулы, мама сказала Алёнке:

– Ну что, дорогая, поедешь в загородный лагерь вместе с другими ребятами. Ты уже большая и не будешь сильно скучать. Найдёшь себе новых друзей, станешь самостоятельной... И может быть, поймаешь, на кого мы с папой похожи! – при этих словах мама хитро улыбнулась.

Но оказалось, что Алёнка ещё маленькая. И как не хотелось признавать этот факт, но пришлось, потому что она ужасно скучала по всем – по маме, папе, бабушке, дедушке. И едва дождалась, когда они впервые навестили её в лагере.

...Известие, что к ней приехали, принёс конопатый Серёжка, похожий на рыжего воробья. И пока Алёнка мчалась к воротам, возле которых её ждали, сердце было готово выпрыгнуть из груди – так она соскучилась по родным!

– Мама! Папа! Бабулечка! Дедушка! – кричала она, торопливо обнимая всех по очереди.

Она глядела на них во все глаза, смеялась, прыгала и снова обнимала – маму, папу, бабушку, дедушку... Обнимала их, таких родных, таких любимых, ни на кого не похожих, а похожих только на себя!

И тут Алёнка поняла: любят вовсе не за то, что кто-то на кого-то похож. Любят за то, что человек похож сам на себя.

АПРЕЛЬ И КОСТЯ

Как-то так вышло, что учиться мы с подругой Людкой из родного, потерявшегося среди северных российских лесов Великого Устюга рванули на «солнечный юг» – Украину. Тогда, в восьмидесятых уже прошлого столетия, это был цветущий, гостеприимный и сытый уголок большой Страны Советов. Два раза в год, а то и чаще мы по три дня тряслись в вагонах с севера на юг – из Вологодской области в Одесскую, и обратно – с пересадкой в многолюдной и страшной для нас, не горожанок, Москве...

...Ах, железная дорога! Твой ритм настолько совпадал с ритмом наших юных доверчивых сердец, полных романтики и неопределенных, но счастливых надежд, что до сих пор, когда я слышу зовущий крик далекого поезда или дробный говор вагонных колес, в груди рождается боль: словно острая заноза, сидящая в сердце, но уже многослойно затянутая кожей и забытая за давностью, вдруг шевелится, больно и сладко раня, и боль эта вновь возвращает в те славные, молодые годы, когда вся жизнь, вся радость мира была еще впереди.

А сколько встреч случилось на тех железных дорогах юности! Некоторые из них до сих пор помнятся и волнуют сердце...

Апрель. Нам по двадцать лет.

Мы с Людкой трясемся в поезде «Вологда-Мурманск», уносящем нас в Заполярье, к станции с чудным названием – Оленья. Только что вернувшись домой на каникулы, мы едем на три дня в гости к Людкиной родне – тете Нине и дяде Воле в поселок Гремячий, что близ Оленегорска. Север, завьюженный и заснеженный, скалисто-ледяной, всегда необъяснимо манил меня куда больше, чем капризный и избалованный благодатным климатом юг, и поэтому я с радостью согласилась на Людкино предложение.

...Закатное солнце бежит следом за поездом, ослепительным пожаром вспыхивая во всех окнах какого-нибудь многоэтажного дома, несется, скользя по осевшим весенним сугробам и перепрыгивая через огромные проталины и черные, разъезженные дороги...

И опять лес, лес, лес... С сумрачными елями, с сизыми осинниками и ольшанниками, среди которых мелькают иногда, словно стайки нежных белых птиц, березы.

Люблю маленькие северные полустанки – с их неторопливостью малочисленных людей и величавостью природы, с их диковатой пустынностью и порой угрюмым одиночеством, с тяжелым небом и суровыми, торжественными елями – главным деревом, что отличает вологодский

север от прочих мест. Летом на перронах – тетки с кульками черники и малины, зимой – холодные сугробы и черно-белая беззвездная тишина...

...Сижу у окна. Людка всегда уступала мне это замечательное место, вероятно, по праву более старшей и более непритязательной – в отличие от меня, более легкомысленной и более младшей (на целых три месяца!).

Смотрю на остатки ледника – большие, плоские, черные камни – груды камней, над которыми клубящейся дымкой – заросли карликовой березы в инее. Смотрю и хочется плакать, настолько все красиво, непривычно, неожиданно... Все увиденное хочется запомнить навсегда, чтобы потом в любой момент вытащить из закоулков памяти и вновь пережить эти чудные праздничные мгновения. И вместе с этими камнями, замерзшими озерами, кривыми березками хочется видеть и чувствовать и Крым, и Кавказ, и Прибалтику, и Дальний Восток... Понимаю, что человек не может находиться одновременно в нескольких местах, и по этой причине тоже хочется плакать...

Вот в таком душевном состоянии я находилась, когда к нам подсел рыжий балагур Толька, один из «салаг» радиотехников-подводников, едущих в соседнем вагоне из Северодвинска в Мурманск. Пацанов вез в воинскую часть из учебки старшина Костя. Он тоже присоединился к нашей компании поиграть в карты, это самое популярное средство скоротать время в поезде дальнего следования.

...Со мной такое бывало редко – очарованность с первого взгляда.

Красавцем Костю назвать было нельзя. Черты лица – самые обыкновенные, присущие русскому типу, но это обыкновенное лицо озаряла такая необыкновенно светлая и теплая улыбка, так мягко сияли его глаза, устремленные на меня во время ничего не значащего разговора, что строгое и разборчивое мое сердце, словно птенец к солнцу, устремилось навстречу этому свету и теплу. Уверенности в Костиных достоинствах придала его шинель и тельняшка – символ благородства и мужественности, а еще манера говорить – неспешно, раздумчиво; было в этой манере что-то от интонаций заботливой мамы, объясняющей тайны бытия своему еще несмышленому, но нежно любимому дитяти.

Костя не мог постоянно сидеть с нами, обязанности старшего все время отрывали его от нас. Когда он ушел в очередной раз, я шепнула Людке на ухо, что он мне очень понравился. Людка тут же сболтнула об этом Тольке, и когда старшина вернулся, рыжий балагур выдал ему мою тайну: «Старшина, Олечка в тебя влюбилась!».

Костя мягко улыбнулся, ничего не сказал на это, но в глазах его появилось нечто, вселившее в мое ждущее любви сердце необъяснимую надежду, хотя даже в юности я не верила в долговечность дорожных знакомств.

За окном давно качалась темнота, мелькали за черным стеклом станционные фонари. Наша Оленья неумолимо приближалась, еще пара часов и... прощай, Костя, прощайте, мои глупые девчоночьи надежды...

Радиотехники ушли спать, один Толька-балагур травил анекдоты, веселил нас, погрустневших... Кости тоже не было. Я знала, что ему завтра рано вставать, но ждала и страдала.

И вдруг он появился. Лицо его все так же освещала мягкая, милая улыбка, только в ней прибавилось усталости.

Костя подсел к нам, заговорил...

Боже, я краснела, бледнела, чуть не теряла сознание от волнения, причиной которого была его близость, и от ужаса предстоящего скорого

расставания... В тусклом желтом свете ночника я украдкой взглядывала на него, боясь смотреть прямо и откровенно.

Людка и Толька время от времени отпускали шуточки по поводу нас с Костей, мол, Вологда и Кострома, как в песне, должны быть вместе, и вообще, когда состоится свадьба, чтобы не забыли пригласить друзей... А Костя, не обращая внимания, неторопливо и негромко рассказывал мне что-то о своей Костроме, о своей службе... А потом попросил у меня мой почтовый адрес.

Не было сказано никаких особенных слов, не было особенных прикосновений или особенных намеков, но необъяснимая уверенность в том, что я Косте нравлюсь, овладела мной.

...На перроне Оленьей, в неверном мареве то ли полярной ночи, то ли полярного утра, Толька и Костя вынесли нам сумки, пожали на прощание руки. В самый последний момент, осмелев от горя, я все-таки взглянула прямо в Костины глаза. И увидела в них грусть...

– Пиши, Олечка, – негромко произнес он.

...Сколько лет прошло, а свет той встречи не стирается из памяти. На слоения прожитого не сумели замутить его ясности и чистоты – они только закрепили этот свет, затушевав незначительные детали. И удаляясь от меня все дальше во времени, эти три дня в Гремячем остаются волнующим, сказочным сном: было ли это в действительности или приснилось? И невыносимо пронзительная синева снегов и небес, и огромные валуны, словно окаменевшие богатыри-великаны, и мощный гул серебристых военных самолетов, взлетающих над голубыми сопками...

...Мы переписывались около года. Костины письма были краткими, сдержанными, не касались чувств, в них не было планов на будущее; моей эмоциональной натуре этого не хватало, я искала недостающее между строк...

Потом встретила молодого человека, глубоких чувств к нему не появилось, но были совместные прогулки при луне, танцульки и поцелуйчики. Наличие как бы двух «кавалеров» тяготило мою чистую и неискушенную совесть: казалось, что я нечестна с тем и с другим, и поэтому необходимо одному из них отказать. Наивная глупышка!

Поскольку я слегка сердилась на Костю из-за суховатых писем, удел стать отвергнутым выпал ему. Впрочем, очень скоро я разочаровалась и в оставшемся «кавалере» и дала тому от ворот поворот...

...Сейчас, когда в телепередаче «Жди меня» я вижу, как ищут друг друга бывшие некогда близкими люди, как встречаются по прошествии многих лет, абсурдная мысль приходит иногда в голову: а если б я узнала, что меня ищет Костя?..

НАДЕЖДА, ВЕРА, ЛЮБОВЬ

Надежда заболела.

Несколько дней назад она сковырнула на подбородке прыщик, и кожа, вместо того, чтобы сгладиться, покраснела и вздулась; непрерывно застучали под ней, полыхающей, раскаленные молоточки. Утром в субботу проснулась резко – словно кто-то бросил полотенце на лицо... Молоточки бились уже и в висках – большие и тяжелые; казалось, изо рта выдыхается горячий воздух, белкам глаз было жарко и сухо даже под веками.

На работе, когда Надежда с трудом взялась за швабру, чтобы начать уборку торгового зала, к ней подошла заведующая.

– Что это ты такая сегодня? – сурово спросила она.

– Заболела я, наверное, Валентина Ивановна, – невозможная боль в висках и дурноту, еле выдавила из себя Надежда, внутренне сжавшись.

Взгляд заведующей стал напряженным, выщипанная бровь недовольно поднялась. Но, видать, на лице Надежды отражалось такое неподдельное страдание, а красный тугой подбородок так угрожающе увеличился в размерах, что Валентина Ивановна сжалась:

– Иди к врачу. Поликлиника не работает, так что отправляйся прямо в приемное отделение больницы.

Надежда плохо помнила, как дошла до парка, за которым находился большой, в виде креста, трёхэтажный корпус центральной районной больницы на набережной. Не разбирая луж, шлёпала старыми сапогами по сырому, в лужах, асфальту. В ветвях огромных корявых от возраста тополей неласково посвистывал ветер, по чёрной речной воде несло шугу – хрупкие пока еще льдины, они были похожи на кружки застывшего жира, вот-вот готовые сцепиться друг с другом в плотный панцирь...

В приемном покое к ней сразу же вызвали доктора. Тот хмуро оглядел ее поношенное пальто, стоптанные сапоги, пряди волос с сединой, в беспорядке выбившиеся из-под старой вязаной шапки, когда-то ярко-синей, а сейчас – голубовато-белесой...

Пятидесятилетняя пациентка выглядела на шестьдесят. Морщины избороздили ее неухоженное, не знавшее лосьонов и кремов лицо; много лет оно подвергалось натиску обжигающего зимнего ветра, иссушающего кожу безжалостного солнца, колючего снега и экологически неблагоприятных дождей: потому что Надежда долгое время работала почтальоном сразу на двух сельских участках. Без мужа, ушедшего от нее лет двадцать назад к другой, более красивой, и при двух детях она жила единственной постоянной мыслью: где взять деньги, чтобы прокормить быстро растущих и прожорливых сыновей.

Бегала от деревни к деревне по проселочным дорогам, а то и напрямик, по полям, с набитой газетами тяжелой сумкой через плечо, таская попутно еще одну – с мылом, шампунями, дешевыми соевыми шоколадками, носками и прочим добром, которое деревенские бабушки нет-нет да и покупали, а с выручки Надежде шло несколько рублей к мизерной зарплате. Пальцы и ладони ее давным-давно стали черными от типографской краски, газетная эта грязь не отмывалась с загоревшей кожи даже в бане.

Дом Надежды, такой же неухоженный, как она сама, давно просил ремонта, но не было денег на стройматериалы и не было сил и желания искать где-то мужиков для этого ремонта.... Она, как заведенная однажды раз и навсегда, бежала с утра на почту, сортировала газеты, потом неслась по полям, оттягивая сумками руки, а вечером, после работы, ее хватало лишь на то, чтобы наварить картошки, съесть несколько картофелин с соленым огурцом и упасть на кровать. А ведь был еще огород, еще была большая полоса, где садилась картошка, была больная, еле ползающая соседка, которая часто просила Надежду о помощи...

Иногда, вглядываясь в мутный экран старенького телевизора, Надежда с завистью слушала, как на флюоресцентно-ярких ток-шоу гламурные «звезды» давали советы, что носить и какой косметикой пользоваться, чтобы остаться интересной женщиной, Андрей Малахов прилюдно разбирался, почему разошлись Пугачева и Киркоров... Назойливо лезла

в глаза реклама – о французских духах, о прокладках с крылышками, о волшебном йогурте, который ели всей семьей по-ангельски красивые и заботливые мужья и жены, их сыновья и дочери, сидя у чудесных каминов на чудесной мягкой мебели в непостижимо прекрасных квартирах...

Когда ноги не заносили Надежду как положено – днем стали ныть и порой подкашиваться, а по ночам их словно грызли собаки, – она поменяла труд почтальона на труд технички двухэтажного магазина – очень большого по местным меркам. Проиграла в зарплате, а выиграла разве что в пробегаемых за день расстояниях да в перепадах температур, но уставала по-прежнему, только теперь начали болеть руки.

И поэтому, когда ее подбородок разнесло, Надежда даже обрадовалась: теперь она хоть немного отдохнет.

Дежурный доктор, при всей своей хмурости, оказался внимательным. Тут же отправил Надежду в палату, прописал капельницу с антибиотиками и вызвал хирурга для вскрытия огромного Надеждиного фурункула.

...За больничным окном шел снег. Белые хлопья вились в воздухе, липли к стеклу, в беспорядочной пляске рисовали узоры, перечеркивая белыми следами черные ломаные линии голых тополиных веток, постепенно затушевывая их и размывая резкость. Словно кто-то водил кистью по картине, рамой которой служило палатное окно, и неторопливо закрашивал жидкой белой гуашью кусок неба и тополиную крону...

«Словно ангелочки Господни летают...» – почему-то подумалось Надежде.

В палате стояло пять кроватей. Три из них уже были заняты, Надежда лежала против них, на крайней у окна, чувствуя дыхание улицы сквозь плохо законопаченные щели.

Слегка затекла рука с иглой в вене, лекарство из капельницы холодило кожу в горячей складочке на сгибе. В висках все стучали раскаленные молотки, но даже этот стук не мог нарушить состояния блаженного покоя, овладевшего Надеждой.

Тощее больничное одеяло приятно щекотало ноющие ноги, край подушки в застиранной серой наволочке касался горячей щеки, и в этом касании Надежда тоже чувствовала странное тихое удовольствие. Тело ее оцепенело, стало невесомым... Из коридора, словно сквозь ватный слой, доносились шаги и голоса, и звуки эти напоминали что-то невообразимо далекое, уже случавшееся когда-то с ней очень давно – может быть, в детстве, а может быть, в другой жизни... Звуки удалялись, как будто все толще становился слой ваты...

Все эти ощущения нежно качали Надеждино тело, кружа в ласковом светлом водовороте и незаметно засасывая все глубже в его воронку, и даже головная боль словно отделилась от черепа, повисла желтым шаром над подушкой и не нарушала блаженности ощущений...

– Новенькая, ты спишь? – скрипучий старушечий голос выдернул ее из белых мягких волн.

Надежда с трудом разлепила веки, но вместо соседки вдруг увидела нечто странное.

На бабкиной кровати теснилась черная, омерзительная, ноздреватая масса. Словно пыхтящей квашне, ей было мало места в продавленной панцирной люльке, и она сползала вниз, на пол...

– Спишь, что ли? – настырная старуха, во что бы то ни стало, желала разговора.

– Что пристала-то, Клавдия Ивановна, худо ей, – слева от бабки зашевелилась женщина. – Ей покой нужен...

Надежда перевела взгляд на говорившую. Попыталась рассмотреть, но увидела на ее месте, словно сквозь висящую марлю, зыбкий зеленый клубок с неровными очертаниями, колыхающийся в воздухе. Зелень то ярчела, становясь похожей на крону летнего дерева, то тускнела, словно за дождевой завесой, а то местами затягивалась коричневым...

Почему-то все это нисколько не удивило Надежду...

– Бабушка Клава, а новенькая тетенька спит, у нее глаза закрыты, не буди ее, – отозвался справа легкий детский голос. Это еще одна пациентка пятой палаты, семилетняя девочка, вмешалась в происходящее.

«Глаза закрыты»? А как же тогда Надежда видит своих соседок?

Она устремила взгляд в сторону девочки.

В белесом тумане над кроватью у той дрожал в воздухе раскрытый венчик розового цветка... или это был прозрачный бокальчик в форме цветка? Внутри его, мерцающая и просвечивая сквозь лепестки, плескалась, словно цветочный нектар, розовая нежность. Надежда ясно почувствовала сладкую свежесть цветущего луга, повеявшую с той стороны...

И опять она не удивилась.

...Позднее, после всех хирургических манипуляций, когда Надежда оклемалась, она узнала от соседки слева, сорокалетней Любаши, лечившейся от холецистита, что у вредной бабы Клавы – рак, что маленькая Верочка почти поправилась, и ее скоро выпишут, что у самой Любы – большая дружная семья, любящий муж: Надежда в этом убедилась, наблюдая за их встречами.

А Надежда, оказывается, была на грани жизни и смерти: об этом ей поведал на обходе лечащий врач – высокий, молодой и красивый Роман Сергеевич. Он мягко упрекнул ее за то, что поздно обратилась в больницу, мол, еще бы день-два, и тогда...

Кстати, необычных картин Надежда больше не видела. Вокруг нее были люди как люди: приятная в общении Любаша, вечно недовольная чем-то баба Клава и Верочка – золотой голосистый звоночек.

И еще, проведя несколько дней в больнице, Надежда перестала бояться заведующей магазином.

Юрий МАКСИН

И НЕТУ У СЕРДЦА ИНОГО ЗАКАЗА...

* * *

Всю ночь шёл дождь. Стекали капли и мыли зимнее стекло. И набирала воду в лапья сосна. И только рассвело, она умылась, посвежела, упругим ветром завилась и кудри колкие вертела	весь день, в моё окно глядясь. Глядел Господь на край умытый, обласканный на много вёрст. И чистые слова молитвы я с чистым сердцем произнёс...
---	---

* * *

Остались на свете поэт да художник.
А все остальные ушли
за грани разнузданных дел всевозможных,
за край горизонта Земли.

Поэт – Божья дудка, поёт, словно птаха,
выводит коленца из слов.
Художник Лик Божий рождает из праха,
из вечных искусства основ.

И нету у сердца иного заказа,
других всевозможных забот.
Живут на Великой Руси богомазы.
И Божия дудка – поёт.

* * *

Снился мне Император, снилась Церковь золотая, как въезжал триумфатор в кущи русского рая.	Запах тёплого хлеба вечет в первопрестольной. Словно дождичек с неба, льётся звон колокольный...
Всюду радость на лицах, вверх детей поднимают. Всех заставил смириться, кто на Русь посягает.	Ну, откуда, ответьте, сны такие приходят? Это эхо бессмертья реет в русском народе...

Черёмуха

Давно растёт черёмуха в саду.
Кем и в каком посажена году?

Неведомо. Но много, много лет
передавала с родины привет.

Она дарила белый аромат,
манила отворить калитку в сад

и целовать невинные цветы.
Черёмуха любимая, где ты?

Я целовал невинные цветы.
Черёмуха любимая, где ты?

Уткнусь лицом в корявый, чёрный ствол.
Как долго на свиданье к милой шёл!

Кругом следы ушедшей красоты.
И не достать последние цветы.

И не достать последние цветы...

* * *

Закрою кингстоны в душе,
иначе не справиться с грузом.
Нет рая в моём шалаше,
вот разве с пригревшейся музой.

И вот – пустота и шалаш.
Всё зыбко, зима на пороге.
И, как говорится, шабаш,
конец, то есть. С мыслью о Боге.

Она пела в царских дворах,
ей с радостью рукоплескали,
она утопала в цветах,
как памятник на пьедестале.

Струится естественный свет
в остатках бывшего Союза.
Здесь тихо, но радости нет.
И плачет державная муза.

Поцелуй на морозе

Жизнь увязнет в размашистой прозе,
станешь сивые бредни читать...
«Русь, ты вся – поцелуй на морозе!» –
это Хлебников. Что тут сказать!

Не сыскать среди вязкого быта
вот такие – из чуда слова.
Они в кузнице сердца отлиты,
и хмелеет от них голова.

Так иди в соловьиные трели,
перейди не один Рубикон.
Пусть до пят пробирают метели.
Пусть до слёз добирается звон.
И тогда драгоценные строки
пыхнут искрами в холоде дня.
Снегирями затеплятся щёки,
поцелуй на морозе храня.

Пылинка

Звёзды слева и справа, вверху и внизу.
Птиц не слышно, поёт только солнечный ветер.
Он всё гонит и гонит вселенскую тьму,
он её прогонял на Земле, на рассвете.

Просыпались деревья. Очнувшись, цветы
поднимали головки к зовущему небу.
Рыбы шли из глубин, из пластов темноты.
Звери грели бока, отдыхая от бега...

Звёзды слева и справа, вверху и внизу,
и пылинка, гонимая солнечным ветром.
Тихо здесь. Не услышишь земную грозу,
только ласковый шёпот летящего света.

Как всё просто в пределах у света и тьмы!
Зло, добро – из другого, незвёздного царства,
и не надо бояться сумы и тюрьмы,
слушай шёпот бессмертья космической арфы.

Он звучит неустанно – космический свет.
А с Земли всё казалось, что бездна молчала.
Всюду светятся звёзды, каких только нет!
Где же та, что меня привечала?!

* * *

Никто из них горько не плакал,
прощаясь с великой страной.
Им просто хотелось на Запад,
им Родина стала чужой.

Но сказки кончаются быстро,
и чем ещё будешь согрет?
Есть деньги, но много ли смысла,
когда от них совести нет.

С собою никто для оплота
не взял горсть родимой земли.
Их в сказку несли самолёты,
их в сказку везли корабли.

Открыт выпускающий клапан,
обещан предательский грант.
Им просто хотелось на Запад –
вот в этом их главный талант.

* * *

Окна светят отражённым светом.
Дом просторный отчего-то пуст.
Не живут в нём ни зимой, ни летом.
Здесь живой – один рябины куст.

Строили и думали, что дети
будут благодарны за жильё.
Ну, а дом не греет и не светит.
Его долго строило ... жульё.

Священник Николай ТОЛСТИКОВ

ПРИХОДИНКИ

СМИРЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Смотритель при храме – должность, в общем-то, женская. Дел и делшек всяких – уйма! Надо подсвечники после службы протереть, воду для крещенской купели нагреть и принести, за порядком в храме следить. Хоть за чистотой, хоть за лихими людишками, норвящими что-нибудь спереть.

Времена менялись... Храм наш стоял возле городского рынка и, бывало, подвергался набегам разных чудаков. Один прямо на середине вытряхнул полный ящик румяных яблок, видать, для пущей своей торговли. Другой чудачина бутылки с пивом по деревянному полу с грохотом кататься запустил, не иначе от алкоголизма надеясь отшатнуться. Третий – произносящего на солее ектению диакона по плечу хлопнул и пьяно поинтересовался: «А в ухо хошь?!». Но диакон был не робкого десятка и с достоинством ответствовал: «Отдачей не замучаешься?».

Бузотера незамедлительно и ловко «упаковал» наш новый смотритель Ваня, вытащил проветриться на улицу...

Ваня, крепкий мужичок за пятьдесят, прибил к храму на радость прочим бабушкам-смотрительницам, поселился бобылем в сторожке. Обходительный и вежливый с коллегами, он не чурался всякой работенки – только седая его голова то тут, то там в храме мелькала. Лихоимцам с улицы надежный заслон был поставлен. Одного даже Ваня поймал с поличным – вывернул из-под полы сворованную икону. Огрел «экспроприатора» несильно по загривку и вытолкнул восвосяи.

Допытывались у Вани – чей он да откуда? Только молчал упорно в ответ смотритель, лишь хмыкал в лохматые свои усы.

– Вот смиренный какой человек... – шамкали старушонки.

Тайна разрешилась в День Победы.

Ваня пришел на службу в парадной офицерской форме с орденами и медалями на груди. Прихожане взирали на сие «явление» с раскрытыми ртами, кто-то из старушонок робко поинтересовался:

– Где ты, Ваня, успел повоевать? Вроде еще и не старый...

Ваня, как всегда, немногословен:

– В Афгане. Дворец Амина брал.

После праздника Ваня вдруг пропал, никто из наших прихожан не повстречал его больше. Уехал, видно, куда-то. Туда, где его не знают.

ЖЕРТВА

Отец Василий из протоиереев прежних, жизнью вдоволь «тертых», в советскую пору уполномоченными по делам религий вдосталь «обласканный», насмешек от атеистов разных мастей в свое время натерпевшийся...

Вельцинскую эпоху народ валом повалил в восстанавливаемые храмы. Стоят такие люди на службе, переминаются с ноги на ногу, пялятся по сторонам недоумевающе, не ведая, что надо делать.

Отец Василий и вразумляет таких с амвона:

– Не умеете молиться – кладите деньги! Все посильная жертва ваша Господу будет...

ВО СЛАВУ БОЖИЮ!

В алтаре храма в определенные моменты службы священнослужителям разрешается уставом сидеть. Наш игумен, видимо, для пущего смирения этим послаблением пренебрегает: стоит и стоит себе, молится...

Но однажды присел-таки, то ли неважно себя почувствовал, то ли просто устал.

– В кои-то веки! Не иначе, жалованье всем прибавят! – воскликнул кто-то из малоимущих пономарей.

И точно, как по заказу, на другой день – желанная добавка!

Теперь игумена на каждой службе с участливым видом просили пономари присесть, даже мягким стуликом обзавелись и его игумену старательно подставляли...

Тщетны попытки! Не так прост игумен, опять стоит перед престолом Божиим несокруσιμο. И еще наставляет жаждущих дополнительного «сребра»:

– Потрудитесь-ка просто, во славу Божию!

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

На дальний приход приехал строгий архиерей, заметил какие-то непорядки.

За трапезой – напряженное молчание. Местный батюшка, прежде чем вкусить скромных яств, осторожно перекрестил свой рот.

– Зачем вы это делаете? – раздраженно спросил владыка.

– На всякий случай. Чтобы бес не заскочил.

– А может, чтоб не выскочил?

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Одолели бомжи. С холодами порядочной компанией обосновались в притворе храма, хватают за рукава прихожан, «трясут» милостыню. Настоятель, бедный, не знает как отбиться от них: иной здоровенный дядя, одетый в шмотки с чужого плеча, куда как «круче» многодетного молодого батюшки, гнусавит протяжно, заступая дорогу:

– Я кушать хочу! Дай!..

Выручает казначей – тетка бывалая, «тертая» жизнью. Храм, хоть и в центре города, но верующим возвращен недавно, обустроиваться в нем только-только начали. Чтоб не застынуть в мороз, поставили печки-временки, привезли и свалили на улице возле стены храма воз дров.

Казначей и обращается к бомжам с деловым предложением:

– Берите рукавицы, топоры, и – дрова колоть! Всех потом накормим!.. Ну, кто первый, самый смелый? Ты?

Бомж в ответ мнется, бормочет себе под нос: «Да я работать-то и отвык...» и – бочком, бочком – на улицу!

Следом – остальные. Как ветром всех сдуло!

СОВЕТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Из трапезной храма подкармливают бомжей. Повариха выносит им на улицу кастрюлю с супом. Минута – суп проглочен. С пустой посудиною в руках стучится в двери пьяненькая пожилая бомжиха, говорит деловито:

– Второе, пожалуйста!.. И десерт!

НЕ ЗАЗНАВАЙСЯ!

Настоятель храма из районного городка давненько в областной столице не бывал, даже архиерей успел поменяться. Надо ехать, брать благословение у нового.

Приехал, зашел во двор епархиального управления. Видит: автомобиль чинят, из-под него ноги чьи-то торчат. Батюшка был то ли из отставных вояк, то ли из «ментов», церемониться с простым, да тем более с обслуживающим людом особо не привык:

– Эй ты, водила! – окликнул он ремонтника и даже по подошвам ботинок того легонько попинал. – Не знаешь, новый владыка на месте?

Ремонтник молча и неторопливо выбрался из-под автомобиля и, обтирая тряпкой испачканные маслом свои руки, с нескрываемым любопытством поглядел на вопрошавшего:

– Вообще-то, я не водила, а ваш новый владыка!

Батюшка тут и сел...

СВЯТОЙ

В разгар грозы молния ударила прямо в купол колокольни стоявшей на бугре на отшибе от городка церкви. Вспыхнуло гигантской свечой, даром что и дождь еще не затих.

Пусть и времечко было советское, атеистическое, храм действующий, но народ тушить пожар бросился дружно.

Потом батюшка одарил особо отличившихся мужичков полновесными червонцами с ленинским профилем. Мужики бригадой двинулись в «казенку», событие такое отпраздновали на полную «катушку». Потом постепенно, по прошествии лет, все бы и забылось, кабы не опоек Коля – в чем только душа держится. Всякий раз, торча в пивнушке на своих колесах ногах за столиком, он вспоминал геройский подвиг. И втолковывая молодяжке, что если б не он, то б хана делу, «сгорела б точно церква!», блаженно закатив глаза, крестился заскорузлой щепотью:

– Теперь я святой!..

Так и прозвали его – Коля Святой.

ВТОРАЯ НАТУРА

Длинноносый, в очочках, слегка прощелыговатого вида, местного пошиба чинуша Голубок был еще и уполномоченным по делам религии при райисполкоме.

Времена наступили уже «горбачевские», в отличие от своих предшественников, Голубок настоятеля храма в городке не притеснял, постаивал себе по воскресным службам скромненько в уголке возле свечного «ящика».

Скоро «необходимость» в уполномоченных вместе с самой властью и вовсе отпала, Голубка вроде б как выперли на пенсию, но в храме он появлялся неизменно и стоял все на том же месте.

«Не иначе, уверовал в Бога!» – решил про него батюшка и даже поздравить его хотел с сем радостным событием.

Но Голубок потупился:

– Я, знаете ли, захожу к вам по привычке.

«Да! – вздохнул обескуражено настоятель. – Что поделаешь, коли вторая натура!»

БЕССРЕБРЕНИКИ

Триня и Костюня – пожилые тюремные сидельцы, и не по одному сроку за их плечами: то кого побили, то чего украли. И тут долго на волюшке ходить, видать, опять не собрались: подзудил их лукавый в ближней деревне церковь «подломить».

Двинулись на дело глухой ночью, здоровенным колом приперли дверь избушки, где дрых старик-сторож, оконце махонькое – не выскочит, и, прилагая все нажитые воровские навыки, выворотили четыре старинных замка на воротах храма.

Побродили в гулкой темноте, пошарились с фонариком. В ценностях икон ни тот, ни другой не пендрили и потому их и трогать не стали. Наткнулись на деревянную кассу для пожертвований, раскокали, но и горсти мелочи там не набралось.

– Тю! – присвистнул радостно Триня. – Бросай эту мелочевку, тут в углу целый ящик кагора!..

На задах чьего-то подворья в сараюшке устроили налетчики пир. Тут их тепленькими и взяли. Когда их вязали, возмущались они, едва шевеля онемевшими языками:

– Мы че?! Ни че не сперли, верим, так как кагор и тот выпить не успели.

ПРИСОСЕДИЛИСЬ

На заре советской власти в моем родном городке тоже предавались всеобщему безумию – переименовывать улицы. Прямо пойдя – Политическая, вбок поверни – Карла Маркса.

Проходя по центральной улице, спросил я у девчонок из местного сельхозколледжа: знают ли в честь кого улица названа – Розы Люксембург?

Те хихикнули, блеснув белыми зубками:

– Да в честь какой-то международной «прости-господи»!

А уж кто такой по соседству Лассаль, не каждый здешний учитель истории наверно ответит.

Эх, погуливали когда-то наши предки по Соборной, назначали свидания на тихой, утопающей в кустах сирени Старомещанской, в воскресный день шли на службу в храм по Никольской!

Отреставрировали у нас недавно часовенку, освятили для верующих, в угловом здании бывшего горсовета открыли воскресную школу. Красивыми такими большими буквами на стене ее название написали.

А чуть выше старая вывеска-указатель: улица Коммунистов.

Присоседились.

ТРИДЦАТЬ СРЕБРЕНИКОВ

Писатель служил диаконом в храме. Дожил и дослужил он до седой бороды; писателем его никто не считал и называл если так – то по-за глаза, ухмыляясь и покручивая пальчиком возле виска.

Мало кто знал, что на дне старинного сундука в отцовском доме лежала толстая стопка исписанных бумажных листов, «семейная сага» – история рода, над которой он в молодости за столом корпел ночами. Все встряхивающие в прошлом веке «родову» события, образы дедов и бабок, дядек и теток, удачливых в жизни или беспшальных до одури, укладывались помаленьку в главы книги.

Тогда же он, с радостным трепетом поставив последнюю точку, послал рукопись в один из журналов, и оттуда, огорошив, ему ответили, что, дескать, ваши герои серы и никчемны, и что от жизни такой проще взять им лопату и самозакопаться. А где образ передового молодого рабочего? Нету?! Ату!!!

Обескураженный автор спрятал рукопись в тот злополучный сундук, втайне все же надеясь, что еще придет ее время...

О своей «саге» диакон, видимо, обмолвился кому-то из иереев, тот – еще кому-то, узнала о ней и одна интеллигентная бабушка-прихожанка, решила помочь. Схватила диакона-писателя за рукав подрясника и потащила к спонсору. Куда ж ныне без них, сердешных, денешься, тем более среди прихожан таковые имелись. А этот, по слухам, еще и из поповичей выходец.

В назначенный час диакон и тетка топтались у подъезда особняка-новодола в центре города. Хозяин его, глава фирмы по продаже чистой воды за рубеж, лихо подрулил на иномарке. Ладный такой старичок, спортивного вида, в отутюженном костюмчике; глаза из-под стеклышек очочков – буравчики. Рукопожатие крепкое.

– Преображенский! – представился он и сказал диакону: – Вы давайте сюда свою рукопись, я ознакомлюсь и решу. Вас, когда понадобится мне, найдут...

Переживал, конечно, писатель несколько томительных дней и ночей, мало ел, плохо спал. Наконец, позвонили прямо в храм за свечной «ящик»: Преображенский приглашает.

Он ждал диакона на том же крылечке, вежливо открыл перед ним дверь в офис; охранник-детина, завидев за писателем шефа, вскочил и вытянулся в струнку.

Преображенский провел гостя в свой большущий просторный кабинет с развешенными на стенах полотнами-подлинниками местных художников.

– Вас, наверное, предупредили... – начал он разговор. – А, может, и нет. Я был начальником отдела контрразведки одного известного учреждения. Впрочем, ладно, не в этом суть.

«Вот влип!» – подумал про себя диакон и слегка вспотел.

– Откуда вы для своей книги сведения черпали? Героев своих расписывали? Из рассказов родственников, соседей? Да? Но всегда ли эти байки объективны были, не обиду или злобу затаив, сочинял иной гражданин разные «страшилки» про коллективизацию или работу «органов»? Вас-то в это время еще не было на свете!.. У меня самого прадед-священник в двадцатом году во дворе тюрьмы от сердечного приступа преставился, когда на допрос чекисты выкликнули. Но мне это родство потом в жизни помехой не стало...

Преображенский говорил и говорил, не давая бедному писателю и слова втиснуть. Оставалось только тому согласно мычать да глаза пучить.

– Зачем еще одна такая книга, где о советском прошлом так плохо и ужасно?.. Денег на издание ее я вам не дам... Но не спешите откланиваться! – остановил диакона несостоявшийся спонсор. – У меня есть к вам деловое предложение. А что если вы напишите такую книгу, где коллективизация, «чистки» и все другое было только во благо, во имя высшей цели?! Вот это вас сразу выделит из прочего мутного потока! А я готов платить вам жалование каждый месяц, такое же, как у вас в храме. Подумайте!

Диакон вышел на крыльцо, нашел взглядом маковки церковных куполов невдалеке и, прошептав молитву, перекрестился.

Ничего не стал он писать. А рукопись свою опять спрятал на дно сундука.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Ильич стоит к храму боком, вроде б как с пренебрежением засунув руки в карманы штанов и сбив на затылок кепку. На пьедестале – маленький, в свой натуральный рост, измазан черной краской.

Храм в нескольких десятках метров от статуи, в окружении рощицы из старых деревьев, уцелел чудом на краю площади в центре города. Всегда был заперт на замок, окна закрыты глухими ставнями.

Однажды в его стенах опять затеплилась таинственная, уединенная от прочего мира церковная жизнь...

Но и на пустынной площади возле Ленина разместился аквапарк с качелями-каруселями, надувными батутами, развеселой, грохочущей день-деньской музыкой. О вожде мирового пролетариата тоже не забыли: как любителю детей, под самый нос ему заворотили ярко раскрашенную громадную качалку. Только дети то ли не полюбили, то ли просто побожались качаться тут или благоразумные родители им запретили это. Визжали, дурачились на качалке молодые подвыпившие тетки, а с лавочек возле постамента, опутанного гирляндой из разноцветных помигивающих лампочек, их задирали тоже «хватившие» лишку молодцы с коротко стриженными, в извилинах шрамов, головами и в грязных потных майках, обтягивающих изляпанное синевой наколок тела.

Не думал я, проходя мимо их на службу, что нежданно-негаданно эта «накачанная» компания, спасаясь от жары или вовсе теряя всякую ориентировку во времени и пространстве, ввалится в храм...

Служили на Троицу литию. Выбрались из зимнего тесного придела в притвор напротив раскрытых врат просторного летнего храма, вытывшего за долгую зиму и теперь наполненного тяжелым влажным воздухом. Из окон под куполом пробиваются солнечные лучи, высвечивают, делая отчетливыми старинные фрески на стенах. Как на корабле среди бушующего, исходящего страстями людского моря!

Молодцов, пьяно-шумно загомонивших, тут же, зашипев и зашикав, выпроводили обратно за порог бабульки-смотрительницы. Один все-таки в ярко-красной майке, загорелый до черноты, сумел обогнуть «заслон» и, качаясь из стороны в сторону, пройти в гулкую пустоту летнего храма. Возле самой солеи, у царских врат, он бухнулся на коленки и прижался лбом к холодному каменному полу. Старушонки, подскочив, начали

тормозить и его, чтобы вывести, но батюшка махнул им рукой: пускай остается!..

Торжественно, отдаваясь эхом под сводами храма, звучали слова прошений ектении, хор временами подхватывал стройным печальным многоголосьем: «Господи, помилуй... Господи, помилуй!». В эту симфонию вдруг стали примешиваться какие-то неясные звуки. Мы прислушались. Да это же рыдал тот стриженный в майке! Бился испещренной шрамами головой об край соли, просил, умолял, жалился о своей, скорее всего, несуразно и непуतेво сложившейся жизни. Что творилось в душе его, какое скопище грехов рвало и кромсало ее на мелкие кровоточащие части?!

Вот он утих и лежал так ничком на полу до конца службы. Потом бабульки помогли ему подняться и повлекли его к выходу из храма, умиротворенного, притихшего, с мокрым от слез лицом.

А молодой батюшка, вздохнув, сказал:

– Проспится в кустах под Лениным и все свое покаяние забудет. А жаль...

ВЛАСТЬ БЕЗ ПОЛА

В самом древнем соборе в городе власти разрешили отслужить Пасхальную Вечерню. Собор – музей, в гулком его нутре холодно, сыро. За толстыми стенами вовсю бушует весна, а здесь впору в зимнюю одежду упаковываться.

В алтаре священнослужители терпеливо ждут архиерея, разглядывают старинные фрески на стенах.

Вдруг в алтарь бесцеремонно влетает немолодая дама, затянута в джинсовый костюм с блестящими заклепками, на голове – взлохмаченная кудель рыжих крашенных волос.

– Вы куда? Женщинам же сюда нельзя! – с тихим ужасом восклицает кто-то из молодых батюшек.

– Я не женщина! – нисколько не смущаясь, отвечает «джинсовая» дама. – Я главный инженер!

И неторопливо бродит по алтарю, смотрит на датчики на стенах, фиксирующие процент влажности, записывает что-то в блокнотик. Сделала свое дело и – как ни здрастье, так и ни до свидания!

Все оторопели. Немая сцена...

ПО ВРЕМЕНИ

Местный юродивый Толя Рыков сидит на паперти храма, как обычно, лопочет что-то взахлеб. Нет-нет да и проскочит в его речах крепкое словцо.

Солидная дама, выходя из храма и все-таки, видать, собирающаяся пожертвовать Толе копейчку, сожалеющее-брезгливо поджигает подкрашенные губы:

– Какой он у вас блаженный? Вон, как матом ругается!

Опрятная старушка рядом отвечает:

– Так это он по топерिशному времени...

ВСЕ-ТАКИ ПОЛЬЗА!

Бабулька тащит батюшке связку сухих позеленевших баранок:
– Хотела вот поросенку отдать... Да ты возьми! Хоть помолишься о мне, грешной!

БЕЗ ГРЕХА

Благообразного вида старушонка священнику:
– Ой, батюшко, хотела бы причаститься да все никак не получается!
– Иди на исповедь! – отвечает ей молодой батюшка. – Знаешь, что в Чаше-то находится?
Старушонка хитро поглядывает, почти шепчет заговорчищески:
– Знаю... Да только не скажу.
– Евангелие читаешь? – продолжает допытываться священник.
– На столе всегда лежит, – отвечает бабулька.
– Так читаешь?
– Так на столе-то оно ведь лежит!
– Много грехов накопила?
– Ох, батюшко, много-много! – сокрушенно всплескивает ручками старушка.
– Перечисляй тогда!
Бабулька задумывается, вздыхает вроде б как с огорчением:
– Да какие у меня грехи? Нету...

ПОСТ

Полуслепой, вдовец, давным-давно «за штатом», хромой отец Василий ковыляет помаленьку с базара. В авоське-сетке в крупную ячейку, болтающейся в его руке, просматривается мороженая куриная тушка.
Кто-то из новоявленных «фарисеев» радостно, с показным сокрушением на роже, бросается к старику:
– Батюшка, ведь – пост!
Отец Василий останавливается, скорее не зрением, а по звуку голоса находит укорившего его, и обстоятельно изрекает:
– У кого – нет, у того и пост!

ПОРТФЕЛЬЧИК

Семейство причащается Святых Христовых Тайн. Две девочки постарше уступают первенство младшей сестре. А та извивается ужом на руках у худощавого папы, мотает головой туда-сюда, плотно сжимая губы – ложечкой с причащением не попадешь.
– Да поставьте дочку на ноги, в конце концов! – говорит батюшка папаше. – Не младенец она у вас!
Девчонка уже не угрюмо и испуганно, а с некоторым настороженным интересом смотрит на батюшку снизу вверх. К спине непослушной рабы божией, словно блин, прилепился крохотный игрушечный портфельчик.
– О, сегодня знаменательный день! – нашелся священник. – Причащаются все, кто с портфельчиками!
И надо же – девчонка сразу свой рот нараспашку, как галчонок!

Подумалось: а что если бы не только дети, но и взрослые дяди и тети с портфелями причащались почаще! Может, тогда и жили бы все в России лучше...

ДАНЬ МОДЕ

Молодой священник отец Сергей пришел сам не свой:

– Пригласили меня освящать «новорусский» особняк... Час уж перед обедом. В вестибюле юная дамочка встречает. В одной прозрачной «ночнушке», коротенькой, по самое «не могу». Этак, спросонок, щебечет: «Вы работайте, работайте! Если я вам мешаю, то на балкончике пока покурю».

Освятил особняк отец Сергей, водичкой везде в комнатах покропил, от прелестей дамочки-хозяйшки стыдливо глаза отводит.

– Понимаете хоть – зачем вам это освящение жилища? – спрашивает.

– Так модно же! – удивленно округляются глазки с размазанной косметикой. – Чем я хуже других?! А вы получили за свою работу, так молчите!

ДАЙ ДЕНЕГ!

К отцу Сергию в церковном дворе «подгребают» бомж. Мужик еще не старый, здоровяк, подбитая рожа только пламенеет, и перегарищем за версту от него разит и едва с ног не сшибает.

– Дай денег! – просит у батюшки.

А у того детей – мал мала меньше, полная горница!

– Не дам, – говорит отец Сергей. – Мне чад кормить.

– А я вот семью свою потерял, потому и пью. Не могу без них и до такой жизни дошел, – пытается разжалобить священника бомж и приготавливается, видимо, выдать слезу.

– А ты не пей! – со строгостью отвечает отец Сергей. – И все вернется.

Бомж чувствует, что терпит «фиаско» и кричит раздраженно:

– Я... я...Афган прошел!... Напишу вот «корешам», они мне столько денег пришлют, что и тебе дам!..

Другой бомж – потише, на фантазии его не тянет, в состоянии крайнего возбуждения он приходит только в одном случае, когда в церковный двор въезжает шикарная иномарка, и навстречу ей торопится батюшка с кропилом.

Освящение машины – дело серьезное, тут хозяин «подстраховаться» от всякой беды хочет, стоит – весь во внимании. Щедро кропит батюшка иномарку святой водичкой, а тут невзрачный оборванный мужичонка к хозяину подскакивает и – дерг его за рукав!

– Дай денег! – кричит и щерит в беззубой улыбке рот.

Бритоголовый хозяин в другом бы месте без разговоров в ухо просителю въехал, но тут возле храма – нельзя. А бомж не отстает, то за один рукав, то за другой опять дергает.

– Да – на! Отсохни! – сует, наконец, бомжу купюру.

А тому только то и надо, будет ждать-дождаться до следующей поживы. Иноземного «авто» в России хоть пруд пруди, так и миллионером можно сделаться.

Сергей СОЗИН

Фатальное

*«Каждый год число опасных природных
явлений в мире возрастает на 6%»
(АиФ №36(1349) за 6-12 сентября 2006 г)*

Землёй комета позвана, И жизнь убита!	Подозреваю, что уже Всё это было.
Планета с чистого листа, И всё забыто!	Цивилизации до нас Земля убила.
Ни повседневной суеты... Ни эпидемий!	Сжигаем, гадим и палим, Живя без цели.
Повсюду царство темноты И привидений!	Не исключаю, что Земле Мы надоели...

Сашка

Смотрят детские глаза:
Ни обиды, ни печали.
– Ты откуда, егоза?
– Папка с мамкой пьют...прогнали...
И холодной ручонкой
Поздоровавшись со мной,
Пятилетний мужичонка
К тетке шлепает домой.
Ночь, метель, плетемся к тетке.
Там с порога отворот:
Тоже пьянка...в распашонке
Брат двоюродный ревет.
Мерзнем с Сашкой на морозе.
Слезы кончились давно...
Любит Сашка папку с мамкой...
Папке с мамкой все равно!

* * *

Над Вологодскою землею
Плывут седые облака.
Под монастырскою стеною
Заснули прошлые века.
И я усну в свой час печальный
В любимой северной земле...
Ну, а пока снежок хрустальный
Скрипит на утренней заре!...
Друзья бокалом не обносят.
Пылает милое лицо.
И под гармонь еще выносят
Хмельные ноги на крыльцо!

* * *

Тридцать три... Уже возраст Христа...
А меня и распять-то не за что!
Позади лишь одна суета
И сплошное невежество...

Убивали Марью за икону...

Убивали Марью за икону, Вяло убивали... не спеша. А куда спешить – на всю деревню Лишь ее забытая душа.	Деды сдуру храмы поносили, Внуки сносят бабкам черепа. Марьи нет! Пропала и икона, Продали распятого Христа. Отшептали с болью... тише стона: «Не убий...» разбитые уста.
Развелось ублюдков по России, Алчность этих нехристей слепа.	

Моя славянская душа

Моя славянская душа...
Она не ведает покоя.
Я вечно всем обеспокоен.
Иду, препятствия круша...

Моя славянская душа...
В ней всё: и грохот автомата,
Пот офицера и солдата...
И в люльке слёзы малыша...

Моя славянская душа...
Она невидима и зрима,
Взмахнёт крылами херувима
И улетаёт не спеша...

Моя славянская душа...
Она то в славе, то в опале.
То в бездне, то на пьедестале.
И НЕТУ ЭТОМУ КОНЦА!

Моя славянская душа...

* * *

Без Бога в сердце и церквей
Рванули к цели!
И мы б дошли...
Но... озверели!...

За всё простите нас...

О! Женщины! Взвалившие на плечи Ну... стой-не стой, а надо бы делами,
Детей, мужей и Родину свою... Заботою, деньгами и трудом...
День ото дня сегодня вам не легче... И каждый день! Чтоб лица их сияли,
Но праздник Ваш, и я о Вас пою! И этим светом озарялся дом.

Вы, как всегда, в заботах и в печали А что сейчас: цветы, букеты, речи...
Смирено крест судьбы несёте свой... Банальные... Звучащие не раз.
Эх, мужики! Мы столько им не дали!!! А мы должны зажечь пред Вами свечи
Хоть ежедневно на коленях стой!!! И умолять: «За всё... простите нас!!!».

Читая Катуллу...

Я всё понимаю... Но всё понимать я не в силах...
Какое-то чувство меня вновь и вновь посещает.
И тянет меня заглянуть за окраины мира.
И вдруг в высоту меня вновь увлекает.

И неба сверкают безумно глубоко зарницы.
И я уплываю и рвусь в облака поднебесья.
Я чувствую в небо взмывающей птицей
И нежного голоса вечною песней.

Откуда рождаются эти влекущие строки.
Несёт, изливаясь, поток бесконечный.
И месяц желтеет на небе совсем одинокий.
И горизонта овал, что такой безупречный.

Как звуки вселенной с моими слились резонансом.
Я чувствую вечности строгой течение.
Звучит во мне песня. Звучит бесконечным романсом.
И вижу я в небе опять...то святое свечение...

Я в бездне глубокой из рифм и созвучий.
Рождающей звуки стихов, что рыдают...
Как строится этот цветник благозвучий?
Неведомо мне, и другие не знают...

Толпа, пережившая ночь...

Опять наступило утро, И тьма отступила прочь. В разбитый автобус влезает Толпа, пережившая ночь.	Разбитой дорогою мчится Автобус с помятым капотом. В дрёме забылись общаги, Выплюнув неработу прочь. Вползла на вокзалы и рынки Толпа, пережившая ночь.
---	--

Антонида СМОЛИНА

НЕ ПО ЛЮБВИ

Каждую весну в канун Дня Победы жители окрестных деревень тянутся на старое сельское кладбище, чтобы навести порядок на могилах усопших родственников. Так уж повелось в наших местах.

Собрав нехитрый инструмент, закинув в сумку пару бутербродов, я тоже выдвигаюсь в путь. Работы предстоит немало: с каждым годом прибывает родных лиц на погосте.

Скользя по непросохшей еще тропинке и звучно булькаясь сапогом в неприметные под прошлогодней травой ложбины, наконец, огибаю упавшую изгородь первых захоронений, чтобы выйти на «центральную улочку». Так прозвала новую часть старого кладбища одинокая тетка Александра, которая все просила по смерти положить ее ближе к народу: боялась затосковать под темными елями окраин. Вон там ее оградка – совсем скоро заалееет цветущим шиповником у покосившегося креста.

Добрые встречи предстоят мне этим утром: сколько несказанного надо сказать, сколько вспомнить и оставить здесь, за шумом берез и сосен, оберегающих священную тишину.

И, как прежде, ранним гостем забреду к Раисе Прокопьевне – звонкой и радушной тете Рае, скормившей местной ребятне за чаем не один пуд шоколадных конфет.

Дом ее пристроился на самом краю самой дальней деревни нашего сельсовета. Из окна на кухне видны поля, будто пришитые кромкой к горизонту, а в комнате в открытые летом створки ломаются тяжелые ветки черемух. На столе – неубывающая гора пирогов, фырчащий самовар, на стене – безумолчные ходики, которым совсем неважно точное время, будто не для того завела их хозяйка.

Конечно, давно нет ни самовара, ни ходиков. Окна наглухо зашиты тесом, крыша просела, а крыльцо устало завалилось набок. И все равно нельзя не улыбнуться, вспоминая тот дом.

Был у Раисы Прокопьевны муж – дядя Алексей. И был он полной ее противоположностью. Она – шумная, деловитая, ни минуты без дела, а он – чего уж таить – нюня. Всем и всегда рулила тетя Рая, он же послушно исполнял указы, умудряясь тем не менее регулярно напороться на праведный гнев своей благоверной. Впрочем, не так уж прост был дядя Алексей, но об этом чуть позже.

– Мы ведь с ним не по любви женились, – охотно делилась тетя Рая, расположившись у стола с чашкой «ликерчика», так она называла рябиновую настойку, разбавленную горячим чаем.

– Ну, Раечка, зачем же ты опять начинаешь? – пытался возразить герой этой истории.

– А затем, что по любви надо было замуж идти, за Генку-инженера: жила бы, как сыр в масле каталась, а не с тобой мыкалась. Сколько нервов ты мне истребал, вон, неврологию заработала, – заводилась тетя Рая и бесцеремонно тыкала растопыренной пятерней в нос супругу.

После этого дядя Алексей обычно находил себе срочное занятие во дворе, привычно скрываясь с глаз обиженной женщины.

А она продолжала уже знакомую всем историю:

– Я тогда с подружкой из деревни только выбралась. Приехали мы в Мурманск производство строить. Прошли курсы маляров-штукатуров, и направили нас цеха красить. А я хороша была! Коса длинная, талия – чуть шире этой чашки. Одевалась всегда с иголки. Выйду из цеха – юбочка, кофточка, причесочка – не скажешь, что малярша. Но гордая! Никого к себе не подпускала. И стал за мной Генка-инженер ухлестывать. То конфет притащит, то цветов. А ведь тогда цветы живые, знаешь, какая редкость была. Одним словом, ухаживал. И нет бы мне, дурехе, приглядеться к нему, все-таки с местом парень, с головой! Подружка-то моя сразу прочухала, давай ему глазки строить. А мне, видите ли, усы его рыжие не по душе пришлись. Как подойдет ближе – так будто тараканы на меня таращатся. Думаю, а ну целоваться полезет – я ведь заверещу. В общем, он потом на подружке моей и женился. Хотя, точно знаю, всю жизнь меня любил. Мне же этот увалень достался. Как достался-то? Дак ведь говорю же, дура была. Иду по улице как-то, а он у киоска газетного стоит. Рубашка белая, на ветру так и трепыхается, рукава по локоть закатаны, и руки загорелые, словно только вчера с моря вернулся. Подошла поближе, он оглянулся на меня – да как хлоп, хлоп своими ресничками! Я чуть не села, до чего хорош, зараза, был.

– Теть Рая, так ты ж, выходит, влюбила в него, а говоришь, не по любви женились.

– Говорю, не по любви, значит, не по любви, – недовольно буркнет несостоявшаяся Джульета и, отхлебнув ликерчику, пояснит. – Стали тогда молодоженам квартиры выписывать. А я в общежитии на двоих с подружкой комнатку делила. Удобства на этаже, две кровати вдоль стен да стол с табуретками – и то все казенное. Вот и думаю, замужем-то почти то же самое, только уж все свое и сама хозяйка – надо замуж идти. А за кого идти? Не за Генку же, с тараканами в квартире жить ой как не хотелось. Вот и потащила этого в загс.

– И не сопротивлялся?

– Да ты глянь на него, ему ведь ни до чего дела нет. Так и до женитьбы не было. Сказала «пошли», он и пошел.

– Любил, наверно, – подмигнешь тете Рае.

– Любил?! – фыркнет она. – У него одна любовь – та, что сорок градусов и булькает.

В защиту дяди Алексея надо все же сказать, что пьяницей он никогда не был. Однако много лет в их семье продолжалась увлекательная робинзонада. Немыслимыми фантазийными усилиями он находил тайники для заветной чекушки, чтобы приложиться с утра «для запаха», а после попартизански верно и преданно отстаивать заветный схрон под натиском разбушевавшейся супруги.

Где только он не прятал свою стеклянную подружку: и в доме, и в бане, и даже на огородных грядках находила тетя Рая его тайники. А найдя, с видом торжествующей Немезиды уничтожала найденное жестоко и беспощадно – выливая в отхожее место. После того дня два дядя Алексей ходил пристыженным и обиженным, а как только воспревал духом – поиски начинались снова.

В последнее свое лето Раиса Прокопьевна занялась рукоделием. Очень уж ей приглянулась в одном журнале вывязанная крючком барышня с зонтиком: тонкая, изящная, в широкой юбке, она напоминала тете Рае ее саму в лучшие годы. Несколько дней трудилась рукодельница над этим

шедевром, и результат того стоил. Барышня, заняв удобную позицию на полке за телевизором, неизменно радовала свою хозяйку.

И в то же лето был побит рекорд по самому длительному ненахождению запретной чекушки. Каждый вечер, ложась спать, тетя Рая ломала голову, где этот старый проныра зарыл свое сокровище. И ведь что интересно, далеко не уходит, надолго не отлучается, а знакомый шлейф уже витает в комнате, под самым ее носом. По всем подсчетам, выпита была уже не одна «малушка», но разгадка так и не находилась. Ох, и кипели же тогда страсти на кухне у тети Раи!

А с первыми осенними деньками Раиса Прокопьевна занемогла. Притихла, присмирела и вскоре ушла в одну из сентябрьских ночей, робко стучащих дождем в темные окна.

На поминках дядя Алексей вынес ту самую не найденную покойной чекушку. Все это время она стояла на полке за телевизором. Когда тетя Рая связала свою барышню, для опоры под платье она поставила пустую бутылку, которую тут же ловко подменил ее хитроумный супруг.

Еще долгих двенадцать лет прожил дядя Алексей без тети Раи. Каждую весну он вот так же приходил на ее могилу и, лукаво подмигнув жене, смотрящей на него с надгробного фото, задавал неизменный вопрос:

– Ну что, Раечка, догадалась, где?

И после, выдержав паузу, торжественно выдавал:

– А вот и нет! – и доставал чекушку то из сапога, то из-под шапки.

Могилы дяди Алексея в Мурманске. В прошлом году дети забрали старика к себе, там он и умер.

Надежно спрятался.

ХЛЕБНЫЙ ЖАР МОЕЙ РОДИНЫ

Во времена, когда я еще ходила пешком под стол, в доме нашем нередко собиралось много гостей. Среди них всегда особо привечались жители Загарья, родной бабушкиной деревни в восьми километрах от нашей. Собираясь по вечерам вокруг пузатого самовара, вспоминали они былое, вновь и вновь перебирая «всяко ранешное». В их излюбленных былях передо мной, будто наяву, оживали картины, на которых взлетали колодезные журавли над плетеными изгородями, щеголяли узорными ставнями высокие дома-пятистенки, звенели юными голосами широкие улицы. Мне доводилось бывать в их деревне, но не было там ни высоких домов, ни глубоких колодцев – лишь пара осевших по самые окна изб да трава по пояс...

Сегодня, вглядываясь в родные просторы, я понимаю, что и мои внуки наверняка с недоверием будут слушать мои рассказы. Числится пока населенным пунктом наше Горбачево. Стоят как-то старые избы, живут еще в некоторых прежние соседи, но нет уже той деревни, в которой я выросла и бегала по проселку в ситцевом платьице.

Все чаще и чаще я пытаюсь воскресить в памяти счастливые мгновения детства.

Вот вижу себя совсем маленькой девочкой. На дворе весна, солнце щурится сквозь дымку майских облаков, а я бегу вприпрыжку по широким деревянным мосткам на пекарню за свежим хлебом. Щемит в груди от радостного ожидания: распахнется низенькая дверь, обдаст меня внезапно хлебным жаром.

Кажется, сам ветер несет меня, как в замедленной съемке: полощется на ветру пестрая юбка, сшитая бабушкой, а красная кофта с такими рукавами, что шаг еще – и я взлечу, взмахнув красными крыльями... Но... Затянуло бурьяном то укромное место на берегу ручья Щапово, где когда-то дымила высокой трубой пекарня. Растаял за кронами осин дразнящий запах свежего хлеба...

Воспоминания нахлынули, и я хватаю ручку, бумагу в надежде поймать мимолетную картинку, запечатлеть в словах некогда испытанное счастье. А слова не идут.

Эх, хороша была моя деревня, людная, дружная, веселая! «Была», – затеняет всю строчку роковой глагол. И теряются за ним перебор раздольного сенокоса, щелканье кнута и насадный скрип телег под ношей сена с дальнего покоса.

Мне хотелось бы написать о том, как вырастает новый дом на пригорке у колодца. День за днем под перестук топоров из запаха смолы и кучерявых стружек все выше и выше тянутся рубленые простенки, пока не поднимется он, стройный красавец, во весь рост, подставляя солнцу острые грани новенькой крыши.

Увы и ах! Рядом с тем колодцем затянуло жгучей крапивой свежее пожарище. Пьяный сосед на ночной пирушке подпалил избу и сам сгинул вместе с ней. В общем-то и не его была та изба. Когда хозяин ее помер, с десятков лет тужила она, оставленная на произвол судьбы... Вот и приткнулся к ней случайный человек.

Уж покосилась банька, опаленная пожаром. Обомшела полегшая изгородь. Лишь опаленная огнем калитка не хочет сдаваться. Зацепилась за столб проржавевшей петлей и все скрипит на ветру, будто всхлипывая. Тлен и забвение... Воспоминания то уносят меня в прошлое, то, как в кино, смешиваются с реальностью...

Не представляю наш дом без хлопотуньи бабушки. Старушка моя, я все помню: твой добротный двор с хороводом рябин вдоль ограды, и беспокойных овец, от зноя забившихся в угол, и толстого петуха, охрипшего малость от собственной важности...

Гляжу, а колодец-то мой никак помолодел с последней нашей встречи? Скинув ветхий деревянный сруб, оделся в прочные бетонные кольца и будто подбоченился. А нахлобучив шиферную крышу, совсем заважничал. Топчется рядом с ним прежний приятель-журавель, тянет просительно длинную шею, да не под стать колодезному «франту» водиться с долговязым. Зачерпну студеной водицы, хлебну, как прежде, из немеющих ладошек и побреду дальше – мне ли судить заспоривших друзей!

Ноги несут меня той же дорогой, но глаза не признают прежние места. Уже совсем неразличимы тесовые мостки вдоль забора, выстланные когда-то заботливой рукой до самой околицы. Одичалый малинник тянется из запустелых огородов. И кажется, что каждая изба внимательно следит за мной из-под старых черемух, чуть грустнее, оттого что я прохожу мимо ее калитки. Чудится ли мне, но в их потемневших окнах я словно читаю немые укоры.

Так же глядела на мир однорогая корова Малька, когда хозяйка отправляла последнюю кормилицу на убой. Баба Валя, в распахнутой синей фуфайке и валенках на босу ногу, суетилась вокруг нее, то подкладывая ей сена, то потчужа теплой пшеничной горбушкой, то просто охаживая широкой натруженной ладонью ее крутые бока.

Малька стояла посреди двора на вытоптанном, подмерзшем муроге и покорно жевала предложенный ломоть, а в глазах ее затаилось нечто бездонное. Старая хозяйка снова и снова придумывала себе «работу», оттягивая час расставания, не в силах выдержать коровий взгляд...

Когда-нибудь, наверное, я расскажу своим внукам о волшебном месте, в котором выросла. Сидя на покатам склоне среди травы, среди россыпи ромашек и земляники, не уверена, найду ли нужные слова...

Я проведу их вдоль говорливой речки Шарденьги, по узким тропинкам, пахнущим клевером и дикой мятой. Расскажу моим родимым, как ветер гонит золотую волну на ячменном поле. Покажу, как сосны на высоком Тайкином угоре щекочут вершинами облака. Пускай сегодня уже не представит, как беспечно цвели на забытых угорах деревни, не зарастут дороги, ведущие к ним. Ибо лежат они не на старых архивных картах, а в сердце каждого из нас.

ТАНЬКИНЫ СЛЁЗЫ

Танька была нагулянной. Об этом ей регулярно сообщала бабушка. Так и говорила: «Чего от тебя ждать-то, от нагулянной?».

После чего непременно уходила в размышления о Танькиных родителях: «Нет бы на кого стоящего запала (это про Катерину, мать Танькину), а то сама пустоголовая, он (отец то бишь) – ни кожи, ни рожи, вот и выродили детушку». Танька к бабушкиным речам привыкла, хотя иногда ей хотелось узнать что-нибудь еще про своих родителей.

Анна Егоровна (так звали Танькину бабушку) всю жизнь проработала телятницей в совхозе, за что имела удостоверение «Ветеран труда», поздравительную открытку к Дню работника сельского хозяйства и мучительный артрит, скрючивший почти все суставы ее некогда могучего организма. Однако характер у этой старушки был тот еще: с надуманного ее не своротить, а вот за обиду можно было понаслушаться.

Катерина была ее единственной дочерью. Отца она никогда не знала, ибо молодой муж Анны Егоровны убит был упавшей сосной на делянке через три месяца после свадьбы. Мать, понятное дело, работала от зари до зари – все-таки одна девку воспитывала. Выросла Катерина как-то незаметно, после школы уехала в Северодвинск учиться на закройщицу, а уже к лету вернулась тяжелой.

Поругалась Анна Егоровна, погремела крынками, да делать нечего.

Мать из Катерины получилась хорошая, только не суждено ей было воспитать Таньку до полного возраста, оставила сиротой, едва той исполнилось четыре годика. Скрутило Катерину быстро: Рождество встретила на больничной койке, а в Крещенский сочельник ей уже готовили другую постель – топорами да ломачами ворошили промерзшую глину.

Так и остались Анна Егоровна с Танькой вдвоем. Матери Танька почти не помнила. Только смотрела порой на ее фотографии и думала, что лицо у этой женщины такое знакомое-знакомое. Хотя не оттого ли, что фотографии были изучены ею вплоть до самой маленькой черточки?

Танька росла тихой девочкой, со своими какими-то укромными делами и заботами, которые, правда, не всегда одобрялись ее бабушкой. Анна Егоровна считала, что растить Таньку надо в строгости, и за провинности наказывала. Ремня в руки не брала, зато на язык остра была, до слез Таньку в два счета доводила.

Особенно Егоровне удавались всякие обзывательства. Так, за любовь к кошкам она стала Таньку кошкодеркой дразнить. И вроде страшного ничего в этом не было, а все-таки при бабушке Танька на кошек уже не смотрела.

Исключением была только Муська – шустрая черно-белая кошечка, которую Егоровна держала, чтобы мышам спуску не давать. С Танькой они были не разлей вода: Муська, как хвост, всюду следовала за юной хозяйкой.

По весне кошка заметно округлилась. «Опять не меньше шести выродит!» – возмущалась, глядя на нее, Егоровна и пыталась высчитать срок, когда ждать пополнения. С котятами старушка расправлялась быстро: выносила новорожденных под тополь, увешанный вороньими гнездами, и оставляла на волю крылатых хищников.

Однако в этот раз все пошло не по плану. В июне живот у Муськи пропал. И сама она почти перестала бывать дома. Ясное дело, родила где-то. Вот только потомство кошка умело прятала. Сколько ни пыталась Егоровна ее выследить, все впустую: поводит ее Муська кругами возле дома да и сбежит незаметно.

Как-то раз, когда бабушка ушла к соседке посидеть, Танька увидела Муську на тропинке у бани. С кошкой явно было не все в порядке. По дорожке она не бежала, как обычно, держа хвост трубой, а медленно ползла, перебирая передними лапами. Танька рванула к своей любимице. Муська, Мусечка ее, буквально была разодрана. Видно, встретилась ей на узкой дорожке чья-то собака. Как она вообще смогла от нее вырваться!

Танька боялась прикоснуться к истерзанному кошачьему тельцу.

– Милая моя! Хорошая моя! Ты поправишься! Ты обязательно поправишься! – причитала она, и на окровавленную шерсть крошились Танькины слезы.

– Муся, Мусечка! Кис-кис-кис! – Танька попыталась подозвать кошку к бочке с водой, чтобы там, в тенечке, смочить ее раны. Муська же из последних сил карабкалась в сторону бани.

– Котятя! – вдруг озарило Таньку. – Там ее котятя! Покажи мне, где они, Мусечка! Я помогу тебе. Я обещаю тебе, я никогда вас не брошу. Только не умирай, прошу тебя, не надо умирать...

Кошка не смогла исполнить Танькину просьбу. Все ее тело вдруг выгнуло в дугу, дрожь пробежала по нему от ушей до кончика хвоста, и Муська замерла без движения.

С трудом Танька обнаружила небольшой лаз под свод бани. Исцарапавшись о поленницу, ломая ногти и обжигая колени крапивой, она все же пробралась в муськино укрытие. Там, в туго свитом гнезде из старого сена и опилок, смешно уложившись горочкой, спали пятеро малышей. Танька ткнулась носом в эту пушистую горку, вдохнула запах молока и нагретого сена и горько, захлеб заревела. Разбуженные котятя в недоумении цеплялись коготками за ее волосы, лезли мокрыми мордашками ей в лицо и все пытались ощупью обнаружить в ней мамку.

Котятя были совсем маленькие. Танька стянула из бабушкиной аптечки пипетку и кормила их сметаной – так они быстрее наедались и дольше спали. Притащила им старое детское одеялко и плюшевого медведя. Котятя присасывались к нему и громко чмокали. Девочка лежала рядом и шепотом рассказывала им про Муську: ей ли не знать, насколько важно помнить свою маму.

А через пару недель тайна была с блеском раскрыта Егоровной. Котят извлекли на свет Божий, над Танькой же нависла небывалая гроза.

– Ах ты кошководка! Выкормила на свою голову! Куда мне столько кошек? Скажут, совсем Егоровна с ума спятила. А я ни сном, ни духом. Говори, где научилась от бабушки таиться? – долго Егоровна отчитывала плачущую Таньку.

А после как отрезала:

– Чтобы сегодня же их тут не было!

– Бабушка, куда же я их дену?

– Знала, как прятать, знай, и куда девать!

Вотчаянье Танька понесла котят под тот самый тополь. Из-за слез она не видела дороги, шла, будто пьяная, крепко прижимая к груди коробку с котятами. Положила свою ношу под деревом, а сама в беспамятстве повалилась в траву.

Долго ли там лежала Танька, она не поняла, но разбудили ее знакомые коготки и мокрые мордашки, которые привычно путались в ее волосах. Окрепшие на сметане, котята смогли сами выбраться из коробки.

Танька сгребла своих подопечных в охапку и побежала к бабушке. Почему-то ей вдруг показалось, что бабушка сможет понять и простить ее. Танька неслась домой, не чувствуя дороги под ногами.

Однако гроза еще не миновала. Егоровна завелась не на шутку.

– Мне кошек не надо – и точка. Сейчас же убирай! Чтобы духу твоего не было, пока не уберешь!

– Бабушка, их вороны не едят, они уже большие, – попыталась оправдаться Танька.

– Мне какое дело! Сама вырастила. Бери лопату, иди закапывай.

– Они же живые! – захлебнулась в рыданиях Танька.

– Велико дело – живые. Это кошки. Они, как тараканы, плодятся. Куда их девать-то? Убирай, кому говорю!

И Танька закопала котят. У дороги она вырыла небольшую ямку, постелила в нее травы. По очереди брала котят и складывала горкой – так, как увидела их впервые. Они расползались, натываясь друг на дружку, переворачивались на спину и сучили лапками, пытались выбраться из ямы. Танька уговаривала их, целовала и складывала обратно. Потом зацепила лопатой земли и сыпнула на них сверху. Влажный песок не смог пробиться в густой подшерсток котят и скатывался с них, словно вода со смазанной сковороды. Малыши наперебой замюкали и стали еще активней карабкаться из ямы. Танька снова сыпнула земли. Потом еще и еще. А после прижала ладошками бугорок, из-под которого все еще неслись сдавленные звуки.

...Домой она вернулась затемно, молча разделась и легла спать.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

Декабрь

Подведены итоги традиционного 10-го Регионального конкурса «Книга года–2016».

Особенностью нынешнего конкурса стало то, что жюри не смогло назвать достойного претендента на главный приз конкурса. Серебряная литера в номинации «Книга года» не присуждена никому. Дипломами отмечено несколько изданий. Среди них книга Виктора Копылова «Заветный мир Д.И. Менделеева», «Страну заслонили собой» Рафаэля Гольдберга, «Память» Ивана Ермакова, «Традиции и заблуждения» иерея Вадима Коржевского и «Эссе» Льюиса Клайва Стейплза.

В номинации «Издательство десятилетия» Серебряная литера и Диплом победителя тоже никому не присуждён.

* * *

В Ишиме подвели итоги проекта «Писатель в библиотеке», над которым работали все библиотеки города на протяжении целого года.

Каждый месяц одновременно в двух-трёх библиотеках проходили встречи с членами Союза писателей России, устраивались презентации новых книг, обсуждались новые выпуски литературно-художественного альманаха «Врата Сибири». Работа эта велась в тесном содружестве с региональным отделением Союза писателей России. Более того, привозил в Ишим литераторов ответственный секретарь организации Леонид Иванов на собственной машине.

Во встречах принимали участие совсем юные читатели, старшеклассники школ города, студенты Ишимского филиала ТюмГУ, члены литературного объединения, читатели старшего возраста. Перед ними выступали Леонид Иванов, Анатолий Васильев, Леонид Ткачук, Александр Мищенко, Василий Михайлов, член Союза писателей России из Сладково прозаик Валерий Страхов, несколько раз до безвременной кончины успел выступить член Союза писателей России из Казанки, замечательный поэт Олег Дребезгов, автор двух книг – поэтического сборника и книги для детей «Опля-Чопля» – журналист Светлана Клименко-Хозяинова, поэтесса Ольга Гультаева и другие.

Помимо известных писателей области в проекте принимали участие молодые авторы из Тюмени и поэты-любители из городского творческого объединения «Парус».

Всего в рамках проекта в городе было проведено более 40 мероприятий, которые посетило свыше трёх тысяч человек.

В подведении итогов проекта, которое состоялось в Большом зале администрации города, приняли участие председатель городской Думы Алексей Ипатенко и заместитель главы города по социальным вопросам Владимир Белоусов, сотрудники централизованной библиотечной системы Ишима, члены творческого объединения «Парус», преподаватели школ, старшеклассники. А почётными гостями праздника стали руководитель региональной писательской организации Леонид Иванов и заслуженный работник культуры РФ, член Союза

писателей России Анатолий Васильев, имя которого носит одна из библиотек города.

Благодарственные письма от Тюменского областного отделения Союза писателей России за большой вклад в продвижение региональной литературы Леонид Иванов вручил заместителю генерального директора по работе с библиотеками Людмиле Арсеньевой, заместителю генерального директора по работе с детьми Ирине Петровой, главному библиотекарю Центральной библиотеки Ларисе Грековой и выразил надежду, что тесное сотрудничество тюменских писателей и Ишимской централизованной библиотечной системы будет плодотворно продолжаться на благо читателей всех возрастов.

* * *

Состоялось общее собрание Тюменского регионального отделения Союза писателей России. Литераторы обсудили итоги проделанной за год работы и наметили планы на новый. В состав бюро организации вместо выбывших избраны Леонид Ткачук и Ольга Ожгибесова. Таким образом, в бюро входят Вячеслав Софронов, Аркадий Захаров, Леонид Ткачук, Ольга Ожгибесова и Леонид Иванов (ответственный секретарь организации).

На собрании принято решение о применении пункта 3.6 Устава организации, согласно которому члены Союза писателей России, на протяжении двух и более лет не принимающие участия в делах организации, снимаются с учёта. Такая мера грозит сразу нескольким членам Союза.

* * *

Известный русский писатель Анатолий Омельчук награждён медалью «Василий Шукшин». Этой одной из высших литературных наград Анатолий Омельчук удостоен решением правления Союза писателей России за большой личный вклад в литературное наследие и многолетнюю деятельность по пропаганде современной русской литературы. Помимо этого, Анатолий Омельчук был автором документального телевизионного фильма о Василии Шукшине, снятого на ГТРК «Регион-Тюмень» и высоко оцененного на нескольких Всероссийских телевизионных фестивалях.

По поручению Правления Союза писателей России заслуженную награду тюменскому литератору вручил секретарь Союза писателей России Леонид Иванов.

* * *

Несколько дней не дожив до своего 60-летия, после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни член Союза писателей России Сергей Камышников. Хотя Сергей стихи писал с 14 лет и публиковался во многих журналах и литературных альманахах, у него вышло всего четыре поэтических сборника и одна небольшая книга прозы. Уже в больнице он продолжал работать над двумя книжками для детей, которые задумал как пособие для изучения географии и истории. Не успел.

У Сергея было много хороших идей, воплотить в жизнь которые он тоже не успел.

Январь

В Русском доме состоялись Рождественские посиделки с участием актива Общества русской культуры и тюменских писателей. Встреча прошла в тёплой дружеской обстановке, со стихами и песнями. Член Союза писателей России Аркадий Захаров рассказал о своей первой в жизни новогодней ёлке, на которой их, детей живущих в Сургуте северян, угощали невиданными для этих краёв фруктами – обычными яблоками. Их на самолёте привезли из южных районов специально для детей северян.

Свои стихи читали известные и начинающие поэты Ольга Данилова-Пушкарь, Татьяна Потёмкина, Елена Русанова, авторские песни под гитару исполняли Леонид Ткачук и Виталий Огородников, а известный в области исполнитель русских народных песен – коллектив «Сударушка» – выступил перед гостями с концертной программой.

Собравшиеся поздравили одного из старейших тюменских писателей прозаика Максима Осколкова с Днём рождения, который он отмечал за несколько дней до посиделок.

На собрании Леониду Иванову вручены диплом и медаль лауреата за победу во Всероссийском литературном конкурсе «Левша» им. Н.С. Лескова, в котором он стал победителем в конце минувшего года.

Коротко об авторах

АНДРЕЕВА Ирина Андреевна. Родилась на юге Тюменской области (граница с Омской). По профессии строитель. Писать начала с тридцати лет, публиковалась в районной газете «Красное знамя» и в областной «Тюменская область сегодня». В 2010 г вышла её первая книга повестей и рассказов в жанре деревенской прозы. Член Союза писателей России. Живет в пригороде Тюмени.

БАГРОВ Сергей Петрович. Прозаик. Член Союза писателей. Лауреат премии «Звезда полей имени Николая Рубцова». Автор многих повестей и рассказов. В настоящее время публикуется в сетевых журналах «Великоросс» и «Новая литература». Живет в Вологде.

ВАГАНОВ Игорь Владимирович родился 6 декабря 1960 года в городе Кизеле Пермской области. С 1975 года проживал в поселке Кадуй Вологодской области. В 1984 году окончил Ярославский медицинский институт и вернулся в Вологодскую область. В настоящее время работает врачом Череповецкой станции скорой медицинской помощи. Литературным творчеством занимается более тридцати лет. Публикуется с 1982 года на страницах районных, городских, областных и общероссийских периодических изданий. Член Вологодского союза писателей-краеведов. Автор восьми книг: проза, публицистика, краеведение.

ВАЛГЕ Алина Леонидовна, менеджер социально-культурной деятельности, менеджер образования, переводчик, окончила аспирантуру ТГАКИС по философии, работает в сфере образования. Автор сборника сказок «Венок из васильков». Публиковалась в периодической печати и литературных альманахах.

ВОЛОДИНА Екатерина Владимировна. Родилась в с. Кондинском на севере Тюменской области. Окончила Северо-Западную академию государственной службы (РАНХ) г. Санкт-Петербург. Неоднократно участвовала в семинарах молодых писателей Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В разное время стихи печатались в столичных и региональных журналах. Автор семи книг: «Свободное дыхание» (Нижевартовск, 2001), «Крылья» (Нижевартовск, 2005), «Вечное небо» (Челябинск, 2009), «Сибирские читалочки» (Челябинск, 2012), «Зимние олимпийчики» (Челябинск, 2013), «Моно логи» (Москва, 2013). Член Союза российских писателей. В настоящее время проживает в Тюмени.

ДВОРЦОВ Василий Владимирович – прозаик, поэт, публицист. Родился в 1960 г. в Томске. Сейчас живёт в Москве. Секретарь, член Правления Союза писателей России. Лауреат международных и всероссийских литературных премий им. И. Гончарова, И. Бунина, Н. Гумилёва, А. Толстого, св. Александра Невского и др. Автор романов «Аз буки ведал...», «Каиново колено», «Терра Обдория», романа-сказки «Звезда Марии»; повестей «Ангел Ангелина», «Тогда, когда случится», «Кругом царила жизнь и радость»; сборников поэзии, драматургии, книг прозы, публицистики. Романы и повести неоднократно переиздавались, стихи вошли в антологии «Русская поэзия. XXI век» и «Молитвы русских поэтов. XX–XXI». По мотивам поэмы «Ермак» композитором О.Л. Проститовым написана одноимённая опера.

ДЕВЯТКОВ Вячеслав Владимирович. Поэт, писатель, менестрель. Родился в 1969 году. В 1995 году окончил Тюменский госуниверситет по

профессии журналист. С любовью к России, женщине, русской культуре – книга стихов «Я там, где свечи...» и сборник очерков и эссе «Завещание Финиста». Участник книжной выставки в Китае в 2014 году. «Я верю музыке моей» – третья книга автора вышла в 2016 году. Живёт в Тюмени.

КОНДАУРОВ Анатолий Алексеевич. Родился в самом начале войны, после школы перепробовал много профессий, работал и одновременно учился. Получив высшее образование, много лет служил в правоохранительных органах, занимая высокие должности. Затем был адвокатом, но однажды бросил всё и устроился охотником-промысловиком, провёл в тайге 17 сезонов. Автор нескольких книг прозы и персональных фотовыставок. Публиковался в различных литературных журналах и альманахах. Возглавляет творческое объединение города. Живёт в Тобольске.

КОСПОЛОВА Наталия Эмильевна, родилась в Ханты-Мансийске, пишет под псевдонимом Лариса Грач, по профессии реставратор, в Москве вышла её поэма памяти московского реставратора Алексея Гладова, с которым вместе они планировали восстанавливать росписи в Георгие-Вознесенском храме г. Тюмени. Реставрировала Троицкий собор. Училась в Суздале, Москве, Петербурге. В Подмосковье организовала детскую студию «Этюд» при элитной школе. Работает в музее «Царская пристань» – дизайнер выставок. Стихи печатались в Москве, Владимире, Тюмени. Автор комплекса исследований по теме «Синергетика и искусство» и работ об этносе манси. Живёт в Тюмени.

КОСТКО Оксана Юрьевна – искусствовед истории и теории изобразительного искусства и архитектуры, доцент кафедры ДАС Тюменского индустриального университета, член Союза художников России. Пишет стихи и прозу, публиковалась в различных альманахах и журналах.

КРАВЦОВ Константин Павлович. Родился в 1963 году в Салехарде. Окончил Нижнетагильское художественное училище, затем Литературный институт имени А.М. Горького. В 1999 году принял сан священника в РПЦ. Служил в храмах Ярославля, Москвы, Подмосковья. В настоящее время клирик московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Публиковал стихи в журналах «Знамя», «Октябрь», «Воздух», «Интерпоэзия» и др., антологиях «Русская поэзия. XX век», «Нестолычная литература», «Современная литература народов России», «Наше время» и др. Автор четырёх книг стихов. Лауреат Филаретовского конкурса христианской поэзии в Интернете (2003).

МАКСИН Юрий Михайлович. Родился в 1954 году в Череповецком районе Вологодской области, окончил Московский государственный педагогический институт имени В.И. Ленина, работал педагогом, журналистом. Член Союза писателей России, член Союза журналистов России, автор семи поэтических сборников. Лауреат конкурса имени Николая Рубцова, лауреат премии имени Владимира Соколова (журнал «Юность»), победитель поэтического конкурса «Золотое перо–2007», живёт в городе Устюжна Вологодской области.

ПАТРИКЕЕВ Новомир Борисович. Журналист, писатель, автор более 20 книг об истории и природе Севера Западной Сибири, лауреат международной и региональной литературных премий, член Международного историко-литературного ЮНЕСКО – клуба охотников «Кречет». Действительный член (академик) Петровской академии наук и искусств и Академии социальных технологий, заслуженный работник культуры

РСФСР, заслуженный деятель науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Кавалер Ордена Дружбы и Горчакова первой степени. Член Союза писателей России. Живёт в Тюмени.

ПРОСКУРЯКОВА Надежда Леонидовна. Заведующая музеем П.П. Ершова (г. Ишим). Краеведческие интересы – культура края, крестьянское восстание 1921 года. Автор статей и сценариев документальных фильмов по истории Ишима и Приишимья. Редактор познавательного журнала для семейного чтения «Конек-Горбунок». Живёт в Ишиме.

САЗОНОВ Геннадий Алексеевич. Родился в 1950 году в Тверской области, окончил Ленинградский университет, более 40 лет отработал в местной и центральной печати. Автор 30 книг поэзии, прозы, публицистики, публиковался во многих альманахах и журналах. Лауреат ряда премий и конкурсов, награждён Почётной Грамотой Правления Союза писателей России, директор Вологодского областного отделения Литфонда России, с 1987 года живет в Вологде.

СМОЛИНА Антонида Валентиновна родилась 20 декабря 1985 года в деревне Горбачёво Великоустюгского района Вологодской области. По образованию учитель русского языка и литературы. Мать двоих детей. Начинающий автор, пишущий в русле деревенской прозы: короткие рассказы о жителях родной деревни, простые истории о простых людях.

СОЗИН Сергей Аркадьевич родился 18 августа 1955 года в городе Череповце, в семье учителей. Окончил суворовское и высшее военные училища, до 1998 года служил в вооружённых силах. Автор книг стихов «Талица», «Ночной разговор», «Русский крест», сборников песен и романсов «Встреча» и «Благослови, Господь, Россию», статей и рассказов в газетах «Русский Север», «Вологодский литератор», «Речь», «Курьер», журналах «Автограф», «Отечеству на пользу», «Сезон». Стихи публиковались в газетах «Сельская новь», «Русский огонёк», «Красная звезда», «Российский писатель», журналах «Свеча», «Наш современник», «Невский альманах», литературных альманахах «Вологодский ЛАД», «Соборная горка», «Воскресенский проспект», «Ермак» и других изданиях. Песни, романсы и гимны на стихи Сергея Аркадьевича звучат в концертах ряда исполнителей. Член Правления Вологодской писательской организации Союза писателей России. Живёт в Череповце.

СОЛОДОВА (Матиканская) Татьяна Ильинична родилась в г. Тобольске. В 1970 г. окончила филологический факультет Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева. Почти сорок лет преподавала в Тобольском колледже искусств и культуры им. А.А. Алябьева. Имеет более 100 публикаций по литературно-краеведческой и краеведческой тематике в газетах, журналах и научных сборниках. Автор 14 книг. Редактор-составитель двухтомного собрания произведений тобольской поэтессы С. Соловьёвой «Капли с берёз». Основатель серии книг «Жизнь замечательных людей Тобольска» («ЖЗЛТ») (2010 г.). Многократный Лауреат регионального конкурса «Книга года», член общественной редакционного совета журнала «Град Тобольск», член редколлегии сборников Тюменских родословных чтений 2014, 2015, 2016 гг. Награждена медалью 2-й степени «За вклад в развитие генеалогии и прочих специальных исторических дисциплин» в 2015 г.

ТЕРЕНТЬЕВА Нина Фёдоровна родилась в Вагайском районе Тюменской области, окончила Тобольское культпросветучилище, много лет про-

работала в Исетской районной газете. А с восьмидесятых сотрудничает с «Тюменской правдой», возглавляет творческое объединение «Родник» Исетского района. Участник различных творческих фестивалей. Легенда тюменской прессы, удостоена почётного звания «Золотое перо». Живёт в селе Исетское Тюменской области.

ТОЛСТИКОВ Николай Александрович. Живёт в Вологде, служит в духовном сане. Два столпа в жизни – служение Богу и литература. Пишет православную прозу, основанную на правде жизни российской глубинки. У героев повестей, рассказов, романа – семейной саги – острое ощущение действительности сопрягается с поиском духовности, своих исторических корней. Персонажи – священники, простые труженики, чиновники и бизнесмены, люди сложной судьбы. Попадая в трудную жизненную ситуацию, они не теряют надежду на лучшее будущее, ищут достойный выход из создавшегося положения. У Николая Толстикова готова рукопись книги прозы «Лазарева суббота». Это общее название. А заголовки составляющих ее произведений говорят сами за себя: «Поминальная свеча», «Грехи отцов», «Суди Бог», «Надломленный тростник». Некоторые произведения или отрывки из них опубликованы в российских журналах «Русский дом», «Наша улица», «Север», «Лад», «Вологодская литература», газете «Литературная Россия», альманахе «Литрос», в Европе – в «Крещатике» и в «Венском литераторе», «Новом берегу» и в Новом Свете – в газетах «Наша Канада» и «Горизонт» (США). Рассказы из книги принесли победу в номинации «проза» на международном литературном фестивале «Дрезден-2007» и звание лауреата «Литературной Венy-2008» и «2010».

ФЕДОРЕНКО Владимир Николаевич. Художник-оформитель, водолаз-диверсант. «Всегда оставаться мужчиной!» – вот девиз который он пронес по своей не простой, полной сюрпризов и крутых поворотов жизни. Пишет стихи и прозу. Живёт в Тюмени.

ФЕДОСЕЕНКОВ Михаил Алексеевич родился в 1957 году в Кемерово, окончил Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. Служил в Советской армии. Прибыл в Тюмень по распределению в 1984 году. Работал инженером, литконсультантом, художником, преподавателем. В 1989 году – участник IX Всесоюзного совещания молодых писателей. Автор четырнадцати книг стихов. В разные годы печатался в альманахах «Поэзия», «День поэзии», «Огни Кузбасса», «Эринтур», «Чаша круговая», в антологиях «Сибирская поэзия», «Русская сибирская поэзия», в «Антологии русского верлибра», журналах «Бийский вестник», «Наш современник», «Второй Петербург», в различных коллективных сборниках, столичных и региональных газетах. Пишет картины и живописью зарабатывает на жизнь. Член Союза писателей России.

ФОКИНА Ольга Александровна родилась в 1937 году в деревне Артемьевская Архангельской области. Окончила мединцинское училище, работала фельдшером в лесхозе. Затем поступила в Литературный институт имени А.М.Горького. После переехала в Вологду, где работала литсотрудником в газете «Вологодский комсомолец». Член Союза писателей СССР с 1963 года. Ольга Фокина – автор более 20 поэтических сборников, на её стихи написаны многие песни. Лауреат Государственной премии РСФСР (1976), Большой литературной премии России, Всероссийской литературной премии имени А.Прокофьева «Ладога», Всероссийской литературной премии «Звезда полей» им. Николая Рубцова (2001) и ряда других наград. Почётный гражданин г. Вологды.

ЦЫГАНОВ Александр Александрович родился в 1955 году в Вологодской области недалеко от Ферапонтова, в местах, о которых Н.М. Рубцов сказал: «...что-то Божье в земной красоте». После окончания Ферапонтовской средней школы учился в автомотоклубе, был слесарем, рабочим. Служил в ракетных войсках стратегического назначения. Окончил филологический факультет Вологодского педагогического института. Длительное время работал в местах лишения свободы с осужденными за тяжкие преступления. Автор многочисленных журнальных публикаций и ряда прозаических книг, вышедших в региональных и центральных издательствах страны. А.А. Цыганов является лауреатом литературных премий МВД СССР и МВД России, Всероссийской премии им. В.М. Шукшина «Светлые души», Государственной премии Вологодской области по литературе, а также Международной премии «Филантроп». Член Союза писателей СССР с 1989 года. Живет и работает в г. Вологде.

ЧЕРНЫШОВА Ольга Васильевна родилась в Калининградской области. По профессии – журналист, более сорока лет проработала в газете «Ишимская правда», из них шестнадцать – редактором. Публиковалась в областных литературно-художественных изданиях, а также в книге об Ишиме «Сибирский форпост России» (Тюмень), в общероссийском журнале «Мир женщины» (Москва). Автор двух поэтических сборников. Заслуженный работник культуры России. Живет в г. Ишиме.

ЧИЖОВ Николай Сергеевич родился 21 сентября 1984 года в г. Тюмени, окончил Тюменскую государственную сельскохозяйственную академию и Тюменский государственный университет, автор литературоведческих и литературнокритических статей по современной русской поэзии, живет и работает в Тюмени.

ЧИСТЯКОВ Яков Степанович родился 1 апреля 1938г. в д.Бакшеевой Усть-Ишимского района Омской области. Работал учителем, журналистом. Член Союза журналистов России. Живёт в с.Вагай Тюменской области.

ШУГЛЯ Владимир Фёдорович родился 30 января 1947г. в г. Кыштыме Челябинской области. Образование: высшее, в 1970 году окончил Свердловский институт народного хозяйства по специальности «Экономика, организация торговли»; в 1991 году – Уральский социально-политический институт по специальности политолог. Общественный и политический деятель, имеет государственные награды Российской Федерации, а также Республики Беларусь. Публиковался в журналах «Современник», «Молодая гвардия», «Великороссь», «Русский крест», «Нёман», «Немига литературная», «Белая Вежа», «Второй Петербург», «Невский альманах», «Дон», «Вертикаль», «Югра» и других изданиях... Автор более десяти поэтических сборников. Член Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, член Союза писателей Союзного государства Беларуси и России, член Союза писателей Республики Беларусь. Почетный Генеральный консул Республики Беларусь в Российской Федерации в г.Тюмени. Член Общественной палаты Российской Федерации от Тюменской области.

ЯГАФАРОВ Роберт родился в 1970 году, имеет два диплома о высшем образовании. Писать рассказы начал два года назад, выкладывает их в Интернет. В 2016 году учился в школе Татьяны Толстой и Марии Головановской «Хороший текст», участвовал в выездной литературной мастерской CWS Майи Кучерской «Город как текст» в Праге. Живёт в Тюмени.

ВРАТА СИБИРИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

На вклейках: работы тюменских художников: Б.И. Паромова,
А.С. Новика, Г.П. Вострецова, Г.С. Райшева.

На обложке:

Г.С. Райшев. Юганские женщины №3. Триптих. 1983.

Из фондов Тюменского музея изобразительного искусства.

Альманах зарегистрирован
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Не-
нецкому автономному округу.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-01429 от 10 февраля 2017 г.

Журнал издается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области.

Адрес редакции:

625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81, оф. 1108

тел./факс: (3452) 49-00-18

E-mail: vrata_sibiri@mail.ru

Учредитель и издатель: АНО «Тюменская область сегодня».

625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81.

Директор-главный редактор Александр Скорбенко.

Тел. (3452) 49-00-18



Подписано в печать 15.05.2017 г.

Дата выхода номера в свет 22.05.2017 г.

Формат 70x108¹/₁₆. Бумага ВХИ.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,85.

Тираж 750 экз. Заказ № 1197. Цена свободная.

Журнал отпечатан в типографии АО «Тюменский издательский дом».

625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6.

Верстка номера *С. Дерябин.*

Корректор Е. Плясунова.

Рукописи редакцией не рецензируются и не возвращаются. По желанию автора рукопись может быть возвращена, если ее объем не менее: проза – 10 а. л., поэзия – 5 а. л., публицистика – 3 а. л. Вместе с текстом просим присылать краткую биографическую справку, данные паспорта, ИНН и номер страхового свидетельства.

За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Перепечатка материалов и их распространение, в том числе и в электронной версии, допускаются только с разрешения редакции. Ссылка на «Врата Сибири» обязательна.